

**ВРЕМЯ
И МЫ**

**105
1989**



БУНТ ЕЛЬЦИНА

ВРЕМЯ И МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

Пятнадцатый год издания.

Выходит один раз
в три месяца

**105
1989**

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1989

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ВОЛЬФАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕТЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК	

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА	
<i>Фридрих ГОРЕНШТЕЙН</i>	
Последнее лето на Волге.....	5
<i>Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ</i>	
Гусар с гитарой.....	61
<i>Юнна МОРИЦ</i>	
Молодая картошка.....	81
ПОЭЗИЯ	
<i>Александр ЛАЙКО</i>	
Анапские строфы.....	90
<i>Григорий МАРК</i>	
Лицо Будды.....	100
<i>Ирина МУРАВЬЕВА</i>	
Сзади — обломки, спереди — глыбы.....	106
ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА.	
<i>Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ</i>	
Перестройка в контексте советского коммунизма . . .	110
<i>Петр БОЛДЫРЕВ</i>	
Раскрепощенная утопия.....	130
<i>Ольга ЧАЙКОВСКАЯ</i>	
Миф.....	147
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
О свободе, демократии и вседозволенности.....	157
<i>Елена ГЕССЕН</i>	
Расставание с табу.....	164
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
<i>Давид АЗБЕЛЬ</i>	
До, во время и после.....	176
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ	
<i>Леонид ИЦЕЛЕВ</i>	
Ельцин.....	239
СОВЕТСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЖУРНАЛЕ «ВРЕМЯ И МЫ»	
<i>Александр МУЛЯРЧИК</i>	
Эмигрантская мысль сегодня.....	263



Волга, Волга, весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля.

Н.А. Некрасов

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО НА ВОЛГЕ

Повесть

После июльских сильных дождей уровень волжской воды быстро поднялся и река на много километров вглубь залила левый низкий берег. Полои, залитые водой места, были особенно широки потому, что не успела полностью схлынуть вода весеннего половодья, которое продолжалось в этом году до начала июня. Только лишь весенний разлив пошел на убыль, как начался летний паводок, еще более бурный.

Обычно ежегодные половодья или внезапно случающиеся паводки — это время, наиболее благоприятное для судоходства, но в этом году паводок сопровождался такими сильными ветрами, такой непогодой, что расписание движения теплоходов нарушилось, и мне пришлось застрять в одном из небольших волжских городков.

Лет десять назад попав в эти места, на верхнюю русскую Волгу, я более не ездил на традиционные, престижные, обжитые курорты, а лето за летом приезжал сюда. Так

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

©"Время и Мы"

ISSN 0737 7061

минуло девять лет и наступило лето десятое, последнее перед переменой жизни.

Когда видишься с кем-либо или видишь что-либо в последний раз, становится понятной, как ученический стишок, сложная теория Шопенгауера о мировой воле, о «вещи в себе».

Я всегда беру с собой в подобные поездки несколько книг — философию и поэзию. Прозу не беру никогда. Проза требует неподвижности, тогда как философия и поэзия хороши в движении. Книги эти, за некоторым исключением, я беру бессистемно. Вот случайно задержал взгляд на Шопенгауере, когда собирал дорожный саквояж, и оказалось, что в этой своей последней поездке по Волге без Шопенгауера хоть плачь, хоть караул кричи. Оказалось невозможным понять даже волжский пейзаж, не говоря уже о волжских впечатлениях, без учения Шопенгауера о созерцании. Учения о созерцании как о совершенном акте познания. «Спокойное лицезрение непосредственно предстоящего предмета: дерева, скалы, ландшафта, теряется в этом предмете и остается лишь чистым субъектом, чистым зеркалом объекта. Предмет как бы остается один, без того, кто его воспринимает, и даже нельзя отделить созерцающего от созерцаемого». В этом учении Шопенгауера я бы только слово «спокойное» подменил словом «отрешенное», когда от печали тяжелеет сердце.

В прощальном взгляде всегда горечь, всегда тоска умирания, представление о том, как окружающий тебя мир будет жить без тебя, и вдруг наступает радостно-тоскливое языческое чувство потери себя и слияния с этими заболоченными котловинами, с этими красно-бурыми суглинистыми холмами, как и котловины, поросшими лесом — осина, ольха, береза и ель... Ель, ель, ель без конца. Изредка сосна, но главным образом ель. Лес редет у прибрежных сел, где холмы очищены от деревьев и обращены в пашни, а за селами опять ель, ель, ель...

Плывешь мимо волжских берегов — правого, нагорного, торжественно-высокого, о который с силой бьются волны, и левого, обыденного, лугового, затопляемого в половодье. Тишина, только слышно на палубе: «Чего? Ничего...» Русь чирикает...

Я люблю верхнюю, болотисто-лесистую, сырую, озерную, русскую Волгу больше низовой, азиатской, с песчано-глинистой степью по берегам и с пряным запахом близкой пустыни. Да и сама-то Волга в верховьях имеет вид длинного, мелкого, извилистого озера, затопляющего во время половодья леса и луга. На низовой Волге, где река поморскому широка, а берега низки, разливы редки. Конечно истинная Волга низовая, та «широкая да раздольная», та «Волга-матушка». Колонизированное азиатское низовье, которое стало хребтом империи, которое принесло богатство и славу государству и великие тягости народу. Доимперская Русь кое-где еще теснится в верховьях среди болотцев со своими худыми костлявыми отечественными щуками, окунями, ершиками. А белуга, осетр, стерлядь — это уже имперский товар, колониальный, ныне главным образом валютный. Единое богатство, которым издавна одаривает всякого человека Волга, — это богатство созерцания ее. То самое богатство, о котором писал Шопенгауер. Познание через созерцание, когда «познается уже не отдельная вещь, как таковая, а идея, вечная форма и сам, предающийся созерцанию уж более не индивидуум, а чистый, безвольный, бесполезный предмет познания».

Таким безвольным, бесполезным предметом чувствовал я себя в свое десятое, последнее лето на Волге среди не национальных, а племенных рек и озер — Стерж, Пено, Волго, Нерль, Сог, Сить, Молоч, из которых как бы истекла изначальная счастливая идея доимперской Руси.

Плывешь неторопливо мимо многочисленных мелей. Долина реки не широка, оба берега недалеко, ясно различимы, играют, меняют свой облик. За топкими низовыми бе-

регами озер появляются возвышения, мощные пласты горного известняка, затем берега опять понижаются, русло реки становится песчаным, берега все более удаляются, появляются острова. Волга круто меняет свое направление, принимая слева и справа многочисленные притоки, становится многоводной, берега более многолюдны и обжиты. Чаше пристани. «Телячий брод» около переката, пристань «Соколи горы» у известкового «Царева кургана», бугор Степана Разина близ деревни Лапоть... Это нутро, это чрево России. Это идея России, поддающаяся созерцанию. «Созерцание есть временное взаимное равновесие субъекта и объекта, проникновение друг в друга и превращение вещи в идею». Так и я в то последнее мое, десятое лето на Волге, плывя на маленьком, неторопливом колесном пароходике «Герой Тимофеев», одном из тех, которые сохранились еще кое-где в верховьях на местных линиях, находился посредством созерцания во взаимном равновесии с покидаемой мной навсегда страной. Точнее с ее идеей, ощущаемой в разлитом вокруг речном воздухе, в переключке чаек, в плеске о судовые борта серо-желтой воды и, конечно же, в берегах, словно окликающих меня своими названиями — село Кадница, город Тетюш, близ Тетюшских гор, Щучьи горы...

Пароход «Герой Тимофеев» здесь поворачивал назад, и мне предстояло пересечь на современный теплоход, чтоб плыть до Астрахани. В Астрахани у меня уже были заказаны билеты на самолет в Москву, где я рассчитывал в августе-сентябре получить выездные документы. Поэтому в последней своей поездке стремился я запечатлеть окружающий меня волжский мир, найти в нем самое существенное, ибо «все существенное каждой вещи и есть ее идея. Познание идеи и есть суть художественного творчества».

Пока плыли озерами, дождь утих, посветлел волжский мир и начал рассказывать о себе весело, словно под балалаечку, словно сам себя вышучивая, как в давние доимпер-

ские времена, когда смеялись легко, разумным смехом, высмеивая самих себя более, чем иных. Но затем все потускнело, потухло, опять заунывно, однообразно забубнил дождь, и окружающий волжский мир стал серьезно-угрюм, агрессивно-обидчив, уж его не тронь, на него не глянь с иронией или усмешкой.

Правый берег был необычайно высок, темнел каменным гранитным обрывом, левый-луговой терялся в серой расцветной мгле, хоть по часам было уже за полдень. Когда плыли «под балалаечку», солнечной Волгой, берега словно плясали. То оба берега возвышались, то поочередно правый или левый. Теперь же в дождливом сумраке все разом застыло, и чувствовалось, будет таким бесконечно, до сердечной тоски.

Пароход медленно, неуверенно приближался к пристани, как мне объяснили, оттого, что здесь, на дне Волги, много каменных гряд и гранитных валунов. Прошла уж целая вечность, а он все поворачивался, поворачивался, не приставал и временами даже, казалось, удалялся от берега. Наконец матросы в мокрых резиновых плащах, гремя цепями, то весело, то сердито переключаясь со стоящими на дебаркадере, начали готовить сходни. Под хоподным дождем, шлепая по скользким лужам, я еще с пятью-шестью высадившимися здесь пассажирами пересек дебаркадер и начал долго, долго, перенапрягая сердце, подниматься по крутой деревянной лестнице с шаткими перилами, проложенной вдоль гранитного обрывистого берега к виднеющемуся далеко в вышине, почти на небесах речному вокзалу. Впереди меня свободным, широким шагом шла, поднималась какая-то колхозница в кирзовых сапогах и мужской куртке, державшая большими красными руками на плече плетеную из веревочных нитей мешковавоську, похоже, сделанную из обрывка рыболовецких сетей. Авоська была до отказа наполнена уловом, за которым обычно колхозники отправляются в города. Идя сза-

ди, я разглядывал улов, чтоб отвлечься и тем облегчить тяжелый труд подъема по лестнице. Было четыре бутылки шампанского, три отдающих в синеву булжника мороженных куриц, два батона варено-копченой колбасы, килограмм пять апельсинов. Несмотря на такую тяжесть, колхозница, точно двужильная, бодро, привычно поднималась по лестнице, а я все более от нее отставал, хоть имел в руках лишь легкий дорожный саквояж. Это, как казалось мне, унижало мое мужское достоинство, я усилил темп, стараясь ее догнать или обогнать. Но тщетно, она, даже не замечая моих усилий, даже не замечая меня, легко выигрывала это наше соревнование.

Может быть, из-за моего обостренного прощального взгляда и прощального чувства мне во всем мнились символы. И в этом своем безуспешном соревновании я тоже увидел некий символ, тем более колхозница просто просилась в бронзу. Подумалось: установить бы ее перед сельхозвыставкой на площади в Москве, там, где стоит ныне устаревшая скульптура Мухиной — колхозница и рабочий. Но вместо бронзового серпа дать колхознице в руки бронзовый мешок с купленными в городе продуктами.

Таковыми язвительными размышлениями пытался я успокоить себя, остановившись на одной из лестничных площадок и пропустив вперед уже всех пассажиров, даже сгорбленного древнего старичка с кошелкой и клюкой. «Нет, не годен я для жизни в этой стране, — подумалось с тоской и раздражением, — все эти обогнавшие меня — профессиональные жители России. Ведь жить в современной России — это профессия. Я же всегда жил в этой стране непрофессионально и потому быстрее бы уехать».

Иногда какая-нибудь глупая мелочь, подчас мной же придуманная, может испортить мне совершенно настроение и окрасить все в черные тона, тем более, если окружающая действительность этому способствует. Преодолев наконец в одиночестве остаток этой устремленной в небо

мучительницы-лестницы и войдя в здание речного вокзала, я узнал в справочном бюро у краснотелой девицы в синем берете, что из-за паводка и непогоды расписание движенья теплоходов нарушено и придется ждать...

Российское ожидание неразрывно связано с российскими пространствами и является другой ипостасью одной и той же российской идеи, которая, как верно кем-то замечено, ясно выражена в народной песне, полной глубокой сердечной тоски или отчаянного веселья. Российские часы и российские километры бесконечны. Идешь ли, едешь или сидишь, ждешь — конца не видно. Время ожидания своим ужасающим однообразием наводит на душу тоску, как ровная степная природа, как дремучий однообразный лес, как осенняя ночь, как суровая зима. Шопенгауеровское созерцание в таких случаях только усиливает тоску, я в этом лишней раз убедился.

В зале ожидания было пусто и скучно, не за что зацепиться глазом. Единственный предмет, достойный, как мне показалось, созерцания! — сидевший неподалеку на скамейке полковник-артиллерист в шинели и папахе. Полковник этот, имевший очень красное лицо, боролся со своей головой. Голова его медленно, тяжело опускалась — вот-вот упадет с нее папаха, а то и сам полковник ткнется головой об пол. Но в последний момент усилием воли полковник преодолевал стремление своей головы и с явным напряжением тянул ее назад, поднимал по дуге. Так маятником вверх — вниз, вверх — вниз... Вначале это меня забавляло, потом начало утомлять и даже раздражать. «Свалилась бы наконец папаха, думалось, или лучше упал бы сам». Но не свалилась и сам не упал. Полковник вытащил из-за спины почти пустую четвертинку коньяка, допил ее из горлышка и окончательно победив свою голову, утвердив ее на своей шее, встал и вышел. И тогда воцарилась уж такая удручающая скука, что и жужжанию мухи будешь рад. Потому я тоже решил встать и пройтись, не-

смотря на дождь. Впрочем, дождь к тому времени кончился, и даже ненадолго стало появляться солнце.

Под этим выныривающим из облаков солнцем взору моему предстал вполне ожидаемый волжский городок. На высоком крутом берегу — березовый парк, крайне запущенный, беспризорный, густо поросший кустами коротышника, ветвистого кустарника с длинными прутьевидными ветвями, усыпанными колючками. В обиходе кустарник этот именуется также держи-дерево, и неспроста — колючие ветви несколько раз хватали меня за плащ, и, пытаясь освободиться, я сильно оцарапал ладонь. От парка начинался так же березовый бульвар все с тем же держи-деревом меж березами. Одноэтажные домики по сторонам улицы были ограждены этим же держи-деревом. Впрочем, как живая изгородь оно весьма кстати, достигало в высоту трех метров, особенно в Крыму и на Кавказе, где его именуют по-татарски кара-текен. Это давнее однообразие, которое, по крайней мере, было живым и природным, ближе к центру теснилось однообразием современным, мертвым, типовым, блочным — многоэтажными домами и стеклянными торговыми предприятиями.

В прошлые мои приезды на Волгу я с моим другом редко забредал в подобные городки. Жили в палатках, в верховых мшистых лесах, варили уху на костре или меняли у браконьеров банки дефицитной польской ветчины на домашнего приготовления малосольную черную икру. Точнее, проделывал все это мой друг, умевший жить в России профессионально, но тем не менее уже два года как покинувший ее. Мать моего друга, Матрена Васильевна, кстати коренная волжанка из волжских верховьев, где в деревне Изведово у нее был дом, ранее редко покидала свою деревню и то не далее Рыбинска. Ныне же она отлично прижилась в чужих краях и писала оттуда по-детски радостные письма. «На другом берегу Женевского озера стоит Лозань. Мы поехали на пароходике. Было очень

красиво. Вокруг огни. Крестьяне здесь богатые, но добрые».

Вообще, понятие «коренной житель» состоит не столько в том, что человек издавна живет в здешних местах, а в том, что у него есть корень, выращенный в результате этой своей жизни и, если корень прочный, неповрежденный, то он легче приживается в чужой земле и даже еще лучше расцветает, если эта земля богата соками. Мы, по крайней мере такие «мы», как я, тоже живем здесь веками. Но обстоятельства и условия, созданные нам, были таковы, что мы остались бескорневыми. Вот от чего, как я слышал, многие так трудно приживаются на новой земле. Нечем ухватиться, корня нет. Впрочем, иные расцвели там искусственным оранжерейным цветом, как и мы, случается, цветом здесь, цветом даже пышно на злобу и зависть непородистым коренным. Но малейший заморозок, малейший холодный ветер, и нас, вместе с нашим цветом, как будто и не было. Поэтому главная задача нас, бескорневых, на новой земле, как мне думается, не расцвести торопливо лихорадочно, а обрести корень неброским, кропотливым трудом.

Так размышлял я некоторое время, глядя в себя, и, когда, опомнившись, глянул вовне, огляделся вокруг, то заметил, что забрел неизвестно куда. Неподалеку на столбе была прибита доска-указатель с надписью. Я решил, что это указатель, как пройти к речному вокзалу, однако это была обычная провинциальная глупая надпись: «Женская парикмахерская работает. Вход через баню». Надо было спросить у кого-либо дорогу. Огляделся — у кого бы? Вот показалась старушка, несущая в авоське мороженную голову осетра. Не успел рта раскрыть, как она глянула на меня испуганно-враждебно, как глядят на чужака, и засемила прочь. Затем из-за того же дома, откуда показалась первая старушка, вышла вторая, тоже с осетровой головой в авоське, потом пожилая женщина с осетровой головой, за-вернутой в газету.

Некоторые стороны нашего быта для непосвященного мистичны. В Москве, например, я как-то встретил множество прохожих, несущих одинаковые зеленые чайники. По опыту знаю, такие люди, несущие дефицит, обычно бывают усталые и неприветливые. Поэтому я не стал делать новых попыток узнать дорогу у несущих осетровые головы, ища людей праздных, не утомленных очередями. Однако из праздных людей вокруг я увидел только пьяных. Вот какой-то в телефонной будке по телефону лыка не вяжет.

— А? Что? Кого?

Впрочем, вид вполне добродушный. Подошел поближе, ожидая когда он кончит восклицать. «Как его спросить, вежливо — извините пожалуйста... — Или простецки — слушай, друг...»

Вступать с такими людьми в контакт, все равно, что гладить незнакомую собаку — может лизнуть, а может и укусить.

— Слушай, друг, — начал я, когда тот наконец вышел из телефонной будки.

Но в этот момент пьяный потерял кепку, нагнулся за ней и не расслышал очевидно моего вопроса, пошел прочь. Я глянул на его крепкий, красный затылок и повторять вопроса не стал. Кстати, открытые части тела здесь у многих красные — руки, лица, затылки. Это от ветра и водки. Красные тела — признак здоровья, еще не расстраченого, но конечный результат выглядит, как эти мужчина и женщина возле магазина. Оба с испитыми, желтыми, измученными лицами, ужасно худы, дурно, неряшливо одеты, даже с учетом здешней, нестоличной моды. У женщины худые, высохшие ноги, по которым хлопают широкие голенища старых сапог на стоптанном высоком каблуке. Пытаюсь спросить у них дорогу — снова не везет. Из магазина появляется какой-то их собутыльник, с которым они затевают оживленный разговор. Прервать этот разговор не решаюсь. Уходя слышу лишь обрывок фразы. Мужчина го-

ворит собутыльнику, указывая на женщину.

— Я с ней живу с 1937 года...

В тридцать седьмом году оба, наверно, были молодыми комсомольцами, вместе пели в самодеятельности: «Мы сметаем и горы и реки, время сказок пришло наяву, и по Волге, свободной навеки, корабли приплывают в Москву». Может быть, в кружке ликбеза вместе даже изучали «Капитал» Маркса, слушали, как лектор, страстный интеллигент и народопоклонник, тогда тоже молодой, хоть и с дореволюционной сединой, радостно выпевал марксовы слова: «Гнев делает поэтом» — оборонил однажды Маркс в письме к Энгельсу — *ra facit poetam*. Эта великолепная истина приложима прежде всего к нему самому. «Капитал» пронизан поэзией величайшего классового гнева». Пережил ли лектор поэзию тридцать седьмого года? Может быть, за ним пришли в ту самую теплую, лунную ночь, когда он в бессонном экстазе оканчивал последние страницы своей работы об эмоционально-художественной стороне марксова «Капитала». Когда вслед за Марксом обличал он буржуазного экономиста Детю де-Трасси «с холодной, как у рыбы, кровью», который заявлял: «Бедные нации суть те, где народу хорошо живется, а богатые нации суть те, где народ обыкновенно беден».

Впрочем, можно ли строго спрашивать с лектора, не пережившего поэзии тридцать седьмого года и не дожившего до наших итоговых дней, как дожили его ученики, мужчина и женщина из вино-водочного магазина? К нашим итоговым дням вполне приложимы примеры Маркса о торговцах Библией, участвующих в товарообороте. Библия обменивается на водку. «Предпочитают горячительный напиток холодной святости». Да, думаю я, святость хороша только в горячем, свежем виде, Что может быть отвратительней, менее съедобней, чем остывшая святость, напоминающая заплесневевший суп или прокисший винегрет? Разве может она в товарообороте конкурировать с холод-

ным сорокаградусным напитком, сохраняющим в себе вечный прометеев огонь? Справедливости ради, надо сказать, что продавцы марксовой Библии скорее всего неосознанно лишь подогревали остывшее за четыреста лет имперское варево. И если размышлять в этом направлении, то можно понять и парадоксы буржуазного экономиста Детьо де-Трасси, можно точно определить, с какого момента бедной нации москвитов, живущей в мелководных озерных верховьях русской Волги тихой сытой жизнью, стало жить трудно и хлопотно. Можно точно определить, когда и по какой причине загорелся на Руси адский, всепожирающий прометеев огонь сорокаградусной. Безусловно, пьянство это не природное, врожденное, психологическое качество русского народа. Безусловно, русский народ споили. Но кто его споил? Еврейский шинкарь — как утверждала в прошлом черная сотня и как утверждают ныне ее современные потомки? В книгах многих русских публицистов, в частности, в книге И. Прыжова «История кабаков в России», изданной в Петербурге в 1868 году, ясно сказано, кто виновник русского пьянства — русская впасть, русское государство, которое путем введения государственной монополии на производство и продажу спиртного начало изыскивать средства для окончательно избранного ею при Иване Грозном империалистического пути развития. Когда с началом Ливонской войны народу было полностью запрещено свободное домашнее винокурение и он вынужден был пойти в кабалу к разорительному государственному кабаку. Вот уж более четырехсот лет стоят на Руси эти разорительные имперские кабаки и имперские «монопольки», магазины, хоть и под иными теперь названиями.

Свернув за угол, я вышел на небольшую площадь, когда-то мощенную булыжником, кое-где проглядывавшим сквозь залитый поверх булыжника асфальт. С двух сторон площади были две «стекляшки» — кубической формы стеклян-

ные торговые заведения. На одной стекляшке было написано «Пончиковая», на другой — «Блинная», но я не сомневался, что блины и пончики там либо вовсе отсутствуют, либо являются второстепенным продуктом товарооборота.

Я направился было к «Пончиковой», однако там рекламным образцом, прямо перед входом, лежала на асфальте закуска — винегрет, очевидно не слишком отличавшийся от того, что лежит там на буфетном блюде.

Преодолевая неприятные позывы, я повернул к «Блинной» и пытался открыть дверь, чтобы войти, но дверь была заперта изнутри. А между тем «Блинная» работала полным ходом, сквозь стекло видны были лица, охваченные тем радостным забвением, той блаженной задумчивостью, какую можно увидеть на подобных лицах разве что в хорошей горячей русской баньке, на скользких мокрых полках в тумане парной, при истинно мазохистском самоистязании своего тела, сечении его березовыми вениками. Именно элемент мазохизма виден в навязанном русскому человеку русской властью разорительном пьянстве, элемент наслаждения собственной гибелью, когда с наслаждением сечется не тело, а душа.

Русское пьянство, возникшее как болезнь социальная, давно уже стало болезнью душевной, имеющей определенное отношение к половым извращениям. Развращенный русской имперской властью русский человек, порочно воспитанный в течение четырехсот лет, нашел свое удовольствие в том, что психиатры называют влечением, и которое состоит в стремлении изменить данное положение, как более неприятное, на другое, более приятное. То неодолимое влечение, которое аналогично навязчивым мыслям и наравне с ними относится психиатрами к психическим признакам вырождения. Влечение к сорокаградусному прометееву огню и к гибельному наслаждению в этом огне.

Есть два вида русских разговоров — за водкой и за чаем. Разговоры за водкой — душевные, за чаем — умственные. Лично я не люблю русских разговоров за чаем. За чаем можно говорить с англичанином, но не с русским. Максим Горький весьма точно заметил стремление малограмотных людей к философствованию. Конечно, и за водкой русский человек любит помудрствовать. Но в отличие от разговоров за чаем, когда мудрствование это глупо и бессердечно, мудрствование за водкой всегда творческое и непредсказуемое. Болезненное состояние русского характера, развившегося под влиянием многовековой, навязанной властью имперской жизни, которое так метко схвачено и выписано Достоевским, это стремление подвергнуть самих себя унижению или каким-либо иным актам жестокости, лежит в основе высокомерия и жестокости по отношению к другим. Водка оправдывает и смягчает это состояние, которое в трезвом виде, за чаем, бывает особенно ужасающе уродливо. Послушайте трезвых «русских мудрецов». Никогда пьяный русский человек, особенно из простонародья, не сможет так бесновато, мутно философствовать. Нет, лучше уж народная пьяная драка. Схватит за грудки, встряхнет, но если почувствует в ответ слабость, может и отпустить. А если не отпустит, то хоть за голову схватится — что я натворил. Эти «трезвые» не отпустят и за голову не схватятся. Эти новые, «трезвые», именовавшие себя русскими христианскими социалистами, существовали уже в семнадцатом году, но тогда у них не было массовой опоры. Темные бедняцкие толпы, главным образом крестьянские, годятся для тирании восточного толка. Но социальному национализму требуется не раб, а сознательно воинствующий обыватель. Фашизм в России в семнадцатом году не имел никаких шансов на успех, потому что не было массовой мелкой буржуазии. Сейчас она появилась в разных современных вариациях. Особенно же пригоден

для нацистского посева массовый, завистливо-озлобленный, националистический мелкий интеллигент. Я не хочу быть фаталистом и предсказывать неизбежность данного моего предчувствия. У национальной судьбы множество путей. Но если в Библии сущность Бога открывается через человеческое бытие, через отделение себя от окружающего мира, через личность, живущую по законам морали, то ведь и сущность дьявола можно открыть через окружающее бытие, через массового человека из этого бытия. Прав великий пессимист Шопенгауер — созерцание реального предмета не возможно без фантазии, ибо при созерцании предмет утрачивает свои реальные черты.

Так, не без фантазии, созерцал я сквозь стекло «Блинной» лица простых русских пьяных людей, которым в своей более чем четырехсотлетней имперской одиссее, может быть, придется пройти сквозь последний самоистребляющий соблазн трезвых, чаевничающих «русских мудрецов».

Застрял я перед витриной слишком уж долго, на меня, кажется, уже начали поглядывать. К тому ж, в который раз начинался дождь, шумела от ветра мокрая листва. Надо было либо уйти, либо войти.

2

Я опять толкнул запертую дверь посильней, она не поддавалась. Что за глупость, подумалось, на закрытое заведение как-будто бы не похоже. Выбор лиц за стеклом как будто бы не номенклатурный. Шутят что ли надо мной, специально дверь подперли. Такие шутки, признаюсь, мне крайне не нравятся, я даже от таких шуток в ярость впасть могу и чувство самосохранения теряю. И вот в такой ярости начал я ломиться в закрытую дверь. Ломился до тех пор, пока меня не окликнули.

— Чего? Чего? — сердито прокричала в открытую форточку худая носатая официантка, точнее уборщица гряз-

ной посуды, потому что видно было, блинная работала на самообслуживании, — залетный видать... Зайди за угол...

Мы, люди привыкшие к сложным размышлениям, самые простые детские решения обычно упускаем из виду. Оказывается, этот вход был просто заперт, наверно, уже давно, а открыты двери за углом. Легко войдя через угловые двери, я очутился в довольно грязном, прокуренном помещении. Большинство столиков было без скатерок, два-три почему-то со скатерками, но ужасного вида. Не стоит продолжать описывать то, что описано уж лет триста пятьдесят тому и русскими публицистами и зарубежными путешественниками. «Краль (царь), установитель монополии, бывает причина и участник и правовелитель греху народному», — писал один из путешественников, посетивший Русь семнадцатого века. И сейчас, как и триста пятьдесят — четыреста лет назад, сидели за столиками все те же «люди мелкого счастья», как именовал их серб-путешественник. Сидели там, где «и место и посуда свиного гнуснее», сидели «лакомы на питье». Все это меня не удивило, все это было ожидаемо. Удивило меня другое — как в таком грязном кабаке, именуемом «Блинная», все-таки жарили и подавали превосходные блинчики с мясом. В лучших ресторанах не ел я таких блинчиков, обжариваемых до румяной корочки с тающим во рту фаршем из рубленых вареных яиц, риса и мяса. Зачем жарили здесь эти блинчики? Зачем их подавали на заплеванные столы или на смрадные вонючие скатерки? А если уж подавали, то отчего не вымыли помещение, не постелили хрустящие белоснежные скатерти, на которых таким блинчикам место? В этих чудесных блинчиках на грязных скатертях была какая-то Достоевщина, какой-то Гоголевский шарж, какая-то Тютчевская невозможность понять Россию умом. «Умом Россию не понять. Аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить». Это Тютчевское четверостишие, как и пушкинское «Клеветни-

кам России» — издавна как бы стихотворные программы «русских мудрецов». Да, бывают обстоятельства, бывают ситуации, когда русским умом Россию не понять. Я не имею в виду заведомо лживый ум «мудрецов». Но даже пушкинский, даже Тютчевский ум, даже ум великих сатириков слишком уж изнутри, слишком ослеплен верой, слишком все меряет на свой аршин. Плодоносен пристальный взгляд, когда предмет не подавляет личность творящего, как подавил предмет взгляд Пушкина, пытавшегося кровавую расправу России с польским восстанием выдать за внутреннюю семейную ссору меж славянами, в которую Запад не должен вмешиваться. «Оставьте этот спор славян между собою. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою... Кто устоит в неравном споре: кичливый лях или верный росс? Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? Вот вопрос».

И вот в наше итоговое время принудительно, рукотворно слились в русском море славянские ручьи, образовался огромный искусственный водоем-океан, который мелеет и иссякает. Особенно же мелеет и иссякает русская жизнь, русский национальный характер. Мелеть он начал не сегодня, не вчера, не позавчера, а более чем четыреста лет назад, когда был избран принудительный, рукотворный поворот чужих ручьев и рек в русское море. Понять это до конца может не взгляд изнутри, не русский ум, а скорей орлиный взгляд сверху, внешний взгляд Шопенгауера или Шекспира, а то и скромный взгляд со стороны таких пасынков России, как я, когда прощальное созерцание подобно умиранию и когда видишь все вокруг в последний раз. Именно в таких случаях умирающим взором реальные предметы невозможно созерцать без фантазии и созерцаемый предмет утрачивает свои реальные черты, обращаясь в символ. Как, например, эти русские ароматные блинчики на грязной вонючей скатерке, которые ел недалеко от меня руками какой-то пока еще не слишком

пьяный человек, хоть под ногами у него уже звенели две бутылки, когда он, изредка поворачиваясь, касался их. Я заметил, что у него маленькое лицо и огромные руки, не просто большие, а огромные, богатырские, как у Ильи Муромца.

Надо сказать, что, невзирая на созерцание и размышление, я к тому времени тоже выпил стакан водки и заел сложенной в одну тарелку тройной порцией блинчиков. Потому что, как верно заметил Карл Маркс, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, или, как говорил мой приятель: с русскими жить — по-русски пить. Действительно, пока я был трезв, то чувствовал себя совсем уж чужим, выпив же, как бы приобщился к обществу и даже более того — к Родине. Может быть, это для пасынка единственный способ хоть ненадолго обрести Родину — выпить в незнакомом простонародном обществе. Блаженное чувство, скажу вам. Хорошо так изредка посидеть самозванцем, темнотой, никогда не слышавшей об обременяющих разум Шекспире, Гете, Гейне, Софокле, Гомере — всех этих стервятниках, слетающих днем, а иногда и ночью клевать мою печень. Конечно, то, что я не местный, поняли, здесь все друг друга в лицо знают. Не местный, но свой. В обществе «русских мудрецов» так инкогнито «своим» не посидишь. У тех взгляд сыскной, полицейский. А эта пьяненькая простота не понимает, что, как я ни блаженствую от временного слияния с Родиной, все равно одновременно, со стороны, чужаком смотрю, за ними наблюдаю и за самим собой. Это трагическое чувство отверженного — быть и в мире и вне мира. Лермонтовский «печальный демон, дух изгнания». Пока ты в небесах, хочется ужасно быть человеком, но стоит очутиться среди людей, хочется быстрее назад в бесчеловечные небеса. Эти пьяненькие не понимают, по плечу хлопают, но все равно мне не укрыться среди них, ибо я за собой наблюдаю получше сыскных «русских мудрецов». Где бы я ни

был и что бы я ни делал, всегда мой собственный взгляд настороженно следит за мной, не дает мне покоя. Наверно, этим я и отличаюсь от остальных. Они, остальные, сами за собой не шпионят. Впрочем, русские мудрецы тут уж ни при чем. Мы иногда следуем дурному примеру наших недоброжелателей и во всех наших бедах обвиняем иных. Наверно, существует все-таки какое-то, выработанное веками нездоровой национальной жизни, свойство национального характера, которое отделяют от иных. Вот подходит ко мне какой-то маленький красноносый.

— Ты откуда?

Что-то придумываю.

— И я не местный, — почему-то обрадовался он, — я мужик полтавский, хороших девок люблю...

«Никогда мне так не сказать, не придумать, — с завистью сокрушаюсь я, — такое я могу только подслушать со стороны».

После второго стакана водки начинаю понимать полковника-артиллериста, увиденного мной на речном вокзале, с трудом удерживаю на плечах голову. Мне уже говорят: «Паша, друг (неужели я назвал себя Паша?)». Я уже закусываю какой-то отвратительной кислой хлебной котлетой (а где же чудесные блинчики? Кончились? Или не было их? Все мираж). Мне уже рассказывают:

— На свадьбе татарин моего отца в драке зарезал. Перед смертью отец просил на могиле его дерево посадить. Вишню просил посадить. Но не разрешили на кладбище вишню сажать.

— Только и слышишь: убью, убью, — ввязывается какой-то со стороны в разговор, — я до десяти лет хорошо жил, не слышал этого.

— А в каком году тебе десять лет было, — спрашиваю.

— Э, да ты юрист, — и отходит, похоже, обидившись.

«Надо бы поосторожней, — думаю, — хорошо отошел... Вон неподалеку уже возятся, уже кровь течет».

Нельзя сказать, что я слишком слабонервен. Вид свободно текущей крови, и собственной и чужой, воспринимаю терпимо. Единственное исключение — кровь в сосуде, например, в лабораторно-медицинской пробирке, особенно своя кровь, но и чужая тоже. При взятии анализа крови стараюсь не смотреть, становится дурно. А в данном случае как раз нечто подобное. Кровь из разбитого носа прямо в сосуд потекла, в стакан с водкой. От такого символа еще сильнее тошнит, чем от бороды, измазанной соусом. А тут как назло какая-то женщина, попрошайка, меж столиками ходит, бутылки собирает и слышу просит разрешения остатки с тарелок доест. Гоголевских блинчиков конечно никто не оставил, макароны да подливка поносная. За соседний столик села, с двух тарелок в одну сгребла, окурков в одной тарелке был, в соусе, так вынула и в мусорник выбросила. Есть стала. «Противно как, думаю, ко мне бы не подошла». Однако подходит.

— Нет, — говорю, — нет, иди, — говорю. Сказал, видно, неубедительно, стоит. Я на нее глянул, маленькая такая блондинка, поношенная.

— Уйди, — говорю, — уйди, — и тошнота уже под горлом, котлета кислая, проклятая. Тут богатырь мне на помощь дружески пришел, говорит попрошайке:

— Уйди, сапог проглотишь!

Красиво сказал. В силе ведь своя красота, которую вслед за Эпикуром ощутил Шопенгауер. Красиво сказал, и никакого нет сомнения, что действительно может сапогом по лицу ударить. Красота, как родная сестра силы, языческая красота. Но сохранилось предание, апокриф об ужасном телесном уродстве Иисуса Христа. Впоследствии, в одном из немецких музеев я видел небольшую скульптуру периода темных веков, пятого или шестого — Христос-ребенок. Удивительно уродливый, толстоносый еврейский мальчик. И Мария Магдалина, есть предположение, тоже особой красавицей не была. Чем-то, как мне показав-

лось, похожа на эту прогнанную попрошайку, только не блондиночка, а рыжая.

Мне вдруг становится до потливости стыдно. Можно было, ничего не сказав, отвернуться, она бы присела и вылизала остатки с тарелки. Это богатырь прогнал ее, чтоб угодить мне, для него необычному, непривычному чужаку. Хочу извиниться, но попрошайки уже нет. Выхожу из «Блинной» на улицу — и здесь ее нет, видно, слишком всерьез она приняла обещания богатыря. Богатырь выходит следом за мной, уж не может без меня, так я ему понравился. Догоняет, берет об руку. Держит дружески, однако не вырвешься. Так и идем вместе и, что делать, не знаю. Прохожих немного, и ни одного милиционера не вижу, потому нового своего друга стараюсь не сердить. Иду уж не знаю куда, уж не сам иду, а он меня по сути ведет. Прохожие, которые изредка попадаются, нас сторонятся, а какая-то бабушка с детской коляской вообще на другую сторону улицы перебежала. Коляска старого образца, плетеная из прутьев, как лукошко, я такую коляску вообще впервые вижу. А богатырь глянул на эту коляску и в слезы.

— В такой, — говорит, — коляске и меня возили.

Догнал коляску (вернее, мы вместе догнали, поскольку он меня не отпускал), заглядывает внутрь и плачет.

Бабка говорит:

— Уйди, супостат, ты мне дите перепугаешь.

А он все успокоиться не может.

— Вот так, — говорит, — и я махонький лежал, и бабуленька меня возила.

Подобным образом самозабвенно рыдать только русский грешник может, и «клейкие листочки» вспомнит и «слезиночку ребеночка». Уж перепуганная бабушка с коляской за углом скрылась, а богатырь все не может успокоиться, плачет, но руку мою не отпускает. Чем бы все кончилось, не знаю, однако вдруг богатырь, по причинам совершенно непонятым оставив меня, вошел в ближний

бой с каким-то прохожим. «Ну, думаю, нокаут на первой минуте». Но и прохожий не лыком шит — снизу, снизу... Повалился богатырь на грязный газон и сразу захрапел по-медвежьи... Медведи, говорят, ужасно во время зимней спячки храпят. Но те хоть в теплой берлоге, а этот в грязи, на ветру, на холоде, с подбитым глазом и так ужасно, уютно храпит. «Мне б, думаю, твой сон...»

Сплю я, разумеется, особенно последнее время, очень дурно. Мерещится всякое. Вот что-то померещилось, и приехал один в последний раз на Волгу. А зачем? Проститься? С кем? Оглядываюсь. Вокруг предпраздничная пьянь. Кажется, завтра какой-то праздник, День рыбака, что ли? Будни серы, хочется праздников. За любой праздник судорожно хватается народ, суетится народ.

Сажусь в переполненный автобус. Возле меня редкозубый седой, всех задирает, лицо злое.

— Куда прешь?! Что? Женщина? Женщин вперед пропускать? Разве ты женщина? Ты кобыла.

— Да, кобыла, — отвечает женщина лет пятидесяти в вязаной шапочке. Грубое простонародное городское лицо, — если бы я была женщина, я б не работала...

Едем. Минут через пять остановка, влезла старушка и наступила какому-то парню на ногу. Парень худой, долговязый.

— По затылку ей, — говорит парень, — старухе этой...

Настроение редкозубого неожиданно меняется, он урезонивает скандалиста, лицо теперь масляное.

— Нехорошо... Бабке по затылку, нехорошо... — оборачивается ко мне, смеется, — это народ поддавший... Если б трезвый, разве так бы говорили.

«Ах, Боже мой, думаю я, вылезая из автобуса, злые, несчастные, беспризорные дети и чувства детские, то злятся, то веселятся, то плачут, то смеются».

Проехал я недалеко, узнав в автобусное окно местность у речного вокзала. Вон вдали виднеется знакомый уж мне

городской березовый парк над обрывом. Берег здесь высок, сажусь на скамейку у срезанного откоса. Смотрю вдаль. Вся громадная пойма, широкая долина реки разлилась, сколько глаз хватает. «Неужели люди, думаю, суетящиеся рядом в нескольких метрах от этой природной широты, не замечают ее, не слышат этого мощного, хоть и беззвучного хорала, не сверяют с ним своего звучания, пиликают на своих визгливых гармошечках, дудят в свои дудочки. Главное, чего нам не хватает, — это разумного понимания жизни, чуткости к впечатлениям бытия, в конце концов, обычного страха Божия... Может быть, этому поучиться у детей, у тех детей, которые еще не успели постареть. Эти люди-дети могли б нас многому разумному научить. Говорят, дети в своих играх подражают взрослым. Неправда. Взрослые в своих, якобы серьезных, деяниях на самом деле подражают детским играм, но делают это более глупо и менее искренне, как сейчас в автобусе. Ведь дети старше взрослых, из каждого ребенка только лет через двадцать появится взрослый. Конечно, он уносит с собой воспоминания, опыт детства, но нет того удивления бытием, той жадности к неиспытанному, о которых говорил, кажется, Бодлер или Эдгар По и которые доступны только «первооткрывателям», но не доступны «подражателям».

Так, глядя на волжскую широту, я постепенно трезвею от навеянных этой широтой мыслей. Я чувствую, как легче становится и сердцу моему и желудку. Пищевой ком, вынесенный мной в кишечнике из «Блинной», уж раздроблен на части, и чудесные блинчики и отвратительная кислая котлета одинаково подверглись химическому расщеплению, уж нет между ними разницы в том далеком, потустороннем, внутриутробном мире. Мы живем зажатые в тесном промежутке меж необъятностью внешнего мира и внутриутробным космосом. Все эти железы, кишки, мозговые пузыри, сердечные клапаны также далеки от нас, как звездные галактики. Все это не наше, все это нам не

принадлежит, даже наше сердце нам не принадлежит. Нам принадлежит только то, что неосознано и невидимо, только воздух, только душа, только Бог... О, этот вечный спор между сердцем и душой...

Если сердце вдруг останавливается
 На душе беспокойно и весело
 Точно сердце с кем-то уславливается
 А жизнь свой лик завесила.
 Но вдруг — нет свершенья, новый круг
 Сердце тронуло о порог!
 Перешло и вновь толчок
 И стучит, стучит спеша,
 И опять болит душа
 И опять над ней закон
 Чисел, сроков и времен
 Кровь бежит, темно звеня
 Нету ночи, нету дня...

Это, кажется, Бальмонт... Нет, это все-таки не Бальмонт, а Зинаида Гиппиус... Бальмонт это...

Я мечтою ловил уходящие тени, уходящие тени погасшего дня... или:

Пять чувств — дорога лжи. Но есть восторг экстаза,
 Когда нам истина сама собой видна
 Тогда таинственно для дремлющего глаза
 Горит укорами ночная глубина.
 В душе у каждого есть мир незримых чар
 Как в каждом дереве зеленом есть пожар
 Еще не вспыхнувший, но ждущий пробужденья.
 Коснись до тайных сил, шатни тот мир, что спит,
 И дрогнув радостно от счастья возрожденья
 Тебя нежданное так ярко ослепит.

«Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, — сказал Бальмонт, — символисты всегда мыслители». Но для того, чтоб предмет утрачивал свои реальные черты и перерастал в символ, нужно не наблюдать, а по-шопенгауэровски созерцать, нужен взгляд пессимиста. Однако постоянная тьма тяжела и принадлежащей нам душе и не принадлежащему нам сердцу. Можно ли вслед за Федором Сологубом постоянно восклицать: «О, Смерть! Я твой. Повсюду вижу одну тебя и ненавижу очарование земли». Положите на одни весы все вечные истины-символы, а на другие очарование от этого волжского вида, повеселевшего от пробившегося наконец сквозь тучи солнца, от чего радостней зазвучали голоса птиц и детей... Что перевесит? Это зависит от того, какой в данный момент вокруг нас мир, ночной или дневной, чего жаждет в данный момент наша душа — тьмы или света. Во тьме нам нужны истины-символы, а на свету солнечные радости и детские голоса. Человеческое чувство циклично, как перестук сердца. После света нужна тьма, после тьмы свет. В данный момент после тьмы мне нужен свет, и я с глупеньким умилением слушаю голоса играющих неподалеку детей.

— Компотик мы возьмем из той лужицы, а супчик из той.

Две светло-рыженькие девочки, я вначале даже думал близнецы, нет, пригляделся — личики разные, но волосы абсолютно одинаковые и причесаны одинаково, с косичками торчком, компотик набирают чайной ложечкой в детскую кастрюльку. И темно-русый мальчик, носатенький такой мальчик, так смешно, так замечательно торчит у него носик, балансируя, расставив ручки идет по извиляющемуся вдоль набережной парапету, каменному невысокому забору-ограждению. Живой, общительный мальчик. Таким, судя по отзывам, был и Феденька Достоевский в детстве. Почему-то так подумалось. Детки ведь прекрасные аналитики, тончайшие психологи. Всякий символизм, всякая законченность им глубоко чужда. Это

уж потом мы, взрослые, становимся символистами, чтоб властвовать над миром, которого не понимаем. Недаром Федор Михайлович так любил деток. В этой мертвой, постоянно застывающей в символы жизни детки — единственная живая сила. Начало начал, далеко от конца-символа.

Сижу, терзаемый всеми этими мыслями, и смотрю, как движется по парапету, расставив ручки, балансируя, русоголовый Феденька. Думаю — если дойдет благополучно до конца парапета, то пойму нечто новое, нечто важное из этих своих размышлений. Парапет — длинный, извивается. Повернул Феденька за угол и скрылся. Я со скамейки встал и следом за ним — осторожно, чтоб себя не обнаружить. В кусты забрался, в колючки и наблюдаю. Вот-вот дойдет Феденька до конца парапета, упирающегося в стену, вот-вот пойму я нечто, в одну минуту пойму какую-то неразрешимую загадку жизни, над которой мучился все отпущенное ему земное время Федор Михайлович. Однако парапет мокрый после дождя, уж несколько раз Феденька начинал, особенно сильно балансируя, махать ручками — прямо сердце мое замирает — упадет. Но не падает, идет. Уж совсем близко до стены. И вдруг свалился. Я от досады даже губу прикусил до крови — значит, не пойму ничего. А Феденька с земли поднялся, на ножки встал, оглянулся — вокруг никого, меня он в кустах видеть не мог, и говорит сам себе так мило по-детски и так глубоко аналитически.

— А я не упал.

Ну попробуй изучи символ, попробуй избавься от него. Только почувствуешь живой аналитический зуд, как сразу символически тупик. Опять мысль обрезана, опять мысль остановлена. Тем более, кто-то окликнул меня милицейским голосом.

— Ну-ка, сукин пес, выходи из кустов.

Вышел, нащупывая в кармане удостоверение личности.

Не милиционер, доброт, но лицо милицейское, похоже — отставник. Морду его описывать не буду, чтоб не терять время. Тем более вообразить ее нетрудно. Выстрелил в меня свинцово-серыми глазами, прямо в упор, в лицо, потом еще раз в грудь, в корпус. Лицо мое, вижу, ему понравилось — для расстрела пригодное, но корпус в хорошем столичном плаще, черт его разберет по нынешним временам, кто такой. Поэтому продолжил без прежней злости, но строго предупредительно.

— Гражданин, здесь в кустах сцать запрещено. Штраф десять рублей.

И пошел прочь, не дожидаясь моего ответа, угрожая мне крепким затылком. Ну попробуй избавься от символов. В нашей жизни так мало простора для анализа, на каждом шагу символы-запреты. Только детки постоянно анализируют, смешные глупые деточки, которых так любил Федор Михайлович и которыми он пытался уравновесить то отвратительное и ужасное, которое, не будь этих деточек, могло довести душевную муку до обрывистого края.

Возвращаюсь назад на свою скамейку, наблюдаю за игрой двух рыженьких девочек. Они на меня тоже обратили внимание, перешептываются, поглядывают в мою сторону. Потом одна из них подходит, смотрит голубеньким, спрашивает время. Я смотрю на часы — отвечаю. Подходит и вторая. Вблизи они совсем не похожи. Одна белолицая, другая конопатенькая. Даю им по конфете, случайно завалявшихся в кармане плаща. Одна конфета, «грильяж», достается конопатенькой, другая, «Мишка косолапый», достается белолицей. Садятся рядом со мной на скамейку, о чем-то перешептываются, пересмеиваются. Разворачивают конфеты, обмениваются обертками-фантиками, потом переламывают конфеты пополам, обмениваются половинками. Боже мой, действительно дети — бальзам, врачующий душевные раны. С одной стороны врачующий, но с другой стороны растрavляющий. Особенно дети-женщины...

Вот эта смотрит голубеньким, а эта зелененьким. Совсем по-кошачьи смотрит... Для тех, кто мучается и страдает из-за несогласия с обществом, еще возможны поиски спасительного пути, но мучения Свидригайлова выхода не имеют. Это Федор Михайлович твердо знал, потому что тут ни унижение, ни оскорбление, а соблазн в его чистом виде, первородный, незамутненный историей. Две чудесные райские мучительницы сидят рядом со мной, пересмеиваются, мудрые, как две змейки. Я знаю, что в полной их власти, особенно, когда молча пересмеиваются и поглядывают то голубым, то зеленым. Но к счастью, они меня помиловали, заговорили по-ребячьи глупенько.

— Дядя, а на войне хорошо? — спросила вдруг меня голубенькая.

— Кто тебе это сказал? — отвечаю уже покровительственно, как взрослый ребенку.

— Да, на войне можно и поесть вкусненько и поспать... Так — пах, пах, пах и опять поспать...

— Знаешь, сколько таких детей война убила, — говорю я, — и еще меньше тебя...

— Еще меньше? — удивляется зелененькая, — лучше бы взрослых детей убивали...

«Совсем по Федору Михайловну, думаю, жизнь любить больше, чем смысл ее... Символ-смысл детки отвергают».

В это время подбегает мой Феденька.

— Шурка, Клавка, — кричит он девочкам, — побежали в сумасшедшую камни бросать.

— Виталька, — спрашивает голубенькая моего Феденьку, — а Сережка будет? Без Сережки страшно. Сумасшедшая палкой дерется.

— Сережка будет, — отвечает Виталька-Феденька, — сейчас Сережка футбол гонять кончит и пойдём.

3

Сережка, как я понял, старший брат Витальки-Феденьки, подросток. Детки побежали, я следом за ними пошел и Сережку увидел, узнал, потому, что очень на Витальку-Феденьку похож. Однако, как похож? Что в Феденьке мило, то в Сережке отвратительно. Тот же Феденькин нос торчит воинственно из прыщавого лица, те же глаза, не веселенькие, а озорно-хулиганские, темно-русые волосы длинные по плечи, несмотря на холод рубашка расстегнута, и на вспотевшей от футбольной беготни груди большой православный крест, насмешка и над атеизмом и над религией, потому что свою футбольную игру с крестом на груди он сопровождал таким матом, какого я и в «Блинной» среди взрослых алкоголиков не слышал. Сам по себе Сережка был символом, запирающим мысль, ведь ничего о нем своеобразного, нового сказать нельзя было, кроме того, что это в чистом виде русский хулиган, очевидно бесчувственно-жестокий, бродящий по российским улицам главным образом в стае. Но сейчас он развлекался, играл и был, кажется, не слишком опасен, тем более, рядом с похожим на него смешным, милым братиком, который его отчасти очеловечивал какими-то общими чертами. Правда, схожесть эта имела воздействие и на младшего братика Витальку-Феденьку, показывая, из какой голубой дымки, из какой былинной шелковистой травки, из какого братца-козленочка растут российские серые волки.

Недавно я слышал по телевизору в одной из морально-воспитательных передач, как такая же компания деревенских ребятишек, подростков и их младших братиков удавила деревенскую Жучку. Перетянули ей горло проволокой, подожгли на ней шерсть, а потом с веселыми криками оторвали ей лапы. У Федора Михайловича описано нечто подобное, только там мальчик Коля подсовывает Жучке в еду иголку, а потом вокруг этого строится целая

моральная концепция с христианским раскаянием со слезиночкой ребеночка и прочим мармеладом... Я думаю, морально-педагогическое слово здесь бессильно и излишне, тем более христианский мармелад. Здесь нужен хороший кнутик, кнут, который глубоко через кожу в мясо проникает, старый добрый кнут, осмеянный и проклятый разноликими «гуманистами». Что же еще может помочь мальчику Коленьке, который голодной собачке иголку в пищу положил, а потом плакал, заливался по этому поводу сахарными слезами? Те нынешние деревенские ребятки, которые садистски убивали Жучку, удовлетворяя свое разбуженное ранним онанизмом половое чувство, хоть не плакали сахарно и речей христианских гуманистов не слушали. В своем бездушии хоть чужие души не смущали.

Существуют явления ясные, плоские, к которым относятся и садистские преступления, вполне изученные медициной. Придавать им третье измерение, философский смысл — значит смутить, дезориентировать и соблазнить «малых сиих». Федор Михайлович Достоевский обращается с идеями и чувствами так же, как обращается с ядами и радиоактивными веществами ученый-теоретик. Он их смешивает и соединяет в непозволительных для обычной жизни пропорциях. В этом его ценность как теоретика, но делать из экспериментатора учителя жизни так же опасно, как выносить в незащищенную стеклом лабораторий уязвимую жизнь яды и радиоактивные вещества. Сам ощущая, а может, и понимая это, Федор Михайлович, чтоб распутать безнадежно запутанную нить, насильственно вмешивался в судьбу своих героев, как верно заметил один из старых критиков, подобно *des ex machina* механической силы со стороны, спасая от отравления своими идеями. Не эту ли механическую силу апологеты Достоевского принимают за пророчество? Не так ли кается Раскольников, не так ли говорит речь Алеша над могилкой Колечки-садиста?

Когда я начинаю размышлять, то словно засыпаю, иногда даже на ходу, и мои мысли мне словно бы снятся, а окружающая жизнь, которая какой-нибудь деталью вызывает поток этих мыслей, словно бы исчезает. Я уже оказывался из-за этого своего свойства в смешном положении, говорил в неподходящем месте какие-то слова вслух, как говорят во сне. Вот и сейчас что-то сказал вслух и проснулся от того, что дети смеются. Колечка, то есть Сережа, смотрит на меня озорно. Я с подобным озорством знаком, когда глаза свечечками полыхают, открытыми жгучими огоньками. «Он, думаю, ниже меня ростом, может головой в зубы ударить не из-за денег, как где-нибудь в Нью-Йорке, а бескорыстно, оттого, что просто ему не понравился. Если, думаю, сейчас закурить попросит, значит решил ударить». И во мне вдруг ненависть поднялась, навеянная теоретическими размышлениями во сне. «Кинется, думаю, я его связкой ключей в рожу ударю». Сережа, кажется, эти мысли мои прочитал, они понятливые в таких делах. Если б их с десятков было, то, может быть, и кинулся вместе с иными просто так, ради удовольствия, а один на один не решился.

— Давай, — говорит, — ребята в сумасшедшую камни бросать.

И побежали куда-то в сторону ватагой, малые сзади, а Сережа впереди. Мне б уйти от греха подальше, а я за ними. Протрезветь-то я протрезвел, но все-таки еще чувства после алкоголя обострены, как говорят, сам на рожон лезу. Пошел быстрым шагом и успел заметить, что они куда-то вниз бегут, по пологому откосу, а потом уж на крики ориентировался. Слышу снизу веселые крики и смех. «Значит, думаю, детки уже камни бросают». Пошел совсем уж быстро, почти бегом — действительно бросают, Сережа умело, а малые детки кое-как, их камни не долетают, потому что кидают издали, видно опасаются палки, с которой в отдалении женщина стоит. Да ведь это

прошайка из «Блинной», думаю. Сережа на нее матом, а она ему по-своему отвечает.

— Болтушка, — говорит, — пельмень свистящий.

Так мне слова эти ее понравились и так мне сережин, подростковый мат тошнотворным показался. И младший братик, Виталька-Феденька, подражает, сюсюкает.

— Сюка, сюка блядская...

У моих соседей в Москве мальчик тоже ругается, еще меньше Феденьки, лет пять ему. Захожу как-то к ним, а мальчик за шкафом играет, на плюшевого олимпийского мишку зонтиком замахивается.

— Ах ты падло, — говорит, — ах ты падло.

И смешно и противно. Шагнул я к Сереже.

— Крест носишь, — говорю.

— Ношу, — отвечает с вызовом, — потому что меня крестили.

А я этот нелогично начатый диалог нелогично и продолжаю.

— Пошел вон, говнюк, отсюда, а то рожу расквашу.

Он на меня глянул, оценил.

— Эх ты, — говорит, — Гад Моисеевич, здоровый ты думаешь? А знаешь, что силу можно кое-чем заменить? — и достает из кармана большой складной нож, открывает лезвие, прикладывает к вытянутым пальцам левой своей ладони, — вот на четыре пальца с кончиком, как раз до сердца...

Беда нам интеллигентам с нашей творческой фантазией, с делаемым нас слабыми воображением. На редкость ясно представил я вдруг себе это лезвие у меня между ребер. «Пока скорая помощь появится, думаю, кровью истеку... Нужно тебе все это было перед самым отъездом...» Чувствую, под коленями слабею и даже думаю: не побежать ли прочь, пока не ослабел совсем. Однако тут опять воображение помогло, на этот раз укрепило. Представил

себе, как побегу позорно в своем модном столичном плаще, а этот в курточке, маленький за мной гнаться будет и, может быть, даже ударит ногой под зад под смех малых деток. Представил, как буду мучиться от этого своего позора. Хоть никто из знакомых не видит, знать не может, но я-то знать буду и, проснувшись ночами, буду мучиться. Представил весь этот ужас и не побежал, а даже тяжелую связку ключей достал в противовес ножу. Очень это страшно, скажу я вам, стоять так в одиночестве, непрофессионально против уличного ножа, но какое-то безумство храбрых вдруг мной овладело. Именно безумство. «Надо, думаю, стать боком и локтем прикрыть сердце, где-то это я читал, в какой-то книжке...» Чем бы это все кончилось, не знаю, но вдруг, воспользовавшись нашим противостоянием, женщина приблизилась и Сережу палкой по руке да по спине несколько раз. Твердой рукой ударила, не по-женски как-то умело. Сережа крикнул, нож выронил и побежал прочь со своей ватагой. «Опять символ, думаю, та, которую я хотел защитить, меня защитила. Помнит ли она меня в «Блинной», где я ее от столика прогнал? Будем надеяться, что не помнит. Нищий ведь царственно безлико воспринимает толпу, его питающую. Видит только руки подающих, но не видит лиц. А руку мою она запомнить не могла, потому что я не подал».

Думая таким образом, прихожу в себя от страхов, от грозившей мне опасности. Оглядываюсь и как бы впервые замечаю окружающую местность. Совсем рядом дебаркадер, пристань, куда я с парохода высадился. Вон и речной вокзал, далеко под небом, вон и березовый парк темнеет на обрыве. Это что ж, опять по лестнице вверх? Впрочем, и по откосу оказывается можно, но гораздо дальше идти придется. Вниз-то я быстро сошел, а наверх дольше придется. И только я так подумал, как усталость почувствовал, запестрело в глазах от хлопотливо проведенного дня, ноги ватные стали, спина свинцовая, сесть

бы хоть ненадолго, посидеть... Да куда сядешь? Грязь, холод... Наверно вся эта усталость у меня на лице была, потому что женщина говорит.

— Пойдемте ко мне, посидите, отдохнете.

Ответить на ее приглашение я не успел, потому что опять детки прибежали. Виталька-Феденька и девочки. Видно, Сережа послал ножик подобрать. Ножик Виталька-Феденька подобрал, а потом выстроились детки и закричали напевно, хоть и вразнобой, знакомое мне с моих детских лет, передающееся из поколения в поколение бессмертное творение какого-то малолетнего Гомера: «Обезьяна без кармана потеряла кошелек, а милиция поймала, посадила на горшок».

— Вот я вас, — крикнула женщина и схватила палку.

Побежали детки прочь, затих вдали их смех. Затихло все.

— Пойдемте ко мне, — опять предложила женщина.

— А вы живете здесь? — спрашиваю.

— Нет, — отвечает, — но я здесь устроилась.

Пригляделся я к ней впервые повнимательней. Маленькая блондиночка, когда-то красивая, пожалуй, была. Пожалуй, и сейчас кое-что от красоты осталось, но замученная, бледная. «Что-то в ней от русалки, думаю, русалки — ведь не речные нимфы, как иные предполагают, и названы они не от слова «русло», а от русый, то есть по-старославянски — светлый, ясный». Была она какая-то действительно светлая, ясная: и глаза, и кожа, все почти одного цвета.

Есть на Волге, в самых верховных местах, вода еще чистая, и старенькие речные колесные пароходики запасаются ею для питания паровых котлов, потому что она не образует накипи и не разъедает стенки котлов. Я с другом моим в свое время, согласно старому волжскому атласу, посетил самое верховье, откуда величайшая река Европы истекает. А истекает она из колодца среди торфяного болота. Над колодцем древняя часовня у деревни Верх-

не-Волгино. Вообще-то много чистых ключей, колодцев, маленьких речек, и как-то весной мы попали туда на празднование русальной недели. Местные жители верят, что русалки — это души детей, умерших без крещения. Впрочем, праздник этот не христианский, а давний, языческий, когда славяне все умирали без крещения, и все их души становились русалками. Мне вдруг показалось, что женщина эта оттуда, с самого доимперского верховья, из коренных москвитов, которые, подобно американским индейцам, чужаки на собственной земле, в чужой, монголо-татарской России. В этом она показалась мне близка, я тоже чувствовал себя родившимся без родины и имел в Москве не дом, а жилище. Может быть, поэтому у меня глаза взмокли и сердце засосало, когда я увидел жилище этой женщины на дебаркадере. А она себе устроила настоящее жилище под каким-то навесом среди холода и грязи. Собственно, меня поразили цветочки, которые она в стакане поставила у изголовья постели, состоящей из какого-то тряпья — на мешковине кофта, платок, еще что-то. Обыкновенные полевые цветочки, которые я видел во множестве растущими в запущенном березовом парке и на обочинах. Но среди них была одна белая роза, уже почти увядшая, очевидно, кем-то выброшенная и заботливо подобранная русалкой. Да, в ней было русалочье, что-то в ней мне показалось прекрасное, но безжизненное, бледное, грешное.

— Садись сюда, — сказала она мне на «ты», видно уже признав за своего и указав на какой-то ящик, который служил ей креслом, — а я здесь посижу, — и уселась на чемодан.

Было с ней два чемодана, помятых и потертых, хорошей, кстати, кожи, но отслуживших свой срок, наверно, тоже кем-то выброшенных и ею подобранных.

— Тебя как звать, — спросила она меня.

«Что ответить, подумал, не знакомиться же все-таки

всерьез. Все-таки всерьез — это нелепо и глупо». Есть такая пошловатая интеллигентская шуточка: «Зови меня просто Вася». Так и сказал — Вася. Думаю, глянет на меня, поймет, что шутка, шутливая игра. А она на меня глянула и ничего не поняла.

— Васенька, — говорит, — имя какое хорошее у тебя. А меня Люба зовут. Знаешь такую песню, — и вдруг запела негромко хорошим голоском, но с простудной хрипотцой, — «Нет на свете краше нашей Любы, русы косы обвивают стан»... У меня тоже была коса до пояса... «Как кораллы розовеют губы и в глазах бездонный океан. Люба-любушка, люблю-любуйка, сердце Любы-любуйки в любви...» Эх, Васенька, я когда молоденькая была, хорошо жила...

— А тебе сейчас сколько, если не секрет? — спросил я умышленно фривольно, по-прежнему ведя свою шутливую линию, чтоб остановить, чтоб прервать нелепую душевную близость с нищей русалкой.

— Я уже старуха, Васенька, мне сорок три года, а лучшие годики я потеряла, лучшие годики отсидела... Пятнадцать лет.

«Обычная история, подумал я, обычная история наших дней, даже скучно, еще одна невинная жертва».

— За что ж ты сидела, Люба? — спросил я, заранее готовясь услышать очередной рассказ о незаконных репрессиях.

— Убила я, Васенька, — ответила Люба просто и коротко.

От такого простого ответа мне даже не по себе стало. Нет, шутливого разговора не получалось. Я глянул на Любу впервые всерьез и с тревогой.

— Кого ж ты убила?

— Человека убила... Да ты, Васенька, не бойся, — сказала она, очевидно заметив мое волнение и беспокойство, — я не разбойница. Я свекровь свою убила качалкой... Муж, Петя, меня обожал, на руках носил. На руки возьмет и носит. А свекор и свекровь... Не так свекор, как

свекровь. Свекор под ее дудку плясал. Знаешь, как поется: «Свекор и свекровь лютые, золовки суетливые, девчонки пересмешливые, да все не ласковые. Эх, да слезы горючи как река льются, не наполнишь ты синя моря слезами...» Вот так и я, Васенька, сколько переплакала... Один Петя меня любил, но он против всех, особенно против матери своей идти не мог...

«Вариации на сюжет Островского, подумалось мне, из драмы «Гроза», здесь же на волжских берегах разыгравшейся... Много ли их, вариаций семейной жизни российской, темного омота, глуби глубин. Там самоубийца, тут убийца — лучи света в темном царстве».

— Ты что задумался, Васенька? — прервала Люба мои размышления, — осуждаешь меня?

— Нет, почему ж, — видно ты убила случайно.

— Случайно, Васенька, случайно. Тесто катали, пироги к празднику... Начала свекровь опять мной понукать, не выдержала я. Не хотела, а вышло. Раз только ударила, да по виску. Целила по голове, а свекровь вывернулась как-то, и я по виску ей попала.

— Родные у тебя есть? — спросил я, чтоб как-то поменять тему, тягостную и Любе и мне.

— Родных у меня много... Отец, мать, братья, сестры... В Горьком живут и в Ленинграде.

— Помогают они тебе?

— Да, они жалеют меня, что я такая несчастная, — и тут улыбнулась впервые.

До того говорила все серьезно, понуро, даже пела понуро, а тут улыбнулась. Когда улыбнулась, лицо осветилось, и я поверил, что когда-то молодой она была красива, даже очень красива. И сейчас еще у нее чудный овал лица, маленькие ушки, чуть кверху вздернутый правильной формы нос. И фигура у нее кажется еще сохранилась, в фигуре у нее осталось зовущее. Даже здесь, в грязи... Однако это не Смердящая Достоевского... Нет, скорей вспоминается Бодлер.

Есть запах девственный,
 Как луч он чист и светел,
 Как тело детское,
 Высокий звук гобоя,
 И есть торжественно-развратный аромат.
 Слиянье ладана и амбры и бензоа.
 В нем бесконечное доступно вдруг для нас.
 В нем лучших дум восторг
 И лучших чувств экстаз.

Душевно возбужденный Бодлером, я ощущал, как в лице Любы, в ее фигуре, в ее движениях попорченная красота, попорченная женская сила пробивается сквозь грязь, сквозь гноище.

— Когда я вышла из лагеря, — рассказывала Люба, — муж мой, Петя, ко мне... Нет, говорю, у тебя другая жена, дети... Пошла в колхоз... Там вышла за Ванечку. Он тебя сторожит, тридцать рублей в месяц получает, мой Ванечка. Ой, Васенька, ты б Ванечку увидел, какой у меня Ванечка...

Она все светлела, все светлела лицом, приглашая меня порадоваться за ее хорошего Ванечку. Я понял, что женская ее бодлеровская сила целомудренна и принадлежит только Ванечке.

— Мой Ванечка, как из песни, — и пропела, — «Но настанет время и для Любы, и кудрявый, ласковый такой поцелует Любушкины губы и обнимет ласковой рукой...» Я в лагере хорошие песни выучила, и все у меня по песне вышло, — продолжала охотно, радостно говорить Люба, видно, что про Ванечку любила говорить, — вот еще есть такая песенка, называется «Ванечка, приходи».

Ванечка, приходи ты ко мне вечером,
 Темно будет ко мне пробирайся тайком.
 Ты в окошко постучи, отца-матерь не буди.

Сама отворю да и поведу,
 Мне колечко принеси, да гостинца захвати.
 Будем мы болтать, да и пировать.
 Ты на мне за то женись или сразу отвяжись.
 Не обманывай да не забывай.
 Всем, что есть у меня, я тебя угощу
 Никуда я тебя до зари не отпущу.

Такой у меня Ванечка, так мы с ним любимся... Но деревенский он, а я городская. Я городскую жизнь люблю, да не хватает денег в город ездить. Один раз в месяц в город еду. Если б хоть два раза можно было бы. Раньше паспорта не было, совсем худо было, а теперь ничего... Вот только на обратный билет мне не хватает. Приехала, не удержалась, Ванечке красивый картуз купила ко дню рождения. Я знаешь, Васенька, у алкоголиков бутылки собираю... Их вон у меня сколько, смотри.

Я глянул в угол за чемодан, действительно в углу стояло много бутылок.

— Их у меня уж сколько, — начала подсчитывать, — на семь восемьдесят бутылок уж собрала, — взяла газету, начала на ней писать карандашом, подсчитывать, — верно, семь восемьдесят. Если утром сдам бутылки, то уеду, а нет, еще сутки буду. Милиция приходила — сутки здесь оставаться разрешила... Вот только огольцы досаждают, камни бросают, дразнят. Спасибо, Васечка, ты мне помог.

Говорила обо всем Люба спокойно, с достоинством, как об обыденных, простых вещах.

— А сама, Люба, ты не пьешь? — спросил я, глядя, как она пересчитывает бутылки.

— Нет, я не пью, — ответила она, — но с двенадцати лет курю. Если бы пила, то все б пропила...

— А что ж у тебя есть пропить? — не удержался я и тут же пожалел, что спросил, потому что Любу, кажется, мой вопрос задел.

— У меня, Вася, многое есть... Вот смотри, — она за-
возилась с ржавыми замками чемодана, открыла, — ах, это
не здесь, это в другом...

Чемодан был набит нарезанным хлебом, кусками разно-
го сорта.

— Это не здесь, — повторила она, торопливо захлопы-
вая чемодан, видно устыдившись, что невольно показала
мне хлебные куски, — ты думаешь, Вася, я это на мусор-
нике собрала? Нет, у меня зубы слабые. Я мякоть выем, а
корки посушу и Ванечке в деревню... Раньше я и по му-
сорникам, — добавила она, помолчав, — бывало всякое,
— и снова замолчала.

Молчал и я, вспомнив, как сегодня в блинной она со-
бирала с тарелок недоеденный алкоголиками отврати-
тельный макаронный гарнир, в котором торчали окурки, и
ела его, вызывая у меня брезгливость.

«Жизнь, думал я, жизнь, да, жизнь, — и ничего не мог
сейчас придумать, кроме этого тревожного слова, кроме
этого терзающего сердце слова, кроме этого темного,
холодного, как волжский омут, слова — вся беда в том,
думал я, отвернувшись, осторожно касаясь пальцем мок-
рых ресниц, — вся беда в том, что ближе всего к не-
понятому слову жизнь понятное, мелкое, шулерски-кар-
тежное слово «удача»... У Шекспира в 124 сонете... Да, это
сонет 124.

О, будь моя любовь, дитя удачи.

Дочь времени, рожденная без прав.

Судьба могла бы место ей назначить

В своем венке иль в куче сорных трав.

Эта женщина из сорных трав могла бы быть вплетена в
лучший венок, если б гнусное, липкое, воровское слово
«удача» не распорядилось бы по-иному ее судьбой.

— Смотри, Вася, — говорила Люба, открывая другой

чемодан, — у меня многое есть... Трусы, юбка...

Сидела она в чулках и, заметив, что я обратил на это
внимание, сказала:

— Туфли у меня есть новые, но я много ходила, уста-
ла, пусть ноги отдохнут.

Туфли же ее стояли неподалеку, рваные, со стоптан-
ными почти до подошвы каблуками.

Я дал ей два рубля. Она взяла их без всякого удивле-
ния, хоть, судя по всему, ей не очень подавали и она к этому
вроде бы не привыкла.

— Пойду, водички попью, — сказала Люба и, не побла-
годарив, пошла.

В ее отсутствии я опять оглядел любим уют на дебарка-
дере и заметил на любинной постели куклу, поношеную,
потертую, наверно, тоже кем-то выброшенную и ею подо-
бранную, как и иное ее имущество. Я взял куклу, погля-
дел в ее веселые рисованные глаза. Порванное кукольное
платье было аккуратно зашито. «Может, все-таки сумас-
шедшая?» — подумалось мне. В этот момент Люба верну-
лась и заметила куклу в моих руках.

— Это Катенька, — сказала она, беря у меня куклу, при-
жимая ее к груди, — я с ней сплю, я так привыкла... У ме-
ня с Ванечкой детишек нету... В молодости с Петей у меня
случился выкидыш, и вот теперь детишек нету.

«Нет, не сумасшедшая, подумал я, просто потусторон-
няя. Русалка, выброшенная на берег».

О себе она много рассказывала, а обо мне не спраши-
вала ничего, кто я, да откуда. Поэтому я решил хоть
несколько слов сказать о себе, чтоб наша беседа не сов-
сем уж выглядела односторонним допросом. Я сказал, что
живу в Москве, приехал сюда по своим делам и жду те-
плохода на Астрахань, но из-за непогоды, как мне сказа-
ли, теплоход прибудет только вечером. Люба вполне удо-
влетворилась скупыми сведениями обо мне, не стала до-
пытываться подробностей, лишь сказала:

— Теплоход может и вечером не прийти. Тут бывает сутками пассажиры сидят в непогоду. Я тебе, Вася, вот какой совет хочу дать. Езжай-ка ты, Вася, рейсовым катером на другой, луговой берег, прямо к пристани Башмаковка... Есть еще Нижняя Башмаковка возле Астрахани, а это наша Верхняя Башмаковка, деревня моя. Там ни каменных гряд, ни мелей, оттуда скорей уедешь.

Такой совет меня обрадовал, поскольку я начал волноваться, поспею ли в Астрахань на свой самолет. Разумней всего было бы вернуться назад, в верховье, в Тверь — Калинин, откуда поездом до Москвы совсем недолго, но уж билет на самолет из Астрахани оплачен, да и вообще, раз задумал последнюю поездку по Волге, надо довести ее до конца.

— Время которое, Вася? — спросила меня Люба. Я сказал. — Ну, до катера можешь у меня еще маленько посидеть, еще не скоро. А мне уже пора перекусить. Уж червячок сосет, — она раскрыла чемодан, наполненный резанными и рваными кусками черствого, невесть где ею подобранного хлеба, и начала есть, отрывая пальцами мякоть и посыпая ее серой, мокрой солью из тряпицы.

— Я тебе, Вася, не предлагаю, — сказала она, — ты такой еды, думаю, не большой любитель.

Сказала она это серьезно, но мне в этом серьезе ее почудилась и некая ирония то ли в мой, то ли в свой адрес. Вообще была она гораздо смышленей, чем мне первоначально показалось, не так простодушна. Не все говорила, кое-что и затаивала. Мне вдруг показалось, что она меня запомнила, когда я в блинной ее от столика прогнал. И вообще, под внешней кротостью душа ее была пропитана обидой, как бодлеровскими горькими осенними соками. И когда Люба так ела свой хлеб с солью, я понял: что б я дальше ни видел и куда б дальше ни ехал, никакого другого итога мне не найти. Вот он, итоговый символ всего мной виденного и прочувствованного. Вот она пере-

до мной Россия. Вот она нищенка-Россиюшка...

Нет, не краснощекая, стройная, грудастая красавица в вышитом сарафане и кокошнике, которая на позолоченном блюде, застланном белоснежным вышитым полотенцем подносит большой свежее испеченный хрустящий хлебный каравай и белую чистую соль в хрустальной солонке — бутафорская ряженая Россия. Вот если бы вместо красной девицы вышла встречать черные лимузины и международные самолеты Люба со своими черствыми нищими кусками хлеба и своей мокрой серой солью в тряпице. Нищая русалка, безгрешная убийца с кротким светлым взглядом и горькой осенней душой. Дочь времени, рожденная без прав. Такой мне захотелось ее запомнить, такой увезти с собой. Я поднялся с ящика.

— Мне уж пора, Люба.

— Вещи твои где?

— Вещей у меня мало, саквояж один в камере хранения.

— Ну и ладно, — сказала она, отложив недоеденный кусок хлеба, — спасибо, что зашел, Вася, — точно она не валялась на грязном дебаркадере, а была у себя в уютном доме, и я зашел к ней в гости, — может, и адресок свой оставишь, Вася, — сказала она и глянула непонятно, то ли наивно, то ли насмешливо.

— Да, конечно, — сказал я, — адресок оставлю. — И, вырвав лист из карманного блокнота, быстро набросал адрес, конечно же, выдуманный, тем более, что у меня и подлинного-то российского скоро не станет. И фамилию себе придумал сатирическую «Доедаев».

Люба взяла лист, прочла.

— Доедаев? Я такую фамилию слышала, парень у меня был в молодости знакомый, чубатый такой... Или Докучаев он был, уж не помню. Дай и мне чистый листик, Васенька, а то, видишь, я на газетке пишу. Дай, я тебе напишу на память, авось когда свидимся, и авторучку дай, а то мой карандашик затупился.

Она взяла у меня лист, авторучку и начала писать. Глянет на меня, улыбнется и пишет, улыбнется и пишет. Но в это время от пристани гудок слышался, сирена, и Люба заволновалась.

— Ой, Вась, беги быстрее за вещами, катер уже с того берега пришел, через полчаса назад пойдет.

Я схватил сложенную вдвое бумажку и побежал вверх по склону.

— Вася! — закричала мне вслед Люба, — Вася, авторучку свою забыл.

Я отбежал уже довольно далеко и не знал, что делать — возвращаться, время потеряю, а авторучка была дорогая, американская.

— Беги, беги, Вася, — крикнула Люба, видя, что я колеблюсь, — я принесу... Я тебя проводить приду...

4

Времени у меня оставалось действительно мало, после того, как взмокнув от крутого подъема, я добрался наконец до речного вокзала и получил в камере хранения саквояж. Минут пятнадцать до отхода катера оставалось. Я ужасно суетлив, когда опаздываю, хочу все сделать быстрее, а получается медленней. Сначала долго не мог найти багажную квитанцию, шарил быстрыми угловатыми движениями по всем карманам, а квитанция спокойно лежала в верхнем пиджачном. Уж очередь багажная на меня роптать стала, уж какой-то доброхот, впрочем тоже спешащий, хотел меня в сторону отодвинуть и даже выдавший виды с закаленным сердцем служащий багажного отделения, глянув на мое лицо, сказал мне.

— Вы не нервничайте, спокойно ищите.

Как только он сказал, я сразу и нашел, получил саквояж. Идти к пристани уже некогда было — побежал, но с кем-то столкнулся, от толчка саквояж раскрылся и оттуда вы-

пали спортивные мои кеды, зубная щетка, порошок от клопов, на случай ночевки в местных гостиницах, и томик сонетов Шекспира, который в отличие от прочего набора книг, в основном случайного, брался мной всегда в дорогу. Когда я подбирал все и запихивал в саквояж, ко мне вдруг подошла девочка и начала о чем-то говорить. Я сначала от нервной суеты не понял, какая девочка, о чем она говорит, но когда девочка протянула мне мою дорогую американскую авторучку, я понял — это Люба передала. А потом и девочку узнал, одна из рыженьких, которая в Любу камни бросала.

— Люба передать просила, — сказала девочка, — жалко, что мы в нее камни бросали. Мы думали — она сумасшедшая, а она — хорошая.

Я дослушивал эту исповедь, это детское покаяние уже спиной. Но, добежав, успев в последний момент, ибо матросы уже сходни убирали, стоя на палубе и успокаиваясь, вспомнил о рыженькой. Значит, дети были недалеко, слышали наш разговор, вернее рассказ Любы о своей жизни, и покаялись в своих дурных поступках. О, дети понятливее нас, взрослых, особенно тех, кто склонен к постоянному гамлетовскому напряжению. Тех, кто с Божьей высоты тянется мысли достать, а простенькую, из под ног своих, не подберет вовремя. Тут именно проблема времени. Высокие мысли связаны с бесконечностью, их ценность непреходяща, а ценность простенькой мысли часто зависит от получаса, от пяти минут... «Почему, почему я не дал Любе денег на билет?» Конечно с деньгами у меня не густо, но еще один билет на рейсовый катер я уж как-нибудь мог купить... Ах, если б не суета последнего часа, или если б Люба не запоздала, если б она пришла на пять минут раньше, когда я еще был на берегу...

Я увидел Любу, когда катер уже разворачивался, чтоб взять курс к пристани у Любиной деревни. Люба стояла у

ограждения и махала мне платочком.

— Прощай, Вася! — крикнула она, — будь здоров, Вася.

Я ничего не ответил, только поднял руку, потому что боялся разрыдаться, но безмолвно произнес: «Прощай, прощай, Люба, прощай нищая Россиюшка, безгрешная убийца».

У меня в тот момент было такое чувство, точно я и впрямь покидаю Россию, которая машет мне на прощанье рукой с зажатым в кулаке платочком, и по темной волжской воде уезжаю за границу.

Смеркалось рано, как смеркается осенью, смеркалось из-за ненастья, из-за низких черных туч. Чайки с визгливой мольбой носились над белыми пенистыми волнами, вот-вот опять должен был начаться дождь. Правый высокий берег был освещен огнями у речного вокзала и гораздо левей, где рычал моторами карьер по добыче асфальта и откуда береговой ветер приносил удушливый запах, напоминающий вонь жженой резины. В промежутке же между этими огнями уже сгустилась тьма, и где-то там, в дальнем конце холодного грязного дебаркадера, уж третьи или четвертые сутки ночует Люба, которая никак не попадет в свою деревню к своему Ванечке, никак не накопит денег на билет, никак не соберет у алкоголиков нужного количества бутылок. Почему, почему я не дал ей денег на билет? Ах, это «почему». А почему Люба не ударила измучившую ее свекровь, почему не ударила свою ненавистную Кабаниху качалкой в нос, вызвав всего лишь свару, а, может, даже просто смех, почему ударила прямо в висок, убила наповал? А почему я, живя столько лет в Москве... Впрочем обо мне сейчас совсем не ко времени.

Правый покинутый берег стал неразличим, я повернулся, глянул вглубь катера на пассажиров и... о, Боже мой, о, Боже мой, какой символ... Наподалеку от меня, у самого борта сидела пожилая женщина, безликого облика, из тех, кого видишь во множестве, и потому не замечаешь. Но в руках эта женщина держала, прижимая к груди у самой

своей головы, огромную свиную голову, которую везла, видать, на холодец, или на кислые щи с головизной. Держала, упираясь подбородком в голову, совершенно не упакованную, что не удивительно, ибо в наших магазинах упаковочной бумаги и на мелкие покупки не получишь, а такую огромную голову как упакуешь? Именно свиная голова, вплотную к человеческой, придавала этой женщине индивидуальность. И я поразился схожестью даже каких-то внешних черт. Не скажу, что лицо у женщины было злое, скорей мертво-тупое, как и у свиной головы. Неподвижное какое-то, застывшее, и мне почудилось, что голова женщины, как и свиная, запачкана замытой розовой кровью. «Вот она любина свекровь, подумалось, преступная жертва, которая везла на холодец, везла на съедение собственную голову». Да, это была другая, вторая ипостась России, все вокруг вытаптывающая, все и всех пожирающая, в том числе, а скорей в первую очередь, себя, большую, тяжелую, заплывшую салом. Ее нельзя было одолеть и смертью, убоем, она для того и существовала, она тем и губила соблазненных ею убийц своих, восставших на нее многоголовую. Со своими двумя тупо-мертвыми головами она, свекровь-Россия, уверенно восседала, как на троне, а загубленная ею Россиюшка, одинокая, бездомная пропадала где-то во тьме, холоде, сырости, ночуя на дебаркадере. Вот такой волжский сюрреализм, вот такой волжский Сальвадор Дали.

В принципе, я не принадлежу к поклонникам сюрреализма, символизма, вообще модернизма и согласен с теми, кто отвергает применение математических методов в искусстве. Я согласен с реалистами, верящими в основополагающее состояние равновесия в искусстве и жизни, в противовес модернистам, верящим в текучесть, в возможность приблизить квадрат через восьмиугольники, шестнадцатиугольники, тридцатидвухугольники и прочее и прочее к кругу. Наверно, правы реалисты, утверждающие,

что в реальной, неэкспериментальной жизни и реальном неэкспериментальном искусстве существуют либо квадрат, либо круг. В образе — да, но не в слове, этот образ создающем, в жизни да, но не в чувствах, эту жизнь воспринимающих. Ибо четкое разделение в области чувств в конечном итоге ведет либо к лесной дикости, либо к неврастении цивилизации. И бывают моменты, бывают периоды в жизни и искусстве, согласен, тяжелые, темные периоды, когда чувства обнажаются, теряют пристойную гармоничную, телесную защитную обложку, как обнажаются кишки в раненом кишечнике или мозг в проломленном черепе, и именно тогда слова, краски, звуки становятся образами. Это, повторяю, ужасное зрелище, но в определенные моменты как раз модернизм, сюрреализм, символизм воплощают реальность, а реализм превращается в блеф, фантазию, выдумку. Разве не досужей выдумкой выглядит красна девица Россия, выносящая навстречу черным лимузинам хрустящий хлебный каравай и соль в хрустальной солонке? Разве не реальней были бы две ипостаси — сюрреалистическая свекровь-Россия, подносящая начальству на блюде холодца свою собственную голову, и символическая Люба-Россиюшка, подносящая нищенские собранные куски черствого хлеба и тряпицу с мокрой серой солью? Разве в промежутке между этими двумя ипостасями России не уложились бы и тоскливая ненависть тусклой российской улицы и мазохистски-губительные пьяные радости нынешних людей мелкого счастья, а также прочее и прочее из повседневной страны, где, как писала Анна Ахматова: «Древней ярости кишат еще микробы. Бориса дикий страх и всех Иванов злобы и самозванца спесь взамен народных прав». Вот от чего бывают творцы, несчастные люди, которые не делят жизнь на темные и светлые периоды, а всегда видят лишь темное, даже на солнечном свету, среди многолюдных шумных радостей. Что ж тогда говорить о местности, ме-

ня окружающей, которая и природного хохотуна может увлечь к черному пессимизму.

Пристань у деревни Верхняя Башмаковка была узкая, но длинная, глубоко уходила в Волгу, и волны били в нее с ужасной, как мне показалось, ненавистью. Чтоб как-то рассеяться, я начал наблюдать за волнами, которые во множестве со всех сторон, как дикая орда, неслись на пристань и погибали, разбившись о мокрый бетон, о мокрые ржавые железные опоры. Но ветер гнал все новые и новые полчища. Волны состояли из углублений и возвышений, гребней и долин и, судя по тому, как они неслись, равномерно и монотонно, было ясно, что здесь, даже у берега, очень глубоко. На мелководье волны бывают разного размера в зависимости от понижения дна. Я решил выбрать в этом монотонном движении какую-либо одну волну и последить за ней с наиболее по возможности дальнего расстояния. Вообще, одно из тех бесполезных занятий, которые мы иногда придумываем для отдыха и которые еще более утомляют. А от утомления человек, случается, бросается в крайности. Я начал следить за волнами, не только чтоб отдохнуть от мыслей, но также, чтоб не смотреть на мигающие редкие огоньки деревни Верхняя Башмаковка, куда, как я считал теперь, по моей вине так и не попала Люба, спала опять вдали от своего Ванечки, отделенная от него злой бушующей Волгой. И вдруг подумалось: надо найти Ванечку, объяснить ему, где Люба и дать денег на два билета, туда и обратно. Это уже приличная сумма, но, в конце концов, я даю эти деньги не им, а себе, покупаю для себя спокойную совесть... И прочее и прочее в этом духе, те самые нервно-покаянные интеллигентские фантазии, которые гнали моих собратьев по сословию и в народничество и на плаху, а то и в места вовсе для фантазеров неожиданные. «Деревня недалеко, думаю, в полкилометре огнями мигает. В первый попавшийся домик постучу в окошко, Ваню спрошу, Ивана, сто-

рожа телят колхозных. Жена у него Люба... В деревне друг друга знают, покажут... Однако, на кого нападешь... Если на такую со свиной головой, то и собак натравит. Нет, я все-таки не идеалист, не народник, мне уже рвали штаны деревенские собаки... Но ведь кажется адрес у меня есть, зачем же в окошко стучать, ведь Люба мне адрес написала...»

Я сунул руку под плащ, в верхний карман пиджака, и нашел там сложенную вдвое бумажку, которую положил туда впопыхах. Я постоянно кладу бумажки, которые хочу сберечь в верхний карман пиджака и постоянно о них забываю. Отойдя под навес, где толпились пассажиры, ожидавшие теплоход, я поставил к стене мокрый саквояж и у фонаря развернул бумажку. На бумажке, как рисуют дети, были нарисованы солнце и луна, облака, проставлены крестики в несколько рядов и написано слово «Люба» много, много раз. Мне стало горько и стыдно. Значит, Люба с самого начала понимала наши взаимоотношения, понимала мою игру и свою игру провела более достойно, чем я. Наверно, она с самого начала понимала, что меня зовут не Вася и что адрес я ей подсовываю фальшивый и, может быть, даже помнила, безусловно помнила, как я прогнал ее от своего столика в «Блинной». Но ответила Люба на все эти мои изощрения спокойно и разумно, точно простила и пожалела меня... Верила ли она в Бога, знала ли Христовы заповеди? Не уверен. Впрочем, в наше время, когда уличные хулиганы открыто демонстрируют на грудях своих православные кресты, такой вопрос честному человеку и задавать неприлично. Знаю лишь, что позор несчастной жизни своей она несла спокойно, как тяжелый истинный крест, и имела абсолютное право сказать о себе: «Нет стыда надеющимся на Тебя».

Ночью, проснувшись в теплой уютной каюте первого класса, отодвинув кремовую штору и глянув в круглое, как дыра, черное окно, я представил себе ее, спящую сей-

час в обнимку с куклой под зыбким навесом на ветру, под близкий грохот волжского шторма, и ужасно пожалел себя, которому не на кого было надеяться в небесах. Оставалось надеяться только на земное. У каждого в этом случае свои рецепты. Зажегши ночник и чувствуя тошноту от качки, от подступающего к горлу штормового ужина соленокоченостей и ржаных сухарей, я открыл саквояж и достал аварийный томик Шекспира. Открыл наугад. Сонет 104.

Ты не меняешься с теченьем лет
такой же ты была, когда впервые
Тебя я встретил,
Три зимы седые
Трех пышных лет запорошили след.
Трех нежных весн сменили цвет
на сочный плод и листья огневые
и трижды лес был осенью раздет.

Много лет пройдет, думал я, и еще трижды столько, а я буду помнить этот волжский мутно-молочный день и эту волжскую черную ночь и эту волжскую природу, которая словно умышленно на мои проводы надела мокрое, грязное нищенское рубище. Так мне тогда казалось. Однако мудрые вечные слова Соломоновы: «Все проходит», если применить их к жизни временной, суетливой, мелочной, могут быть заменены словами: «Все забывается». Впечатления российские, знакомые мне до самых подробных нудных деталей, уже начинали соседствовать с впечатлениями заграничными, где я никогда не бывал, и поэтому, как во всяком небытие, впечатления эти не имели веса, были символичны, фантастичны иногда до смешного, подобно миражам из снов.

Заснул я в ту волжскую ночь лишь под утро, когда в коридоре за дверью каюты стали слышны шаги, покашливание, сморкание обслуживающего персонала. Я заметил,

кстати, что мозг свежий, здоровый беден воображением, тогда как мозг утомленный, доведенный до болезненного состояния, на редкость воображением богат, соединяя ведомое с неведомым. Гумилев когда-то сказал, что неведомое дает нам по-детски мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания. Так представлял я себе тогда манящую границу наяву, а тем более во сне. В ту ночь, точнее в то рассветное утро, опять снилась мне граница. Иду я где-то, через какие-то рынки, наподобие московских, но гораздо более разнообразных, иду среди всевозможных продуктов, выставленных напоказ, — горы свежего мяса, груды фруктов и овощей, бидоны меда и молока, караваи свежее испеченного хлеба. Иду и радуюсь, вот она граница, но в каком городе нахожусь, не знаю. Знаю только, что это не Париж, не Сан-Франциско, не Лондон... Слышу вдруг, кто-то произносит название города: Чимололе... Смешной, но успокаивающий сон о несуществующем заграничном городе... Городе без веса, городе из небытия... Но хотя бы в небытие — прочь из этого бытия. Ведь тогда, накануне моего отъезда, все кругом меня так осточертело и все внутри меня так наболело, что я готов был тут же присесть к столу и единым махом, на едином дыхании написать:

Странное, грубое, липкое, грязное.
Жестокотупое, всегда безобразное.
Медленно рвущее, мелко-нечестное
Скользкое, стыдное, низкое, тесное.
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое.
Вязко, болотно и тино-застойное
Жизни и смерти равно недостойное.
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное.
Вечно лежачее, дьявольски косное,

Глупое, сохлое, сонное, злостное
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо, что радости в плаче,
Мы знаем, мы знаем, все будет иначе.

И написал бы, если бы под названием «Все кругом» это не было уже написано Зинаидой Гиппиус еще в 1904 году. Правда, написал бы без последних двух строк, потому что тогда, накануне моего отъезда, не верил, что тут может быть иначе. Иначе может быть только в Чимололе. «О пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает, — как писала та же Зинаида Гиппиус, — мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете...» Однако, чего нет, того нет. Где ты Чимололе?

...Щебечут воробьи, светит солнце и под легким ветерком колышутся ветви большого клена у моего окна... Это — Берлин, это — граница. Все проходит и все приходит. Все закономерно забывается и все случайно вспоминается. Я искал одну из нужных мне книг, и случайно упал с полки томик сонетов Шекспира, весь в бумажных закладках. Одна закладка, уж пожелтевшая от времени скользнула на пол, я глянул: солнце, луна, облака, крестики в несколько рядов и слово «Люба» много, много раз...

В Берлине жарко. Тридцать градусов, душный вечер. В окнах полураздетые женщины в нижнем белье, полуголые мужчины. Тела, халаты. Мелькнет и грудь, бедро, мелькнет на балконе пляжница. А вот и вовсе там, где свет голубой в окне... Выхожу погулять и встречаю немца-соседа. Это левый молодой немец, который учит русский язык и хочет поехать в Россию для продолжения учебы. Он, кажется, уже был в России туристом и со мной заговаривает всякий раз ради упражнения в языке.

— О, Russland, — говорит он мне, — *schone Frauen*...* Вод-

* Россия... Красивые женщины...

ка... Тайга... Волга... Господин, прости... Братья Карамазов...
Und was sieht man hier? Autos nich als autos*. Да, мой русский язык плохо, но я люблю русский язык.

Мой сосед, немец-гуляка, от него даже в обыденные дни постоянно пахнет хорошим немецким пивом и добротным немецким шнапсом. Я понимаю, что этого немца от сытой тоски и хорошего допелькорна тоже тянет в Чимололе, в город под святыми счастливыми звездами, приснившимися мне когда-то ночью на волжском пароходе.

— Водка, — говорит он, — тайга... Волга...

А мне вспоминаются волжские символы — волжская русалка Любушка-Россиюшка и двуглавая свиномордая Россия, пожирающая и себя, и других, а в промежутке между этими полюсами вся жизнь, вся история несчастной страны четыре века тому назад на беду себе и другим покинувшей уютные зеленые заросли доимперских волжских верховьев.

— Das Wetter ist gut**, — говорит немец, догадываясь, что я не в настроении продолжить сегодня наш разговор, служащий ему учебным пособием, и желая окончить этот разговор вежливой фразой.

— Ja, ja, — говорю я, — ja, ja...*** Какая несправедливость.

— Was ist das fur ein Wort?****

— Ungerechtigkeit,***** — говорю я.

— Oh, Ungerechtigkeit! Wieviel Ungerechtigkeit gibt es auf dieser Welt.*****

Немец смотрит на меня.

— Schlechte Laune?*****

— Probleme, — говорю я. — Probleme.*****

* А что видят здесь? Автомобили, ничего, кроме автомобилей.

** Погода хорошая.

*** Да, да.

**** Что это за слово?

***** Несправедливость

***** О, несправедливость. Много несправедливости на этом свете.

***** Плохое настроение?

***** Проблемы.

— Jeder hat seine Probleme.*

Немец желает мне доброго вечера, я отвечаю ему тем же, мы улыбаемся друг другу и расстаемся. Я иду в равнодушно-вежливой толпе, мимо до жути ярких витрин, мимо сидящей за столиками избалованной привычной публики, неторопливо глотающей, безжалостно, спокойно пачкающей жиром и соусом белоснежные крахмальные салфетки. Сытость и покой — даже в ухоженных уличных деревьях. Набоковский Берлин давно минул, но какая-то устойчивость, какая-то неистребимость духа чувствуется во всем, может быть, потому, что здесь дух заменяет душу. Точнее, здесь господствует то самое скрытое единство живой души и тупого вещества, о котором говорили символисты. Впрочем, это уже совсем о другом, это уже совсем другие проблемы... А сейчас здесь, в этот вечер, со здешними проблемами можно встретиться только возле газетных киосков.

У ближайшего газетного киоска читаю написанную на щите последнюю берлинскую новость: начальник берлинской полиции вышел на улицу в двух разных туфлях, одном черном, а другом коричневом. Очевидно, начальник полиции куда-то торопился, удрученный проблемами и к радости вездесущих фоторепортеров оказался на щите. В этом разница между нами и ими, их проблемы можно снять и надеть, как туфли. Мелкие ли, сложные ли, они все-таки отделены от тела. А наши проблемы вросли нам в тело, наши проблемы вросли нам в мясо и отодрать их можно только вместе с мясом. Каждая российская проблема оставляет после себя на теле незаживающую кровоточащую рану, и кто его знает, заживут ли эти раны когда-нибудь, не истечет ли Россия до смерти кровью, полностью избавившись от своих нынешних проблем. Нет, не сможет она так по-немецки, почти бескровно снять диктатуру, одеть демократию...

* Каждый имеет свои проблемы.

Я ухожу с утомляющей, бездушной праздничной улицы, сворачиваю к каналу, поблескивающему вязкой черной водой, по которой словно бы ходить можно до рассвета, когда вода опять посветлеет и станет жидкой. Здесь прохладней, здесь вдоль набережной и под мостами погуливает влажный, речной, совсем волжский ветер. Здесь мне проще, здесь я успокаиваюсь. В виски уже не так давит и, как говорил мне знакомый доктор, мелодия сердца становится приятней. И уж нету удручающего нетерпения, нет удручающей злобы на жизнь, и в такие благие минуты хочется верить в чудотворные силы, хочется верить, что рано или поздно тайны нашего спасения будут нам возвещены.

*Октябрь 1988,
Западный Берлин*



Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ

ГУСАР С ГИТАРОЙ

В моем доме на Выборгской стороне Ленинграда, на этажерке-пагоде, среди книг, почитаемых мамой и хранимых как реликвии, стоял толстенный том Пушкина под редакцией Томашевского, «Война и мир» Толстого, Есенин, «Маугли» Киплинга, «Уленшпигель», «Айвенго», книги покойного профессора химии В.Н. Крестинского, с которым до войны работала мама. И рядом с книгами Крестинского — том совсем иного рода: «Судебный отчет по делу антисоветского правотроцкистского блока». Среди обвиняемых, перечисленных на фронтоне зеленовато-серой картонной обложки, после Бухарина, Рыкова и Ягоды — значилась фамилия Крестинского с инициалами Н.Н. Это был род-

«Гусар с гитарой» — журнальный вариант главы из новой книги «Москва Златоглавая». Так же, как и первая книга этого цикла «Друзья и тени» (издательство «Либерти», 1989 г.), основана на воспоминаниях о реальных событиях, происходивших с известными писателями, артистами, учеными, политическими деятелями.

ной брат маминого профессора. В этом же «отчете» упоминалась фамилия Окуджавы. Родной дядя Булата Окуджавы был загублен сталинскими соколами как «грузинский националист». О дяде я узнал позже от Булата. А из стихов, опубликованных в книге 1988 года — о трагедии его матери и его отца: «Убили моего отца ни за понюшку табака. Всего лишь капелька свинца — зато как рана глубока!», «Ты сидишь на нарах посреди Москвы. Голова кружится от слепой тоски. На окне — намордник, воля — за стеной, ниточка порвалась меж тобой и мной. За железной дверью топчется солдат... Прости его мама: он не виноват...»

Но в 1959 я знал только про грузина Окуджаву, загубленного Сталиным. И узнал про какого-то калужского поэта Булата Окуджаву.

Мы жили поэзией. Ничего мало-мальски интересного из книг или периодики не проходило мимо нашей литературной группы (Авербах, Рейн, Найман, Бобышев, Шраер-Петров), общавшейся очень тесно. Зимой-весной 1959 каждый из нас почувствовал, что расставание неминуемо. Илья Авербах (будущий кинорежиссер) работал врачом на Севере, я в конце лета уходил служить армейским доктором, Толя Найман и Женя Рейн размышляли о курсах сценаристов в Москве. Было то самое состояние тревоги, когда, как в игорном доме, спешишь сделать ставку, чтобы не упустить шанс счастья. Чтобы насладиться выигрышем, когда еще не разошлись игроки, с которыми начинал.

К тому времени в Ленинград «доплыла» тоненькая книжечка стихов Булата Окуджавы «Лирика», изданная в Калуге в 1956. Традиционные книги и предметы моего дома (бюстик Есенина и барельеф Пушкина). Судебный отчет. Ассоциация замкнулась. Не исключено, что однажды мы пролистывали стихи Окуджавы, а кто-то, скажем Рейн, произнес: «Странно. Тот Окуджава (из «Судебного отчета») расстрелян, а этот (поэт) открывает книгу кондовым стихотворением «Ленин». И процитировал: «Все, что создано

нами прекрасного, создано с Лениным, все, что пройдено было великого, пройдено с ним». Милая традиция советской поэзии! Булат Окуджава не был исключением. В том же 1956 Евтушенко писал: «Мы с вами придем к коммунизму, придем! Празднуйте Первое Мая!» Поминали Ленина и другие крепкие поэты: Заболоцкий, Козловский, Коренев, Коржавин. Даже Коржавин и Заболоцкий только что вернувшиеся из лагерей-ссылок, сочиняли такое. Стихи о Ленине, партии, коммунизме были поразительно слабыми, напоминающими мне вирши самодеятельного рабочего поэта, написавшего в 1924: «Ильич, Ильич, зачем тебя разбил паралич!» У Коржавина: «...Да, Ленин в истории Мира живет, не менясь никак. На нем — не сиянье мундира, а будничный скромный пиджак». Прямое заимствование у Луначарского: «Смотри: в тумане маяком стоит там, тверд и неизменен, всегда живой Предсовнарком Путеводитель Мира — Ленин!»

Стихи Окуджавы того времени никак не могли поразить наше модернистское воображение. Разве что по контрасту с томом «Судебного отчета» запомнилась эта редкая фамилия. И все же несколько счастливых строк будили надежду и тревогу, как перебор гитары, как гусарский романс: «Когда исхоженное станет студить последним декабрем, седой архив воспоминаний, не торопясь, переберем. И вспыхнут давние надежды, любви закружится метель. И нам захочется, как прежде, подкарауливать апрель». Я думаю, что из этих строк родилась романсовая лирика Булата Окуджавы.

Была весна 1959 года. Ровно тридцать лет назад. Была весна и бешено хотелось приключений. «Была весна, цвели дрова, и пели ласточки в саду», — утверждала народная песня окраинного Ленинграда. Все было правдой. И про весну. И про ласточек. И про поленицы сырых дров, которые цвели многолетним густозеленым мохом и серебристым лишайником. Поленицы тянулись вдоль серых угрюмых сараев, окружающих наш двор.

Считалось, что я готовлюсь к госэкзамену по акушерству и гинекологии. Я что-то читал с утра. Пока не приезжала Натка-акробатка. Так ее и звали: Натка-акробатка. Она где-то училась. Тогда все где-то учились и в конце концов получали дипломы инженеров, учителей, врачей. Главным же занятием Натки-акробатки были спорт и любовь. Нет. Любовь здесь не подходит. По-русски будет грубо и неточно. Love-making. Она была безумно тягуча и постоянно демонстрировала шпагаты: женский — вытягивала ноги вперед-назад и садилась промежностью на подстилку, или мужской — распахивала ноги в стороны и тоже садилась. Каждый раз было совершенно невероятно, как это Натка ничего не теряет. Кроме того она была любознательна и небрезглива. Например, уговорила парней нашей студенческой группы брать ее на гинекологические операции: аборт, кесарево сечение, перевязку фаллопиевых труб. Даже роды с нами принимала. Так что часов с 10 утра мы с Наткой-акробаткой валялись в зарослях Лесотехнического парка, листали учебник профессора Яковлева с картинками, которые приводили Натку с ее языческим воображением в дикий восторг, курили, пили легкое винцо и доказывали бесконечность человеческих возможностей. Особенно, когда экспериментатору — 23, а подопытной — 20. Все это было с утра и длилось целый день, если не считать дней предшествовавших.

Я вышел из дому часов в девять прозрачного июньского вечера. Предстояла белая ночь. Целое лето белых ночей. А потом — армия и пустота. Был прозрачный яблоневый июньский вечер, открывавший белую ночь, и бешено хотелось приключений. Я прошел мимо наших юпитерианских дубов (античных, но не вылепленных, а природных, выросших для поклонения). Хотелось приключений, любви, поклонения, любви, любви, любви. Поклонения и любви. Скажем, знаменитой актрисе. Все мы с ума сходили в то

время от Изольды Извицкой (фильм «41-й»). Или — чемпионки мира по гимнастике Тамары Маниной. Мой кузен решил на поклонение Тамаре Маниной. Но не выдержал. Иссущающие душу тренировки. Как будто бы встречаешь-провожаешь свою богиню из постели в парилку, из парилки — на аэродром, с аэродрома — в парилку — в постель — на стадион. Мой кузен дал пас. (Дос Пасос был моим любимым чтением. Я открыл в нем корни Хемингуэя.) Или Эдита Пьеха. Красотка-полька. Или Нонна Суханова, у которой «ноги-колонны, Нонна» (Бобышев). Эдита и Нонна обе были достойны поклонения, но... наверно, я не решился, не замкнулось, остановило поклонение толпы, к которому прекрасные объекты поклонения привыкли. Бешено хотелось чего-то необыкновенного, дерзкого, прозрачного и принимающего мое — не толпы, беснующейся в кино-стадионо-концертном зале, а прямо из рук в руки, от меня к ней, поклонение. Пушкин все это разгадал в Татьяне. И если Пушкин персонифицировался в Татьяну, то ее девичье желание любить — исповедь Пушкина о себе, с обратным (по сексу) знаком. Здесь я не принимаю эндокринологический материализм Фрейда и остаюсь с романтическим физиологизмом Пушкина. Бунин открыл это состояние в Мите, доведя романтическую влюбленность — через физиологию — к трагедии.

Я двинулся к стадиону. Клены притрагивались к моим плечам зелеными перчатками, как вечерние девушки Вены. Я шел вдоль узкого канала с вечно ночной водой, текущей к пруду над стадионом. Ласковые голоса лягушек пророчили роковую влюбленность. На баскетбольной площадке тренировались девушки. Я «положил глаз» на одну: хохочущую, длинноногую, в короткой мальчишеской стрижке темнорусых волос, с дерзкой грудью, топырящей майку. Она постоянно забрасывала мячи в баскетку и хотела после каждого очка из-за своей бесшабашной удачливости. Она мне сразу понравилась. Куда там было до этой

баскетболистки Натке-акробатке с ее кукольным, фарфоровым телом и непрерывным желанием валяться. Не хохотать, не побеждать, не поражать воображение, а бесконечно валяться на тахте, на мате, на подстилке в парке и заниматься любовью, как упражнениями.

Тренировка закончилась. Я подошел к баскетболистке и договорился о встрече. Сегодня же. Зачем откладывать, когда белая ночь — до утра. И карнавал прогулочных паровозиков гудит, поет и звенит цветными флажками под каруселью бесконечных ленинградских мостов.

Через час я ждал свою баскетболистку около студенческого общежития напротив парка. Асфальтовая лента Новосельцевской улицы текла, как река среди серебристых берегов белой ночи. Окна, каменные ограды екатерининских особняков, листья дубов и кленов, лица мерцали и фосфоресцировали. Медная ручка двери повернулась, и ко мне вышла девушка. Она спросила: «Вы кого-нибудь ждете?» — «Вас», — ответил я. Мы пошли через парк. Сели на какой-то номер трамвая. Доехали до Литейного моста. Спустились к Неве и сели на речной трамвайчик. Куда он шел? Куда мы плыли? Ничего не помню. «Как вас зовут?» — «Оля. Вы ведь кого-то ждали. А, впрочем, все равно».

У Оли были припухшие, как после слез, губы и огромные, коричневые еврейские глаза, полуприкрытые продолговатыми, как листья магнолий, веками. Светлорусые волосы падали на лоб, и она вскидывала голову, чтобы отбросить их. Это напоминало движения пантеры, когда она отводит ветку с мясистыми тропическими листьями бархатной лапой. Она говорила тихим, окутывавшим меня голосом. Кажется, ничего не умела делать быстро, спешить куда-то, торопиться.

Отец ее погиб. Мать собиралась вернуться в Россию после Магадана. Каторга и потом поселение.

Оля заканчивала Лесотехническую академию. Мы целыми днями бродили по парку и целовались.

Однажды, в самом начале июля, я пришел к ней в общежитие и увидел записку: «Прости, я уезжаю в Грузию. Увидимся через месяц. Оля».

Дома на пагоде-этажерке стояли мамины книги-реликвии: Пушкин, Толстой, Есенин, Крестинский, том «Судебного отчета» с диковинной фамилией Окуджава

На моем письменном столе — тоненькая книжечка поэта из Калуги с диковинной фамилией Окуджава.

Ассоциации. Предначертания.

На кровати в общежитии лежала записка: «Прости, я уезжаю в Грузию... Оля». Я прочитал и не мог уйти. Дверь не запиралась. Ключ не попадал в замок: «Ломать замки ослепшими ключами. И снова приниматься за труды, чтоб девочка с пугливыми плечами шла плача за притихшие пруды».

Я продал душу дьяволу и расписался кровью. За это мне выдали проездной офицерский билет в любой конец страны. Я взял билет до Тбилиси с остановками в Гаграх и Сухуми. В поезде я познакомился с Генрихом (не с Генрихом Сапгиром, а другим, Мошешвили), грузинским евреем, назвавшимся адвокатом. Потом я узнал, что он покупал мебельные гарнитуры в Москве и Ленинграде и перепродавал в Тбилиси. Но тогда — адвокат. Генрих был замечательным компаньоном и тратил сотни за мои рассказы о литературе. Он тоже мечтал, что напишет книгу о бешеном романе со знаменитой актрисой (Аллой Ларионовой) или знаменитой поэтессой (Беллой Ахмадулиной). Все грузины сходили с ума от Аллы Ларионовой и Беллы Ахмадулиной. Он пробовал влюбиться в солистку ансамбля лилипутов, но она была несоразмерна его кавказской страсти. Метр за метром мы обследовали пляжи Гагры, Пицунды, Сухуми, окружающих городков, поселков и селений Колхиды. Странно, что я не встретил Фазиля Искандера. Он, наверно, в это время пировал с Абесаломом Нартовичем и дядей Сандро у родственников в Чигемах.

Олю я не нашел.

В Тбилиси я поселился в гостинице «Интурист» на проспекте Руставели, хотя Генрих настаивал, чтобы я жил в доме его родителей в районе Ваке. Там я погостил немного под конец. Пока я еще жил в гостинице, начал развиваться новый сюжет, связанный с французским профессором Феликсом д'Эреллем, его грузинским коллегой микробиологом Георгием Элиавой и Лаврентием Берией. Д'Эрелль вместе с Элиавой в 1933-35 г.г. основал в Тбилиси первый в мире Институт Бактериофага. Бактериофаги — вирусы бактерий, которые открыл д'Эрелль. Вся современная молекулярная биология покоится на феномене бактериофагии.

Нити сюжета привели меня к нескольким живым свидетелям событий времени, рокового для грузинской интеллигенции. На окраине Тбилиси, в Сабуртало, внутри парка, раскинувшегося над Курой, расположился Институт Бактериофага. Меня мучила разгадка трагедии д'Эрелля и Элиавы. В фильме «Покаяние» состояние тех лет передано с шекспировской способностью шутовского ерничания над гробом. Я увидел странный коттедж, отгороженный от территории Института Бактериофага, как отгораживают секретные объекты. Лаврентий Берия превратил дом д'Эрелля и Элиавы в одну из своих резиденций. Берия уничтожил своего земляка Элиаву. Он приправил политическое убийство расправой над польской актрисой, возлюбленной микробиолога, отказавшейся стать пассией Берии. У меня появилась догадка, что золотоволосая Светка, с которой меня познакомил Генрих, дочь Элиавы и польской актрисы, а не служителя институтского вивария. Зачем я прикоснулся к еще запретной тогда теме?

Ведь я приехал разыскивать Олю.

Вместо одного сюжета — вокруг Окуджавы — появился другой — «Французский коттедж». Но в том-то и дело, что оба они связаны 1937 годом.

Мне мешали. Мне мешали распутывать историю «Французского коттеджа». Люди Берии и в 1959 году занимали резиденцию, вклинившуюся в Институтский парк. Я помню непрерывные телефонные звонки, когда мы сидели со Светкой у меня в номере. Я слышал угрозы, ругательства, проклятия — все то, чего я наслушался от лубянских рыцарей через тридцать лет, в отказе. Я выспрашивал Светку, пытаюсь найти истину. Она кокетничала, не понимая, о чем я говорю, или уводя от опасной темы.

Светка кокетничала не только со мной, но и с Генрихом Мошешвили. Коварный добрый Генрих. Коварная сладкая кавказская дружба на острие кинжала. Чтобы вернуть Светку, Генрих «подставил» мне свою сестру, волоокую Нину (как у Лермонтова, Азамат — Белу). Разумеется, Генрих контролировал ситуацию, чтобы разыграть показательный скандал и выпроводить меня из Тбилиси, вернув себе золотоволосую Светку. Одновременно он избавлял меня от непрерывной опеки «топтунов». Словом, я бежал из Тбилиси. К сюжету «Французский коттедж» я вернулся в 1977 году, узнав о судьбе Феликса д'Эрелля, брошенного бошами в тюрьму в Париже.

На вокзале Генрих шепнул мне адрес полуподпольного пансиона в Лоо, под Сочи. Я согласился на пансион, потому что затосковал по Оле, надеясь продолжить поиски. Пансион содержала старуха, тбилисская армянка. Вообще, здесь отдыхали по преимуществу жители Тбилиси: грузины, армяне, евреи. Они мне говорили, что лечатся от Грузии. Лоо — в РСФСР. Русских в пансионе не помню. Нет, кажется, была еще одна девочка из Москвы. Московская армянка Таня Шахназарова («...умные московские армяне...» Слуцкий). Кормили нас до отвала. Шведский стол. У каждого была своя комната с отдельным входом и рукомошкой.

Я еще поездил в Сочи, Хосту, Лазаревское. Скорее по инерции.

Оли нигде не было.

Тбилисские события и, главным образом, история д'Эрелля-Элиавы-Берии доконали, опустошили, выпотрошили меня. Я должен был прийти в себя. Мы чинно гуляли с Таней Шахназаровой по вечернему пустеющему пляжу (днем я писал и читал) или забирались на зеленые склоны холмов, сбегаящих к морю от снежных гор Кавказа. Однако иммунитет мой был подорван. Я заболел диковинной лихорадкой, что подтверждало теорию Павлова о примате мозга. Или Фрейда о влиянии аногениталиев и тяжелого детства.

Я вернулся в Ленинград. Меня ждала офицерская форма и военные лагеря. Целый август вместе с моими сокурсниками, призванными в доблестные танковые войска, я пробыл на Карельском перешейке. Мы ходили на стрельбища, учились чему-то в медсанбате и коллективно ухаживали за официанткой Валею Жуковой. Она носила голубой ангорский свитер (свитер — у Набокова) под крохотным, как лифчик, передничком. И крахмальную кружевную наголку на рыжих буйных локонах.

Подступала тоска по Оле.

Она вернулась в Ленинград в конце августа и разыскала меня. Олю распределили в подмосковный городок, на мебельную фабрику инженером-технологом, («...подмосковный городок...» Из песни тех лет.) Она была удручена и захотела ехать в мой гарнизон. Меня посылали служить в город Борисов под Минском. Я узнал, что в Борисове есть пианинная фабрика для Оли.

В самом конце августа или первых числах сентября я приехал в Москву. Я нарочно взял билет в Минск через Москву, чтобы побыть с Олей. В бухгалтерии издательства «Правда» я получил громадный по тому времени гонорар за стихи, напечатанные в журнале «Пионер». Вечером мы пошли с Олей в ресторан «Берлин» напротив Детского Мира. Поблизости от площади Дзержинского, Лубянки и дома на улице Серова, где застрелился Маяковский. Все складывалось, как у классиков. Молодой

писатель (журналист) типа Хемингуэя ведет свою подружку в ресторан. А потом отправляется на фронт. В «Берлине» играл оркестр и шумел фонтан. В бассейне под фонтаном плавали карпы. Я показал, каких зажарить. Мы пили шампанское и ели икру ложками из банки. На обратном пути у Оли сломался каблук. Мы взяли такси и поехали ночевать к поэтессе Нине Бялосинской. Она жила на Садовом Кольце в Девятинском переулке, за углом от Американского посольства.

На улице Кирова жил поэт Григорий Михайлович Левин. С женой Инной, сыном Володей и маленькой дочкой. Левин руководил знаменитым литобъединением «Магистраль», из которого вышли в профессионалы многие хорошие поэты и прозаики.

С Левиным я начал знакомство с вечера поэзии в Москве году в 1958. На вечере выступал узбекский поэт Шукрулло, поэт Виктор Боков, Нина Бялосинская и еще кто-то. Мы приехали крепко навеселе. Когда ведущий назвал фамилию Петров, я пошел читать стихи. Одновременно со мной двинулся выступать бородатый старик — политкаторжанин Петров, сидевший при всех режимах — от царя до Сталина.

Так что в 1959 году я чувствовал себя добрым знакомым Левиных.

Помню маленькую комнатку с продавленным диваном, закуток для детской кровати, письменный стол, забитый рукописями друзей и учеников Левина. Рукописи наслаивались одна на другую, как рукописная кладка особого сорта колонн, подпирающих потолок. О своем творчестве Григорий Михайлович почти не заботился, хотя вся Москва повторяла его стихи «Ландыши продают, ландыши продают. Почему не даром дают?...», которые перекликались с анархической миниатюрой Льва Халифа «Плевать на золото!» В комнатке набилось множество народа. Я затащил сюда Олю. Сначала мы пили и закусывали, а потом худощавый грузин лет тридцати пяти с татарским именем

Булат взял гитару и начал петь свои стихи: «Тьмою здесь все занавешено и тишина как на дне... Ваше величество женщина, да неужели — ко мне?», «...И когда под вечер над тобою журавли охрипшие летят, ситцевые женщины толпою сходятся — затмить тебя хотят», «Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс. Он наигрывает вальс — то ласково, то страстно. Что касается меня, то я опять гляжу на вас, а вы смотрите на него, а он глядит в пространство», «Когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, случайный», «Со двора подъезд известный под названием черный ход. В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот», «Вот так уж ведется на нашем веку — на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо».

Гитарист пел задумчивым голосом, слегка акцентируя шипящие звуки и произнося между другими человеческие слова, по которым истосковались люди рабоче-крестьянской империи. Он был лет тридцати пяти, невысок, худощав. На плечах у него накинута пиджачок. Весь облик этого кавказца напоминал не лихача-гуляку, а доброго малого с рабочей окраины, певшего под гитару «Имел бы я золотые горы...» и вдруг понявшего в себе возможность иной просодии. Кожа обтягивала его черепно-лицевые кости, как у Махатмы Ганди — лоб грозился выйти из берегов. Глаза же были глубоко посажены и жили независимо от хозяина, пылая углями тревог и обид. Повадками и обликом он напоминал Ганди (политика) и Антокольского (поэта). Я тогда не ошибся, потому что с годами сходство усиливается.

Денис Давыдов и Александр Вертинский, Аполлон Григорьев и Константин Симонов, Курочкин, Сурков, Агапов, Матусовский, Вера Панина, снова Вертинский, Козин, Утесов, Бернес, Ив Монтан, блатные и дворовые песни — все сошлось в этом пении, в этой поэзии гусарского романса конца пятидесятых. Все сошлось, чтобы появилось неч-

то новое, которое действовало на меня неотразимо, засасывало во что-то родное, сладостно-тоскливое, идущее от сердца к сердцу. Мне показалось, что я слышал эти интонации. У Веры Паниной: «Не уходи, побудь со мною...» А здесь: «Когда исхоженное станет студить последним декабром, седой архив воспоминаний, не торопясь, переберем». Я читал это совсем недавно. У кого-то из молодых... Боже мой, да это же у Булата Окуджавы, в его первой калужской книге стихов: «И вспыхнут давние надежды, любви закружится метель. И нам захочется, как прежде, подкарауливать апрель».

Оля просидела не шелохнувшись весь вечер.

«Гори, гори, моя звезда...»

Я получил несколько писем в армейскую глушь. В одном из них Оля написала, между прочим, что показывала мои стихи Булату Окуджаве, и «...он о них... можно печатать... отделом поэзии...«Литературки»...»

Потом переписка оборвалась. То есть я написал письмо или два. Ответа не было. Армейская жизнь (учения, вождение танков, стрельбы, поездка в Караганду за новобранцами, офицерские пьянки, гарнизонный флирт, роман с Нелли, чуть было не закончившийся трагически) приглушила «боль воспоминаний» (как пел один из учителей Окуджавы Вадим Козин).

Зимой 1960 я получил от Оли тяжелое, длинное письмо. Она была влюблена, обольщена и брошена. У нее никого больше не было, кроме меня. Я просидел двое суток над письмом, позвонив комбату, что болен. Обидчика и соблазнителя ждала месть. Оля я не ответил.

Летом 1960 я поехал в свой первый армейский отпуск. Взял билет в Ленинград через Москву. Нужно было походить по редакциям. Повидать друзей-поэтов. Встретиться с Борисом Абрамовичем Слуцким, который хлопотал о моей досрочной демобилизации. Год службы в армии показал мне, что нужно бежать немедленно, если я хочу оставаться поэтом.

«Куда бежать? Куда ему бежать? Ворота перекрыла ошинеленная рать. В проходах роты мрачные стоят. Куда бежать? Глоток души зажать. И в чреве каменном бежать, бежать, бежать, бежать, бежать...» (Д.Ш-П. 1987).

На Цветном бульваре в комнате отдела поэзии «Литературной газеты» сидел Булат Окуджава. Я показал ему новые стихи, в том числе «Ты помнишь, плясали грузины», которое потом напечатал «День поэзии», и «Не приходи во снах и наяву», вошедшее в антологию русской любовной лирики «Песнь любви». Булат отобрал стихи для «Литературки». Теперь мне кажется, что он был чем-то смущен. Но тогда... Ей, Богу! Я ничего такого не заметил. В комнату зашел высокий красавец с иронической усмешкой. Булат был рад нас познакомить. Это был знаменитый тогда, подававший не меньшие надежды, чем Вознесенский, поэт Лев Халиф. Деньги у меня были. Мы хорошо погуляли слевой по Москве.

Олю я не искал, хотя знал, что она здесь. Желтая кофточка в окне троллейбуса. Медлительный поворот головы. Еврейские коричневые глаза, как листья магнолии.

Год прошел с весны 1959, а как много всего...

Осенью 1961 Евтушенко опубликовал стихотворение «Бабий Яр» в «Литературной газете». Окуджава потерял место редактора по поэзии. Слава его как либерального шансонье соединилась с окраской инакомыслящего, вступавшего за Дудинцева и напечатавшего античерносотенные стихи Евтушенко.

Владимир Одоевский, писавший в прошлом веке живую светскую прозу, заметил: «Знаете ли вы, милостивые государи читатели, что писать книги депо очень трудное? Что из книг труднейшие для сочинителя — романы и повести. Что из романов труднейшие те, которые должно писать на русском языке. Что из романов на русском языке труднейшие те, в которых описываются нравы нынешнего общества».

Окуджава внял советам Одоевского, унаследовав из романов и повестей XIX века стилистику и ритм. Вспомним хотя бы для примера кусочек прозы из «Княжны Мими» «любомудрого» князя-писателя Одоевского, так и не выступившего открыто вместе с декабристами: «Ну уж и вы, граф, туда же! — возразила княгиня. — Нынче все твердят — просвещение, просвещение! — куда ни оглянись, — всюду просвещение... Я сужу по-старинному: говорят — просвещение, а поглядишь — развращение».

Еще через год от Нины Бялосинской я узнал про Олю и Окуджаву. Все началось у Левиных. Продолжилось. Потому что началось еще при мне, когда я в первый раз привел Олю на улицу Кирова. Она стала бывать у Левиных. Одиноко в Москве, и была надежда снова встретить и услышать его. У Окуджавы в маленьком романе «Фотограф Жора» написано: «При чем же я?... Пятнадцать лет разницы? Это ерунда. Сколько угодно тому примеров... Или я был против семьи? Или не я, наконец, вытянул ее, девчонку, из болота, в котором она увязла обеими тонкими своими ножками?... Или не я махнул рукой на прошлое ее родных?... При чем же здесь я? — спросил он у Таниной фотографии. А Таня смотрела на него без улыбки, немного грустно, точно такая, какой он увидел ее впервые. Он хорошо помнил этот странный вечер. Компания молодых, ну совсем молодых. Он так нелепо выглядел там и все боялся сказать что-нибудь не в тон, и потому старался молчать. А они пили чрезмерно много, и его раздражала собственная трезвость, но пить он боялся, чтобы не сказать чего-нибудь смешного. И эта девушка с прекрасными грустными глазами, немного пьяная и не слишком словоохотливая... И какие-то ее обожатели (он успел позабыть их лица)... Они все время старались уединиться с ней, сердились, просили и спорили друг с другом. А она немного лениво, но очень грациозно отмахивалась от них (и это ему запомнилось: ее жест и полные губы, которые чуть шевелились, когда она говорила слова). Может быть, потому, что

он так не походил на остальных, она несколько раз со слабым любопытством взглянула на него. И вдруг он почувствовал, что ему хочется подсесть к ней... После очередного танца она очутилась в этом конце комнаты и уселась рядом с ним. А он набрался смелости, наклонился к ней и сказал, глядя в ее русский затылок: «Мы с вами оба трезвы, и потому нам здесь не место». Она обернулась, молча оглядела его. И все обожатели уставились на нее и ждали, что она скажет. А он понял, что она пьяна, не очень, но все-таки. «А давайте удерем», — сказала она и вызывающе улыбнулась. Он даже не поверил. Но тут же решил: будь, что будет... Они вышли. Он поймал первое попавшееся такси. Сел рядом с ней. Она молчала. «Куда?» — спросил он ее. «Не знаю», — сказала она и закрыла глаза и, вероятно, почувствовав, что он вздрогнул, добавила: «Голова очень кружится...»

В романе «Свидание с Бонапартом» Окуджава косвенно возвращается к тому, кто ждал Олю в армейском гарнизоне, обсуждая возможность счастливого окончания истории: «Ее глаза уставились на меня, как прежде. Мы уселись в кресла друг против друга. — Представьте себе, — сказала она легко, будто мы встречались ежедневно, — моя московская подруга, вы ее не знаете, дождалась человека, которого любила (некий кавалергард, лишившийся тоже ноги, а может быть, руки, неважно...) и обвенчалась с ним. Я присутствовала у них на свадьбе. Было весьма торжественно и сердечно. — Возможно, возможно, — сказал я, упрямо разглядывая свою деревяшку».

Я ведь понятия не имел обо всем этом романе, пока мне не рассказала Нина Бялосинская.

Почему же он сам не открылся?

Булат Окуджава начал давать вечера. Пел под гитару свои стихи. Марлен Хуциев в 1962 снял его выступление в Политехническом музее для фильма «Застава Ильича».

Я не искал встречи с ним. Он сам приехал в мой Ленинград весной 1962. Я разыскал его в номере гостиницы

«Европейская». Он отворил дверь, отпрянув, когда увидел меня. Я шагнул в комнату, пренебрегая его защитно протянутой рукой. Моя правая рука сжимала финский нож. Из окна видна была Театральная площадь в липах. И Пушкин. «Только не при нем», — сказал Булат, ужаснувшись, на что я решился. Я подумал, что он о Пушкине. Но взгляд его показывал в другую сторону. На диване спал мальчик. «Пойдем со мной на мой вечер. И ты все услышишь. Тогда решай сам. Но только не при нем».

Мы пошли с ним в Дом Актера, поблизости от угла Невского и Литейного. Булат пел свои песни и романсы, и среди них несколько — на стихи, посвященные Оле: «Ты мальчик мой, мой белый свет, оруженосец мой примерный. В круговороте дней и лет какие ждут нас перемены? Какие примут нас века? Какие смехом нас проводят? Живем как будто в половодье... Как хочется наверняка!», «Я люблю эту женщину. Очень люблю. Керамический конь увезет нас постранствовать, будет нас на ухабах трясти и подбрасывать... Я в Тарусе ей кружев старинных куплю», «Звезды сыплются в густую траву... Я в деревне Лазаревке живу... вдоль по Лазаревке странствую... Ты пошли мне, Лазаревка, жену, как ты, Лазаревка, ласковую...»

Я не искал встречи с ним. Но такова литературная жизнь, что все мы вертелись на одном пяточке: ЦДЛ, издательства, «Литературка», Дома творчества, ЦДЛ...

Мелькали интервью с Окуджавой: «На войну я пошел добровольцем, после девятого класса, в 1942 году. Пошел не из жадности приключений, а воевать с фашизмом. Был патриотически настроенным мальчиком, но и романтиком тоже, конечно. Романтизм очень скоро, буквально через несколько дней, улетучился: оказалось, война — это тяжелая, кровавая работа. Был ранен, мотался по госпиталям, потом снова передовая, Северо-Кавказский фронт, и я уже не минометчик, а радист тяжелой артиллерии. Остался жив. Рождения 24 года мало кто уцелел». Интер-

вью брала Ира Ришина, у которой я напечатал так много стихотворных переводов в «Литгазете».

Армия. Армейская тема. Девочка с пугливыми плечами — армейский доктор — гусар с гитарой.

Зимой 1968 я получил письмо из Сиверской, что под Ленинградом, от композитора Исаака Шварца, прекрасного музыканта, сочиняющего музыку для кино. В конце письма была приписка: «Смотрели ли вы «Женю, Женечку и Катюшу»? Если нет, то посмотрите — там есть и моя доля. Даже песенку написал на слова Б. Окуджавы. Кстати, мы с ним сильно и крепко в дружбе».

Шварц — полугрузин, как Окуджава. На потолке гостиной в его доме на Сиверской — звезда Давида. Мы хотели со Шварцем сочинить оперу по дневнику Анны Франк. Бродили по аллеям Сиверской и придумывали мизансцены. Шварц приволакивался за моей женой, обращая в шутку двусмысленности, которые тревожили меня. «Какая-то струна во мне оборвалась...» После Оли я стал несправедливо подозрителен и мучил Милу. С богемой не получалось. Однажды в самом разгаре живых картин у композитора Сережи Слонимского я взбеленился и разрушил гармонию дозволенности. Боже мой, почему я так нетерпим, зачем максимальничаю, зная наперед, что Истина сокрыта? Только бы хватило терпения у моих близких. Что бы делал Эдип без дочери?

В середине 70-х другой композитор, Сергей Смирнов, с которым мы написали несколько песен, приехал с конкурса, увенчанный огромной медалью с профилем Булата.

Однажды я позвонил по какому-то театральному или переводческому делу поэту Юрию Ряшенцеву. Ряшенцев был знаменит как мистификатор-переводчик, придумавший несуществовавших в природе поэтов. Кажется, стихи одного из таких «голландских классиков» ему удалось даже

опубликовать. Кроме того (и главным образом) он писал песенки для театра (тексты). Например, к спектаклю «Три мушкетера». Мы переводили грузинских поэтов для тбилисского издательства «Мерани». Я позвонил Ряшенцеву, и медлительный, помнящийся голос ответил мне, что Юра ждет меня. Я приехал с бутылкой вина, как это водится на Руси. Мне открыла Оля. Она стала женой Ряшенцева. Мы долго говорили с ней. Она жаловалась, что несчастна, потому что стареет, жизнь проходит без любви и без детей. Вскоре Ряшенцевы приехали к нам. Мы жили тогда на Речном вокзале. Было шумно, дымно, пьяно и многолюдно, как всегда на именинных сборищах. Кроме Ряшенцева и Оли пришли Женя Рейн с тогдашней женой Наташей, поэт и переводчик с украинского Лева Смирнов с тогдашней женой Ирой, еще-еще кто-то и еще кто-то. С тогдашними мужьями-женами. Мила Шраер-Поляк (моя жена) утверждает, что когда она нечаянно забежала на кухню, Оля сидела у меня на коленях, и мы отчаянно целовались. За нечаянно бьют отчаянно. Но все равно это неправда. Все мы тогда здорово напились, и могло показаться.

Я переводил много югославской поэзии и прозы. Мы встречались с Булатом на приемах в Югославском посольстве на Мосфильмовской улице. Пили «Чинзано», болтали о пустяках. В 1976 году Брежнев ездил к Тито в Белград. После этого 1976 Иностранная Комиссия СП СССР устроила вечер югославской поэзии в Большом зале ЦДЛ. А после вечера — пышный банкет с речами. «Литературная газета» писала: в статье «Праздник братского искусства»: «Советские писатели В. Огнев, Р. Рождественский, С. Куняев, Т. Вирта, Ю. Мориц, М. Ваксмахер, Д. Петров, И. Радволина, Б. Окуджава поделились впечатлениями от встреч с югославскими коллегами, прочитали свои произведения, переводы стихотворений мастеров братской литературы. На русском и языках народов СФРЮ звучало в тот вечер поэтическое искусство Д. Максимович, М. Крлежи, А. Поповского, Я. Менарта, Э. Джерчеку, Б. Конесско-

го, Д. Тадияновича...» Булат прочитал свои переводы и начал петь «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья...» Публика и все мы пели вместе с ним. На банкете председательствовал Николай Федоренко, главный редактор журнала «Иностранная литература», аппаратчик, партократ. До этого я написал в редакцию его журнала резкое письмо, протестующее против «зажима» блистательного македонского поэта Александра Поповского. Поповский развивал традиции Хлебникова в поэзии южных славян. Федоренко предлагал выступить с тостами по очереди, как бы забыв про меня. Мы сидели рядом с Окуджавой. Он громко через бутылки и голоса, сказал Федоренко: «Вы случайно или намеренно не предложили тост Давиду Петрову?» Федоренко молчал. Булат добавил: «Давид настоящий поэт и отличный переводчик. Он переводил Максимович, Поповского, Конесского, Тадияновича и многих других. И как переводил!» Мне пришлось что-то говорить, хотя речи и тосты для меня — нож острый.

Прозорливый Окуджава одним из первых понял, что я задумал эмигрировать. Мы с Милой и Максимом жили в Малеевке. Булат отдыхал там с женой и сыном. Встречали 1979 Новый год. Шла гульба, которой писатели хотели заглушить пальбу, доносившуюся из Афганистана. Окуджава подошел ко мне с шампанским: «Будь здоров, Давид. И не поминай лихом...»

У Пушкина: «Не буду, — отвечал Сильвио, — я доволен: я видел твоё смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести».

У Окуджавы: «Нам преподало провиденье не просто меру поведения, а горестный урок паденья, и за кровавый тот урок кому ты выскажешь упрек — пустых словес нагроможденье?»



Юнна МОРИЦ

МОЛОДАЯ КАРТОШКА

Старуха жила и жила. Вся высохла до последней человеческой звонкости, вся сморщилась до последней серебряной ниточки на плешивой макушке, но в свои восемьдесят шесть лет не отсохла совсем от дерева жизни так, чтоб отлететь на ветру шелушинкой и растопиться в нашей общей природе. Кто-то в раздаточной времени помнил о ней и ежегодно выкраивал ей кусочек старушечьей жизни, совершенно не пригодный для более молодого существа, — разве что для котенка?..

Но старуха благодарила, весело улыбаясь лукавым сморщенным ртом с тремя зубками. И ежегодно второго февраля, в день своего рождения, повязавшись нарядным кашемирным платком, со всех сторон и так и эдак оглядывала свой новый кусочек жизни — на что он годится и как пустить его в дело, чтобы хватило до следующей раздачи.

Втайне старуха была уверена, что там, на раздаче житейного времени, как-никак ценят ее смекалку, ее нежадность

и нетранжирство, ее маленькие уловки на пользу мальчику, через которого и шло к старухе главное — охота жить и хозяйничать жизнью, несмотря на крайнюю старость с ее уродством и немощью.

И на этот раз старуха распорядилась своим кусочком недурственно: в мае она вместе с мальчиком вскопала вдобавок к огороду еще и несколько соток заводского поля, картошку там посадила, чтобы ту картошку и на зиму заставить, и на рынок снести, а мальчика приодеть на вырост для его будущей без нее жизни.

Откуда у такой старухи в сыновьях мальчик двенадцати лет завелся — никто не слыхал, и старуха молчит. Она свое дело знает. Сама живет и мальчику жить дает. Но торопится старуха, торопится — помнит, что кусочки ее жизни вот-вот кончатся, и хватит ей только вздохнуть, моргнуть, да ноги протянуть...

Определила она мальчика позапрошлым летом к подруге в артель коробочки расписывать. И так славно, так ладно у него это расписное дело пошло, что старуха сама собой талант у мальчика пронюхала и не дала в землю зарыть! Куда-то они с подругой грамотной написали, кто-то молодой с бородой приехал, и теперь возьмут мальчика с осени в художественную школу с общежитием. Худой у старухи мальчик, кашлючий, ростом мал, криволап, нос морковкой, глаза бусинками, никакой в общем прелести, но имеется необычайность чувствительная — то ли сиротство, всем за жизнь свою благодарное, то ли впрямь художественный талант, искра божья, да ведь написанное святым духом только святым духом и прочесть можно.

А пока захотелось старухе с мальчиком молодой картошки попробовать. Соседка вчера ездила на заводской участок, ведро накопала, картошка — прелесть!..

Вышла старуха на дорогу, а там знакомый шофер починается, сговорилась она с шофером, и подвез он ее с мальчиком в грузовике. Погода была золотая, солнце лилось, текли ветерочки. Мальчик копал молодую картошку,

а старуха обтирала ее от земли, в два ведра складывала — одно сами съедим, одно всем продадим. Она ничуть не думала о продаже дурно, потому что многое для жизни приходилось ей покупать. И для нее было естественным, чистым делом продать на рынке ведро картошки или корзину лука, чтобы купить постного масла, сахару, мыла, вермишели — да мало ли чего?.. И яблоки она продавала охотно, если родились, и смородину, и крыжовник — стаканчиком.

Однажды какой-то летчик купил у нее землянику и обозвал старуху противным словом таким: «Спекулянтка! Продаешь, чего не сажала!»

Старуха отняла у него газетный кулечек и вернула восемьдесят копеек за стакан земляники, которую нынче утром собирала она в лесу, ползая на карачках в мокрой траве. Она уже встрепенулась было ему объяснить, как поесть землянички бесплатно, да с какой платформы на какой поезд садиться, да сколько ехать до той землянички, а сколько двигаться пешим ходом. И вдруг поглядела в его стальные глазки, надутые неправедным гневом и богопротивной правотой, и расхотелось ей тратить на этого молодого летчика свой кусочек старушечьей жизни.

Сейчас она вспомнила об этом с улыбкой и была довольна, что так по-хозяйски распорядилась тогда своим небесным добром, а также земным. Нечего тратить ей зря последние силы на молодого балбеса, который желает задаром поесть что на земле растет и что старуха ползком собирает. Ей надо тратить только на мальчика, прискорбная сиротская тайна которого ей одной известна и ею же напрочь забыта, поскольку старуха укромно простила кого-то и дозволила кому-то перевалить со своей молодой на ее старушечью шею эту славную, горькую ношу — ничейного мальчика, который сделался главным делом старухиной жизни.

Ах, как чудесно пахнет в ведре на картофельном поле молодая картошка — вы помните? Ну, конечно, еще бы!

Старуха сложила шесть кирпичей, развела огонь и поставила с водой котелок. А в газете у нее лежал настоящий копченый лещ! И думала старуха о том, как ловко она догадалась в тот раз притащить эти шесть кирпичей и спрятать их под ботвой. Хорошие мысли старуха любила, хорошие воспоминания, добрые знаки, веселые мелочи — все, что радует, длит, одаряет нечаянно. Она сидела сейчас на теплой, сухой земле и грелась под боком жизни, бросающей и старухе свои душистые кусочки, и мальчику, и ласточке, и стрекозе, и всякой мелкой букашке. Ее глаза слезились в тепле, и она утирала влагу сухой желтой ладонью и бубнила какую-то песенку, слова которой знала когда-то, еще полвека назад или даже меньше...

Тогда у старухи были свои законные, такие же мальчики, как вот этот, Саня и Сеня их звали, Саня и Сеня... И муж был, Григорий Петрович. На фронте Петрович сошелся с другой и домой не вернулся. Дети выросли, — он написал, — и теперь забот у тебя никаких, живи в свое удовольствие, выходи замуж, старуха! Большой шутник был Петрович, всякую работу любил, петь-плясать, с бабами кувыркаться. И в двадцать лет, и в двадцать пять называл он ее весело: моя старуха! Ведь был он моложе на целых два года, а уж лет пятнадцать, как помер от сердца в больнице. Ох, веселый был человек! Мужик был! — старуха вздохнула с улыбкой, повернутой куда-то в синюю глубь своих маленьких глаз и в еще более синюю глубь своей памяти, где грелась сейчас на солнце ее крохотная душа.

Она ловко слила воду и слегка выпарила картошку, подбрасывая ее в котелке и глубоко вдыхая белое жаркое облако, выпиравшее из посуды. «Щас накормлю молодой картошкой и лещиком, и у меня для него яблоко наливное припрятано, в этом году яблок не жди, недород, шиповника насушу, — бормотала сама с собою старуха, раскладывая копченого леща на газете со всей подобающей для эдакой рыбки почестью. Она полила мальчику на руки из бутылки, он умылся и отер лицо подолом рубахи. «Однако

ж, ты — кра-а-а-сивый мужик!» — сказала старуха протяжно, и мальчик ей улыбнулся грустно и широко своим некрасивым лицом. Он был толстогуб и скуласт, с синими, как у старухи глазами — без никаких ресниц и бровей.

Но если уж вспоминать... а вспоминать старуха — ужас как! — не любила, поскольку в памяти были тоска и боль, которые мешают делать жизненное действие... Так вот, если уж вспоминать, крепко язык прикусив и ни-ни! ни звука, то мальчика этого, десяти месяцев отроду, привез как-то летом сын ее Сеня, врач из Полтавы, и сказал, что оставит до осени. Сене тогда шел пятьдесят третий год, а жене его, Ане, пятьдесят пятый. Старуха спросила: «Анюта знает?» А сын ее несчастный ответил: «Узнает... если жив буду». Но Сеня той осенью умер в своей больнице, разрезанный на операции, а старухе пришло письмо от Карнауховой Светы двадцати трех лет, что мальчик этот — ее, что Сеня жениться на ней не стал, а теперь заберет она мальчика, если выйдет замуж за хорошего человека, согласного на воспитание чужого ребенка.

Старуха ласково ей ответила, чтоб выходила замуж для своего семейного счастья, а за мальчика не беспокоилась, он хорошо очень устроен у богатой старухи. Тут она лизнула конверт по клейкому краешку, залепила его как следует и отослала в ящик, помолясь о том, чтобы гражданка Света Карнаухова подольше не волновалась о мальчике в своей грядущей супружеской жизни.

Все подружки старухины померли, кроме двух, но эти две казались ей вечными, они расписывали в артели коробочки, шкатулки и другую ненаглядную красоту. И старуха искренне полагала, что подружки ее будут живы, пока в артели краски не кончатся, а краски не кончатся никогда, иначе станет намертво производство и все мастерицы разом помрут.

— Ешь, — говорила она мальчику, — глянь, какая рассыпчатая, снегурочка! А лещик-то мировецкий! С моими подружками не пропадешь, завсегда угостят. Ты в случае какой

беды к мастерице Клане приклеивайся, тебе до взрослости уж недолго, лет пять, а Клане семьдесят шесть всего-то, еще молода, поможет! — и старуха сияла при мысли, что так хорошо-распрекрасно она в этой жизни устроилась, выбрав себе таких молодых и надежных подруг.

— Эй, старуха! Привет! Как живешь, старушенция! — с гоготом и улюлюканьем подкатились трое парней, совершенно ей не знакомых. Старшему было на вид лет двадцать, он нагло без спросу запустил руку в котелок с горячей картошкой и стал уплетать, чавкая и чмокая напоказ. Помладше, лет восемнадцати, выдрал у мальчика боковину леща, смазал ею ребенка по лицу и громко, как животное, стал сосать рыбье мясо, словно как если бы оно сделалось сто крат вкуснее — от униженья ближнего. А веселый и злой, лет шестнадцати, помахал перед бабкиным носом физкультурным своим кулаком и рявкнул:

— А ну, гони, бабка, рублики на выпивку — во как в глотке пересохло, харкнуть в рожу твою нечем! И цыц — будто денег нету! Я тебя тут прямо на поле ногой раздавлю, как картошку вареную! И щенка твоего так в рыло хрясну, что станет он удобрением — ха-ха-ха! — и не догонит меня никакая милиция, у меня во-о-т там папашкина машина, а папашка — ба-а-альшой человек!

Старуха глянула вкось во-о-он туда, где он показывал, и увидела красную легковую машину с дверцами нараспашку. А у машины стояли две девицы, одна другой заплетала косу.

— Господи! — подумала старуха. — И сколько же их там помещается? Как тараканы в печке! Господи! И девки с ними, а парни-то пьяные, еще разобьются...

Старший вытащил из кармана складной нож и раскрыл со свистом длинное лезвие, он стал точить его для куража об кирпич, через раз тыча в лицо то мальчику, то старухе.

— Небось, торгуешь своей картошечкой, спекулянтка проклятая! И яблочками торгуешь, и лучком, сволочь! — приговаривал он, свой ножик потачивая с жутким свистом и скрежетом.

— Да какими яблочками? Недород ведь нынче на яблочки, — приговаривала старуха, проклиная себя за то, что денег при ней, кроме копеек, вовсе не было. — Нет у меня денег, нет. Я вот на рынок повезу картошку, вот и будут, вот и будут тогда деньги, тогда все отдам, берите, разве мне жалко, с удовольствием, пожалуйста, мне не жалко, — бормотала она, невпопад улыбаясь. И вдруг побелела старуха, ойкнула и повалилась на землю замертво, с каким-то окончательным стуком.

— Сдохла твоя бабуся, закапывай! От нее воняло козлом! — сплюнув, сказал старший, пнул бабушку ногой в бок и скомандовал:

— Атас! По машинам!

Мальчик упал старухе на грудь, обнял все ее кости и зарыдал, подвывая, со стоном. Он залил слезами старухину кофту и, тупо уставясь на первое ужасное горе своей маленькой жизни, увидел, как жутко высохла старушечья кожа на желтой щеке, Он выл и гладил свою родную старуху, и целовал, и пытался взять ее на руки, чтоб унести с проклятого места. Он услышал рычание мотора, увидел пыльный хвостик за красной машиной и бессильно потряс вослед кулаками:

— Бандиты! Уехали! — всхлипнул он и еще сильнее прижался к своей холодной, деревянной, бездыханной старухе.

И тут старуха заплакала, открыла два синих-пресиних глаза, улыбнулась мальчику криво сквозь слезы и выдохнула:

— Господи! Как хорошо, что уехали! Спасительно, Господи, ты меня надоумил. Умерла — и все тут! С мертвой и взятки гладки! Что им дохлую-то старуху кромсать? Им живой страх нужен, чтоб в руках трепыхался, бился!

Она кряхтя поднялась, отряхнула подол сатиновой черной юбки, прибрала на груди свою кофту, глотнула водички. Восторженно и ликующе, как на воскресшую, глядел на старуху мальчик, он торопился, с жадной дрожью, ей уго-

дить своей быстротой, послушанием души, только что увидевшей чудо.

Они прикрыли шесть кирпичей и две лопаты картофельной ботвой между грядками, подхватили два ведра молодой картошки и подались на край поля, к дороге. Старуха по-девичьи подбирала на ветру свою черную юбку и уже весело хмыкала, перегребая наспех всю эту разбойничью историю, подробно разглядывая все ее жуткости, а также во всех подробностях то, как ловко она обхитрила эту адскую шайку, как мудро с помощью божьей она, старуха, провела за нос этих молокососов, как здорово, что глубокая старость не отшибла у ней разум и что на этот кусочек жизни у нее, такой старой старухи, всего хватило — и ума, и хитрости, и здоровья, словно у молодой.

Минут через сорок она сидела с мальчиком в кузове крытого брезентом грузовика, придерживая два ведра с молодой картошкой. Мальчик плакал, прижавшись к старухе и время от времени глядя ладонью костлявые плечи ее и спину — жива ли?! А старуха дышала теплым закатным ветром, и дышала так глубоко, чтобы мальчик не сомневался: жива старуха, жива, совсем живая!

Уже виднелась развилка, ведущая на Постники, где жили старуха с мальчиком, но шофер грузовика вдруг резко притормозил и какое-то препятствие он объехал, изрядно потрянув своих пассажиров с картошкой.

То, что через мгновение увидели старуха и мальчик, было ужасно. Посредине шоссе лежали в кровавой луже пять человеческих тел, накрытых рогожами, а в метрах пятнадцати на обочине валялась красной лепешкой та самая легковая машина. И водитель цистерны лежал в кабине, откинув мертвое свое тело. Милиция что-то записывала, отмеряя землю гибким железным метром. Санитары курили.

Всю дорогу до Постников старуха и мальчик видели перед собой это красно-кроваво-железное месиво, которое чуть не лишило их жизни, но лишилось жизни само — по

какой-то неведомой воле непостижимых сил, выкраивающих кусочки старушечьей жизни, кусочки, совсем не пригодные для более молодого существа, — разве что для котенка?..

Ночью мальчик вставал смотреть, жива ли его старуха, и наткнулся нечаянно в темноте на ведро с молодой картошкой, которое зазвенело. Старуха на звон этот пробормотала сквозь хрупкий сон:

— Жива я, жива, живая, спи, мальчик, я притворилась...

Александр ЛАЙКО

АНАПСКИЕ СТРОФЫ

Не мед, но пот — и по усам,
дурею от жары, не знаю сам
зачем я, заплутав, сижу здесь дотемна,
смущаю прах ваш, Евдокия Павловна,
зачем речь сбивчивая к вам обращена, —

ряд или бред бессвязных сцен
эпохи социальных перемен,
хмелившей более, чем белое «Міцне»,
и стольких воробьев проведенной на мякине...
Лишь стреляный трезвел. Но дело не в вине.

А впрочем, может быть, и в нем.
Я пил с утра, потом в хинкальной днем,
но рядом — пляж и крик, вот и забрел сюда
маяк, погост, обрыв — сижу, гляжу отсюда
на море, на закат, на дальние суда,

на камень ваш — он у обрыва
отчасти гордо, но и сиротливо
возносится среди оград, крестов болезных,
подкрашенных кой-где стараньями родных,
среди греческих разбитых плит, среди звезд железных.

И алюминиевый цвет
по кладбищу разбрасывает свет
довольно радостный. Фонарь, забор, верста —
все та же краска — памятник или ворота,
скамейка ли, киоск, могильная плита...

Что это? Равенства залог?
Уныние грешно, и, видит Бог,
я, Евдокия Павловна, бегу тоски,
но был мне скормлен этот цвет из детской соски,
и он подкрасил кровь, судьбу, потом виски.

Вам трудно, видимо, понять,
нас разделяют ни «фита», ни «ять»,
ни годы, но... галактики. Жары дурман
сбивает с панталыку, и прочел я — Шумань,
в то время как на вашем камне — Шаумань.

И видится подвижный немчик,
сменивший на сюртук кадетский френчик
и ручкой сделавший родне любвеобильной.
— В Россию? — О, майн гот!

— Лишь с честностью одной?!

— Он движим бедностью... —

И гордостью фамильной!

Оставив Лотхен куковать
и отыскав в Санкт-Петербурге мать
вашу, — аль бабку, что верней, — открыл салон
«Корсаж-плюмаж». Так что за дочь был счастья полон
ваш дед по матушке отец Авессалом.

— Мой милый Августин, мой Августин, — певал он, толику приняв.
Коль дочек, семеро, то что тянуть нуду —
сам и венчал по православному обряду,
призвав чету к любви, терпенью и труду.

Ну что за диво! Братья Гримм!
Ай, сказка, да еще поездка в Рим.
Неужто к россам был вельми свободный въезд?
На современный взгляд — фантастика. И выезд?!
Ваш прах свидетельствует перемену мест.

На камне золотятся строки —
пять-шесть высоки, две глубоки —
из Фофанова, Павловой. Стихи при этом
нам с горечью и грустью говорят о том,
что рано вы ушли, отбив свой срок поэтом.

Сейчас, любительница муз,
анапский поэтический союз
навряд бы отпустил на монолит рубли,
как вас читатели бы в массе ни любили —
певицу строек и берез родной земли.

С рублями, Евдокия, нда...
Я сызмальства без них. И навсегда.
Привык. Но вам-то без привычки — просто швах.
Вот хорошо бы родственник какой во швабах —
глядь вспомнит и пришлет пяток ночных рубах.

Такой пейзаж и антураж.
Рубахи — мелочь. И кидаться в раж —
лишь Господа гневить. Считайте — повезло,
что есть на ЧТО надеть (то есть, в наличие тело),
и можно, сжав персты, перекрестить чело.

Шалееет время. Кроме злобы
еще есть трус и водка. Ей особый
почет — течет, строив строителей державы,

где питье веселием считалось, но, увы,
теперь лишь тризной отдает. И кильки ржавы.

Простите, беспокою вас.
Воображенье, а скорее глаз,
напишет старую Анапу, городок,
который был, конечно же, на новость падок,
а новость — ваш приезд и кашель, и платок.

От Петербурга вдалеке
вы в белом платье, с зонтиком в руке,
предчувствуя тоску, у моря взаперти
кляня болезнь, свалившуюся так некстати,
совсем не думали свою здесь смерть найти.

Наоборот, куда острей
среди греческих фелюг, шаланд, сетей,
хожденья к маяку, прогулок на базар,
где Снайдерс бы поблек, а дыни лили сахар,
почувствовали вы вам свыше данный дар.

Итак, что ране вы писали?
Цитировать стихи возьмусь едва ли,
но, думается, было: «.. не иссякли звуки»
и жертвенность, и «мановение руки»,
кого-то призывающей «идти на муки».

И он пошел. Влюбленный в вас,
в признаниях своих он всякий раз
сбивался с темы, и... «Свобода... Идеал...»,
и сетовал на жизнь, на то, что мало сделал,
и вот пошел в народ. Но тот его не звал.

Был бит зело под Костромой,
и в длинных письмах из тюрьмы домой
описывал свой новый быт и звал к борьбе,
а вам прислал стихи («... строги не будьте к пробе...»),
где ВАМ исправлено на жирное ТЕБЕ.

Той осенью вас представлял
широкой публике один журнал,
до дыр зачитанный им в ссылочной дыре.
Зимой с тоски покончил он с собой на Каре,
и вы, грустя, венчались в том же декабре.

Затем с супругом вы в Париже,
Карлсбад и дале Альпы — санки, лыжи, —
весна в Венеции, и лето в Палестине,
где крест, висевший на гостиничной стене,
вдруг натолкнул на мысль, осмеянную ныне.

Смех, впрочем, начался давно.
В век девятнадцатый так неумно
науке предпочесть миф, обращенный в прах;
в двадцатом веке этот смех притих на нарах,
был «посильнее «Фауста» немотный страх.

На жизнь свой отоварив чек,
скудеет человек в научный век.
И впрямь — чего искать на рубль пятаки,
когда душа легко переместилась в пятки,
и так покойно ей? Да будут сны легки!

Во всех обличьях хороша
загадочная русская душа —
палач или Пугач, лампасы пришлеца...
Где милосердия (да и была ль?) сестрица?
А злобе несть числа, и мести несть конца...

И открываю я напиток,
скорее приготовленный для пыток,
чем для торжественных и прочих возлияний
(глоток — желудок твой завоюет, точно Вий) —
«Кавказ», «Агдам», «Долляр» — какой букет названий!

Курорт. Нет водки. Хлещешь дрянь.
А вы-то что пивали? Финьшампань?
На променаде, в Царском будучи Селе,

обеда, что принимали, в самом деле,
коль возвращались в Петербург навеселе?

Муж, славный малый, интендант,
пил водку, и блистал его талант
вышучивать накал передовых идей,
эмансипированных дам и нервных дядей —
прямых, как трости, новых, так сказать, людей.

Быть может и смешны они,
но вы заметили, что ваши дни
заполнили их злость и жесты, и слова.
Не принимать? Порвать? Но как? Друзья. И снова
за чаепитьями болела голова.

Вы в кресле у окна скучали,
но вас ничуть друзья не замечали,
а разговор случись — сведется все к упрекам,
как школяру-линейкой по рукам,
за равнодушие к общественным порокам.

Летят года. Хандра. К тому ж
при ипподроме покупает муж,
так, в общем, пустячок... Аптеку. Се ля ви.
На это милый тратит уйму сил и крови,
твердя, что лошадь стоит, как и Русь, любви.

Он одержим. Его проект:
им в компаньоны взят один субъект,
который только что покинул Новый Свет.
По типу тамошних — он в тонкостях все знает —
в аптеке ставятся столы а ля фуршет.

— Двойная выгода, ма шер,
пошаливают нервы, например —
в аптеку поспешит педант, — пожалте, бром,
но игроки завзятые стоят на старом —
анисовая, расстегаи, старка, ром.

Муж, отдалившийся делами,
друзья да критика (та, между нами,
уверена: в Руси словесность лечит плетка) —
все это по весне на белизне платка
дало кровавую отметину — чахотка.

К концу идет напиток мой...
Уже смеркается. Пора домой.
Что ж, Евдокия Павловна, пора отсель.
А дом, где жили вы, дом капитанши Стессель,
стоит. Там за трояк снимаю я постель.

Теперь в нем несколько семей.
Хозяйкина племянница, ей-ей,
еще жива, и ей курорт дает навар.
Отнюдь не бедствует, она же мой шеф-повар,
и ставит ввечеру старушка самовар.

Все в детстве остро и пестро.
Ей помнится: колышется перо
на модной шляпе бывшей фрейлины двора;
Киссиди, местный туз, гурман; торговцев свора;
помещик тульский Мнёв и вы, и доктора.

Тянулись дни не без печали,
но вас заметили и привечали.
В дворянском вечер был (афиша и билеты),
и вы прочли без позы и без суеты
свои любимые последние сонеты.

Открыв бювар, глядите вы
в окно, ослепшее от синевы,
где игры Бёклина мрачны, но и легки;
сквозь слезы, то ли утреннего моря блёстки,
перебираете тюремные листки.

— Мой мальчик, бедный мой, прости
стихи мои тех лет и отпусти
грех суетливости произнесенных слов,

овации университетских залов,
тот рыцарский, скликающий на подвиг зов.

Давно и рано ты угас, —
вы говорите с ним, в который раз
ему или себе пытаюсь объяснить, —
что? жизнь? судьбу? Рыдаете, клянетесь помнить,
и мысль теряется, и разговора нить.

— Раз в месяц-два письмо бывает,
наш общий друг меня не забывает:
«...попалась на глаза в журнале ваша пьеса...
Все тот же темный миф, нелепость, чудеса...
В глазах передовых людей, вы — враг прогресса».

Ну что ж, мне не о чем тужить.
Я независимо пыталась жить,
писать, не думая при этом ни о ком,
кто и куда меня зачислит ненароком...
Неужто и твоим я стала бы врагом?

Я фотографию твою
от мужа, словно грешница, таю,
но мною он любим. Господь, его храни.
Тут плакал, как дитя, уткнувшись мне в колени...
Так вот... Я говорю бессвязно, извини.

Горяч наш общий друг весьма,
и злобой веет от его письма;
видна она в его речах, статьях — везде,
но разве ненависть подвигнет нас к свободе?
Свобода ненависти приведет к беде.

Скажи, как это получилось —
все вами отдано уму на милость.
но ум наш так лукав, жесток и хладнокровен.
Мы сердце жертвуем ему, но сердце не овен,
оно лишь ставит человека с Богом вровень.

Мне хуже. Потому боюсь,
 что не успею — вот и тороплюсь
 закончить несколько моих заветных пьес...
 От мужа телеграмма — как он это вынес? —
 аптека лопнула, а компаньон исчез.

О, Комендантский ипподром —
 и шум, и крик, рукоплесканий гром!
 Будь я мужчиной, думаю, наверняка
 и мне б понадобилась, подвернись, аптека,
 соседство праздника, — азарт, игра, бега!

Осталось мне немного дней.
 Не потому ль на жизнь смотрю жадней,
 а жить мне стоит превеликого труда.
 Спасибо Господу, хоть пишется покуда,
 вот только слово — мучает, как никогда.

Что слово? Личный путь к свободе.
 А что до отзвука в народе,
 то, чем он явственней, тем в слове фальши
 больше... «А там уж и все средства хороши
 в стяжании свободы для Руси и дальше».

Бутыль пуста. Еще б глоток!
 Простите, что прервал я монолог,
 продолжив вашу речь в последних двух строках.
 В безвременье всегда приходит мысль о сроках,
 где ты, трубач, с трубою золотой в руках?

Пусть медленно она звучит,
 волчица воет и петух кричит,
 и смертный человек, сей глиняный сосуд,
 глухонемого века молчаливый рекрут,
 услышит звук, прозреет срок, увидит Суд.

Ужель при жизни повезет,
 и я, рожденный в Беломор-каналский год,
 в Отечестве своем и твердь, и честь найду,

и из души все бывшее навек избуду,
 а там и в гроб в раскаянной земле сойду?

Ах, Евдокия, вы поверьте,
 прекрасный год вы выбрали для смерти —
 на рубеже веков, эпох — девятисотый.
 Вы не увидите как двинется Батый —
 двадцатый век. Да с перышком, да косоротый...

Луна взошла. Горит неон.
 Мерцают буквы — Эжени Коттон.
 Из корпуса выходит санаторный люд,
 в мужских объятьях мамы-одиночки тают,
 и дети их под кипарисами снуют.

Прибоя нарастает звук,
 и говор гальки — деревянный стук —
 до дрожи холодит, и тут я нездоров,
 когда летейских слышу музыку оркестров —
 стук бирок на ногах — фанеру номеров.

Что до трубы, то здесь она
 по вечерам отчетливо слышна —
 плывет ее металл и стонет вдалеке,
 клубится пыль на танцплощадке в парке,
 и тяжело мне идти, хотя я налегке.

Гремят в акациях цикады,
 гульба, любовь, вечерние наряды,
 и среди толпы — забвенья, водки ли алкая —
 с народом в ногу, иль почти, шагаю я...
 И море Черное шумит, не умолкая.

Москва, 1981-83 г.г.

Григорий МАРК

ЛИЦО БУДДЫ

НЕВСКАЯ ЭСТАФЕТА

Имперский кентавр на зернистой скале,
Ощерив усы, над Невою летит.
Помет голубиный на медном челе
Стекает, как белые слезы, в гранит.

Указ, эстафету, России судьбу
Кентавр-император зажал в кулаке,
И руку навстречу ему протянул
Плюгавый диктатор на броневике.

МОЕ ГОСУДАРСТВО

На колесах из серого камня
Колосс, громыхая, несется.
С кулаками, приросшими к телу,
В сверкающем облаке пыли.

Сквозь прямоугольные плечи
Растет голова его в небо,
Чернея гигантским нарывом
И солнце собой заслоняя.

Разрез ассирийского ока
Отрезан от мира живущих
Его бородой, как кольчугой
Из туч, симметрично завитых.

Под колесами голые люди.
Но царственный лик недоступен.
В глинобитном лице истукана
Ленивая ярость погони.

Колосс, громыхая, несется
С кулаками, приросшими к телу...

И раздавленные... Сколько раздавленных...

ПОРТРЕТ СТАРИКА В ОКОННОЙ РАМЕ

Антенна, как крест из бриллиантов,
Великой предсмертной наградой
Застыла в квадрате окошка
Над желтым лицом человека
В дешевом двубортном костюме.

В лице шевелятся морщины.
По дугам надбровным, застывшим,
Сползают, как будто в воронку,
Со лба, в переносицу, книзу
Сползают живые морщины
И снова выходят наружу
У крыльев тяжелого носа.

Язык, будто красный обрубок.
Движеньем морщин управляя,
Качается между губами.

Но вдруг возникает свечение
 Из точки, где сходятся брови:
 Набухшая капелька пота
 У самого входа в воронку
 Горит фиолетовым светом.
 И сразу становится видно,
 Как в пухлой бесформенной шее
 Кадык разгоняет морщины,
 Ползущие медленно к горлу.

Стекло постепенно темнеет.
 И в зеркале рамы оконной
 Антенна, как крест из бриллиантов,
 Висит над моей головой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАЗАД

Заснул, весь привычно согнувшись,
 Как будто бегун перед стартом.
 Глаза твои сразу исчезли.
 И вспыхнул в мозгу телевизор:
 В холодном зеленом экране
 Скользят, извиваются цифры,
 Сжимаются в белую точку,
 В экране туннель образуя.

Иду, натываясь на стены.
 Слепые летучие мыши
 Мохнатыми крыльями бьются,
 В моей голове застревают.
 И цепь саблезубых монахов,
 Коммандос, спустившихся с неба,
 Пунктирную осью уходит
 В лицо совершенного Будды.

Все это со мной уже было.
 Огромною каменной глыбой

Лежит на песке лицо Будды.
 Меня кто-то поднял за шею,
 Как пешку вперед пододвинул,
 И я головой прикоснулся
 К губам его полураскрытым.
 Пытаясь хоть что-то услышать.

Шевелятся мокрые стены.
 И катится пот с меня градом.
 Под речитативы монахов
 Фигуркой из мягкого воска
 Все тело мое оплывает,
 Становится белою точкой,
 Как след в середине экрана.

И гаснет в мозгу телевизор.

В РЕСТОРАНЕ

Огромные теплые бедра,
 Обтянутые чешуею
 Из липкой мерцающей ткани
 Плывут, натываясь на стулья,
 Сквозь синий клубящийся воздух
 Плывут вереницею бедра.
 Слепая ленивая сила
 Самцов поднимает со стульев,
 И воздух становится вязким,
 Наматывается на бедра
 И путается под ногами.
 Вибрируют грани предметов.

Вальяжные сперматозавры
 Сквозь запах еды проплывают
 В грохочущий угол оркестра,
 И волосы тонкой штриховкой
 Чернеют на лысых затылках.

Навстречу плывут вереницей
 Слегка захмелевшие бедра,
 Царапаются чешуею
 О вязкий прокуренный воздух.
 Поскрипывая и качаясь,
 Плывут вереницею бедра.

Плывут говорящие лица.
 Лиловые зубы ликуют
 В ошейниках из ожерелий.
 И твердые вены, взбухая,
 Растут в гофрированных шеях,
 Как синие ветви деревьев.

Ночь. Четвероногие пары
 Плывут, прижимаясь друг к другу,
 И сходятся тени над ними.
 Исчезли все двери, все окна
 Почти на глазах зарастают
 Какой-то болотною тиной.

И дом уже кажется шаром.
 Обернутый мокрой фольгой,
 Он катится к краю Вселенной,
 Все больше сжимаясь в размерах.

Он катится в чистое поле.

Я где-то внутри в этом шаре.
 И дождик за стенкою плачет,
 Как будто меня отпевают.

ГОРОДСКОЕ ЛЕТО

Вниз катится солнце с расплавленной крыши
 На серый асфальт апельсиновым шаром.
 И дворники тихо скребутся, как мыши.
 Осколками солнца скоблят тротуары.

На площади сонной дома замирают,
 Укутавшись в запахи теплого супа.
 Машины, кряхтя, уползают в сараи.
 Седой человек вниз уставился тупо.

Он благословляет машины с балкона,
 Веселый язычник, довольный собою.
 А солнце над ним, словно нимб воспаленный,
 Расплющенный нимб над его головою.



Ирина МУРАВЬЕВА

СЗАДИ — ОБЛОМКИ, СПЕРЕДИ — ГЛЫБЫ...

Я повторяю чью-то жизнь. Она была
Точь-в-точь моя. Возьмем хотя бы детство:
От печки справа — синий лед стекла,
И раннее — лет с девяти — кокетство.

В Москве шел быстрый, розоватый снег,
С реки тянуло свежестью весенней,
И заспанный, небритый человек
Ходил ножи точить по воскресеньям.

В шумящей кровью раковине, где
Все сплетено: созвездья и детали,
Был ливень, ленты, лодка, а в окне
Звенел трамвай и липы отцветали.

Потом скользнула юность. Обожгла
Немыслимой тоской существованья.

Все сбилось в кучу: люди и дела,
И мысли странные, и странные желанья.

А дальше (открываем наугад
Романы, мемуары и новеллы),
Я вышла замуж. В общем, невпопад.
Таким поступкам тоже есть примеры.

Классический рисунок завершен
Любовью к сыну и тяжелым бытом.
Но вдруг еще сюжет. Он воскрешен,
Он из числа давным-давно забытых:

Возможность эмигрировать. Шепнуть
«Простите» зарифмованным березам,
И повторить чужой, знакомый путь,
И, как свои, сглотнуть чужие слезы.

О, как все просто в брэнном мире! Нот
Всего-то семь. Им даже счет не нужен.
Мы думаем: «Пожар!» «Водоворот!»
А на поверку: слякоть, стирка, ужин...

Я проживаю суетные дни.
Усталость на непониманье множу.
Туда шагни или сюда шагни,
Всему свой срок и свой предел положен.

Закинем головы. Слезящаяся твердь
В косматых звездах, выгнутая круто.
Я повторю когда-нибудь и смерть,
Как жизнь все время повторяю чью-то.

* * *

За частоколом лежало поле,
Белела церковь, вода синела,
Гуляли кони на вольной воле,
Где все звенело и все — пело.

А я тихо жила в доме.
Топилась печка, скреблись мыши.
Ночами ветер шуршал в соломе,
Стеклянной шапкой прикрыв крышу.

Мне так хотелось проплыть реку,
В чужом поле сорвать колос,
Сказать «Здравствуй!» тому человеку,
Кто обернется на мой голос.

Ах, дело было в однообразьи,
В дождливом шуме да в частоколе...
«Зачем живем мы? Затем разве,
Чтоб до заката смотреть в поле?»

Я завязала платок туже,
Отполоснула кусок хлеба
Хлопнула дверь, хотя стужа,
Как мешковина, ползла с неба.

Дом с частоколом исчез за спиной.
В речке мутнеют губастые рыбы.
Что-то не то приключилось со мною,
Сзади — обломки, а спереди — глыбы...

МОИМ ДРУЗЬЯМ, ЖИВУЩИМ В РОССИИ

Я в верности вам присягаю,
Я вам объясняюсь в любви,
Живущие с самого края
Холодной зеленой земли.

Не сбудется наша встреча,
И так слишком много чудес!
Напрасно веселые речи
Мне шепчет бостонский лес.

Ах, как меня скрутило
Под небом свободной страны!

Все, что казалось силой,
Стало петлей вины.

Все, что забавой было,
Мокрым песком легло:
Слишком легко забыла,
Слишком мне повезло.

«Прощаться»? «Простить»? «Проститься»?
Какой же глагол беру,
Когда приношу страницу
В пустячную жертву — перу?

Н. Коржавину

В синем небе звезды блещут,
И, судьбу свою кляня,
В чистом поле всадник хлещет
Черногривого коня:

«Ой, ты конь, куда заехал?
Ни избушки, ни леска!
Начинала день потеха,
А закончила тоска!

Начинала день удача,
Косы, запах пирога,
А теперь мы скачем, скачем
Прямо к черту на рога!»

Плачет конь. Глаза — как сливы.
Но не скажет он, увы!
«Что меня винишь ты, милый?
Всадник мой — без головы?»



ПУБЛИЦИСТИКА.
СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ПЕРЕСТРОЙКА В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОГО КОММУНИЗМА

Коммунизм родился в огне Первой мировой войны, братоубийственной и бессмысленной, которая продержала народы Европы четыре года в окопах. Революционное брожение охватило тогда многие страны, но только в одной большой стране — в России — революция победила — сперва Февральская, а потом и Октябрьская. Произошло это, конечно, не потому, что Россия была наиболее созревшей для социализма, а, скорее, наоборот, — потому что она была наиболее отсталой среди великих стран. Социализм обернулся здесь махровым «казарменным коммунизмом», смесью передовых идей Европы с чистой азиатчиной.

Не могу отказать себе в удовольствии процитировать Ю. Мартова, который уже в конце 1917 года писал (в письме к Н. Кристи): «...так как действительность сильнее всякой идеологии (то) потому под покровом «власти пролетариата» на деле тайком распускается самое скверное ме-

щанство со всеми специфически-русскими пороками некультурности, низкопробным карьеризмом, взяточничеством, паразитством, распущенностью, безответственностью и проч. Ужас берет при мысли, как надолго в сознании народа дискредитируется сама идея социализма и подрывается его собственная вера в способность творить своими руками свою историю. Мы идем — через анархию — несомненно к какому-нибудь цезаризму, основанному на потере всем народом веры в способность самоуправляться». Провидческие слова!

В отличие от левых в Европе русский большевизм отличался не только радикализмом, но и большой способностью маневрировать и приспосабливаться к меняющейся обстановке. Ленин был не только великим доктринером, но и великим оппортунистом. Внимание большевизма к крестьянству сближало его с народничеством, свидетельствовало об его укорененности в русской почве. Оппортунизм большевизма проходит красной нитью через историю русской революции, не раз спасал ее от верной гибели (Брест-Литовск, нэп). Естественно, что возникает вопрос, не является ли теперешняя реформа Горбачева очередным маневром советского коммунизма?

1

Сталин был одновременно и антипод Ленина и его преемник. Именно Сталину принадлежит сомнительная честь стать первопроходцем казарменного коммунизма. Правда, ему предшествовал Нечаев, который первым в русской истории выдвинул идею, что всякое средство оправдано великой целью. Ложь, провокация, предательство, убийства, иезутизм, поставленные на службу революции, освящены ее светом. Верховенский в «Бесах» Достоевского, прототип Нечаева, исповедует одну веру: без «деспотизма еще не было ни свободы, ни равенства». Вероятно, и Сталин считал, что его деспотизм прокладывает путь к свободе. Он

подменил понятие социализма понятием этатизма, всеобщего огосударствления, построения всеобщей казармы на службе государства. Он форсировал индустриализацию, загнал крестьян в колхозы и провозгласил социализм осуществленным.

Конечно, это был только суррогат социализма, и нельзя отрицать того факта, что Сталин войдет в историю как пророк суррогатного социализма. Это то, что создало ему громкое имя и в самой России и на Западе. Ведь не так легко отличить настоящее золото от фальшивого. Сталин довел казарменный коммунизм до его крайнего предела, более того — до абсурда, насадив в колоссальном государстве тоталитарную монолитность и беспрекословный культ «мудрого вождя». В этом смысле он был антиподом Ленина. Надо полагать, что Ленин никогда бы не дошел до подмены «красного террора» террором против своей же партии, однако принцип революционной целесообразности связывал обоих — и Ленина и Сталина, демократия ставилась в ничто, но Ленин был европейцем, а Сталин — азиатом. Ленин не отменил бы нэп и не пошел бы на разрыв с крестьянством, он признавал насилие, но знал и его пределы.

Сталин был преемником Ленина не только по отношению к доктрине диктатуры пролетариата, но что еще более важно — в оценке перспектив революции. Когда Ленин убедился в том, что его надежды на мировую революцию не оправдались, он сделал крутой поворот. В последних своих статьях он заявил, что «мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм».

В чем же выражалась эта перемена?

Через кооперацию — к социализму, провозгласил Ленин. Вместо ставки на революцию в странах Запада — ставка на внутренние силы России. В этом заключался поворот. Ленин представлял себе его как медленный культуртрегерский процесс втягивания крестьянства в социализм

через всеобщее кооперирование. При этом Ленин не освободился окончательно от своих иллюзий: в тех же статьях он намечал «восточный маршрут» революции, «исход борьбы, — писал он, — зависит, в конечном счете, от того, что Россия, Индия, Китай и т.п. составляют гигантское большинство населения... в этом смысле окончательная победа социализма вполне и безусловно обеспечена». Но может ли отсталый Восток проложить путь к социализму, созрел ли он для социализма — этого вопроса марксист Ленин не ставил себе, и таким образом марксизм был подменен волюнтаризмом. Что Ленин находился в плену волюнтаризма, видно также из того, что он рассчитывал пройти эпоху кооперирования в какие-нибудь 10-20 лет. Как всегда у Ленина реализму сопутствовал идеализм. Ленин был гениальный тактик, но не стратег, он блестяще маневрировал и думал, что «маневрами» можно вовлечь Россию в социализм. Однако реалист Ленин знал, что Россия пребывает в «полуазиатской бескультурности, из которой, — как писал он, — мы не выбрались до сих пор».

2

Сталин отбросил все ленинские колебания и твердо совершил поворот от мировой революции к «социализму в одной стране» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ленин изображал свой план кооперации, как протекающий якобы на основе нэпа, как почти идиллию, но план был не больше, чем иллюзия, возрожденная народническая иллюзия.

Мы не можем гадать насчет того, что бы сделал Ленин, если бы столкнулся, как Сталин, с фактом «хлебной забастовки» в середине 20-х годов, нарушил бы он нэп, или углубил его. Но следует отметить, что и Сталин вначале шел вместе с Бухариным, пытаясь продолжить нэп и сохранить союз с крестьянством. Только впоследствии, ближе к концу 20-х годов, он круто повернул руль, разуверившись,

по-видимому, в теории мирного вращающегося крестьянства в социализм. Можно сколько угодно сочувствовать Бухарину, стремившемуся избежать новой гражданской войны в стране (как это теперь делают Горбачев и его соратники), но нельзя отрицать, что мирное вращающееся крестьянство в социализм было иллюзией и прежде всего иллюзией Ленина, которую он перенял у народников.

Часто спрашивают, почему Сталин победил, вверг в прах всех своих противников, превосходивших его в интеллектуальном отношении? Конечно, аппарат, а потом и террор сыграли здесь большую роль. Но разве только это? Глубинная причина победы Сталина заключается в том, что его путь новой гражданской войны оказался единственной альтернативой сохранения так называемой диктатуры пролетариата и социализма. Троцкий был, конечно, прав, когда обвинял сталинский социализм в одной стране в национальной ограниченности, прав был теоретически, когда сохранял курс на мировую революцию, но действительность была против него. Время пролетарской революции в большевистском смысле на Западе прошло безвозвратно, и борьба Троцкого была борьбой, заранее обреченной.

Но и курс Ленина на мирное вращающееся крестьянство в социализм, как альтернатива Троцкому, оказался призрачным. Тогда оставалось только одно — проскочить через горящий лес. На это и пошел Сталин. Отсюда, конечно, не следует, что этот путь был единственный и что сталинизм был неизбежен. Была еще демократическая альтернатива: углубление и расширение нэпа и возвращение политических свобод стране. Могла быть создана передовая демократия, основанная на союзе рабочих и крестьян, к которому была бы допущена и новая буржуазия, но помещичье-капиталистической реакции уже не было бы, революция свое дело сделала.

Однако эта альтернатива выходила за рамки большевистской доктрины, и потому была невозможна. Удержива-

ние пролетарской диктатуры было, согласно этой доктрине, главным. Большевики не подумали о возможных метаморфозах этой диктатуры. Сова Минервы летает в сумерках: только потом выяснилось, во что вылилась диктатура пролетариата. Она превратилась в единоличную тоталитарную диктатуру. Вся страна стала страной начальников, господ и рабов, но с одним существенным отличием: помещики и капиталисты были уничтожены и изгнаны, а новый правящий класс правил от имени революции.

Слово «революция» зачаровывало, но это было не только слово. Переход революции на национальные рельсы изменил в корне всю иерархию ценностей. Родина заняла место мировой революции, пышным цветом расцвел советский патриотизм, поднявший молодое поколение на стройки. Была ликвидирована безграмотность, ворота образования были открыты для молодого поколения. Страна попала в жесткие клещи форсированной индустриализации. В деревне велась гражданская война в самом точном смысле этого слова против «кулаков» и «подкулачников». Повсюду царил психоз шпиономании и вредительства. Диктатура пролетариата выродилась в уродливейшие формы «культ личности» и византийского славословия, но по своему историческому смыслу эта метаморфоза оказалась орудием национальной перестройки страны и ее модернизации. В свое время Маркс писал о Петре Великом, что он варварством вышибал варварство, то же можно сказать о Сталине: варварскими методами он изгонял варварство из быта России.

Историческая отсталость России и ее неготовность для социализма, утопичность диктатуры пролетариата в крестьянской стране — все это обусловило сталинскую главу в ее истории. Обусловило как бы вдвойне — русская полуазиатчина породила «культ личности» Сталина, и, во-вторых, вызвала необходимость варварством изгонять варварство. Сталин одел узду на Россию, впряг ее в теле-

гу тоталитарной монолитности, больно стегал по «толстозадой» России, но пересев на национально-го, русского коня, пустил глубокие корни в российской действительности. Этим и объясняется трудность искоренения сталинизма теперь. Как заявил один советский писатель: «Сталин сидит глубоко в каждом из нас».

3

Уже Хрущев сделал первые шаги по раскрепощению России и освобождению ее от «культы личности»: реабилитация жертв сталинизма, попытка децентрализации управления, освобождение колхозов от диктатуры тракторных станций. Но сталинизм в целом как политическая система и строй жизни не был поколеблен. Общество было тоталитарно-монолитным, и конфронтация с Западом — «догнать и перегнать» — оставалась краеугольным камнем веры в будущее. Для радикальных изменений время еще не пришло. Но романтический период сталинизма закончился. Война тоже была уже позади. Будни сталинизма, это гниение на корню, этот застой начал угрожать положению Советского Союза как мировой державы. Вот тогда и назрел момент для радикальных перемен. Если бы не было Горбачева, пришел бы другой лидер: история всегда находит нужных ей людей.

Гниющий труп сталинизма стал препятствием на пути дальнейшего развития России. Историческая необходимость диктовала его устранение. Этим объясняется революционное брожение в среде советской интеллигенции, но не только этим измеряется глубина перемен. Происходит всеобщая переоценка ценностей и, надо сказать, далеко идущая переоценка. Правда, не затрагивается основной постулат советской идеологии — государственная система продолжает базироваться на принципе одной правящей партии, и это заранее ограничивает и политическую свободу и освобождение от административ-

но-командных методов правления. Но и в пределах тоталитарной системы возможно расширение личных свобод и известный плюрализм мнений. Вопрос в том, как пойдет дальнейшее развитие?

Гласность Горбачева размывает сталинизм изнутри. Она приоткрывает закрытые до сих пор рты, учит свободе мнений, прилагает путь свободе, но ограниченность гласности очевидна, ведь это свобода, дарованная сверху, это управляемая свобода. Ее так же легко отнять, как и дать.

Медленно, медленно Россия освобождается от сталинского наваждения, по капле выдавливая из себя рабство. При всех оговорках это надо уметь оценить. Семьдесят лет, начиная от Ленина и Сталина и кончая Брежневым и прочими, страна лежала на одном боку. Ее мысль протекала в одном и только одном русле — советский коммунизм, противопоставленный всему миру.

Первую брешь в этой глухой стене, как это ни парадоксально, пробила Вторая мировая война. Она, правда, закончилась великой победой России, но она также и подточила один из краеугольных камней советского коммунизма — противостояние Советов и капитализма. Безграничное шельмование буржуазной демократии дало осечку: именно она, буржуазная демократия, оказалась союзником в судьбоносной войне Советской России за свое существование.

К сожалению, война не принесла ожидаемой свободы, но подспудно социальные процессы делали под земной короной свое дело, и к концу 70-летия оказалось, что король-то гол. Крот истории роет хорошо. Для политической системы нет ничего опаснее, чем одряхление. Мир беспрерывно меняется, и как бы нехстати обнаружилось, что ленинизм устарел. Правда, советский коммунизм продолжает и теперь, при Горбачеве, молиться на Ленина, как на икону, но именно как на икону: все основные положения и послышки Ленина подвергаются пересмотру, и прежде

всего, вопреки Ленину, утверждается принцип единства мира, а не его раскола на два лагеря. Это значит, что факел мировой революции потух, но не только это, еще и так называемая ленинская доктрина «сосуществования» также приказала долго жить. Ее место занимает стремление не только к сотрудничеству, но и к взаимопониманию в рамках единого мира.

В конце концов Советы поняли, что невозможно и стремиться к мирному сосуществованию, и проповедовать тезис «об углубляющемся кризисе капитализма». Ведь если капитализм все больше разлагается и фашизируется, то с кем же тогда «мирно сосуществовать»?

В этой связи стоит отметить статью, появившуюся в «Коммунисте» в сентябре 1987 г. «Капитализм во взаимосвязанном мире», принадлежащую перу академика Е. Примакова. Само название статьи «взаимосвязанный мир» говорит за себя. В нем отстаивается мысль об односторонности тезиса о расколе мира на социалистический и капиталистический лагеря. В действительности существует «диалектическая совместимость раскола мира на две противоположные общественно-политические системы с сохранением его единства». «Честь мундира» в статье еще сохраняется: де и раскол мира, и его единство, но тут же отмечается, что это «ложный вывод, будто социализм оказывал, оказывает и будет оказывать влияние на современный мир лишь через противоборство с капитализмом». Если присоединить к этому еще ряд «низких истин», высказываемых в этой статье (как то, что в капиталистическом мире «возрастают» силы, «выступающие за общественный прогресс», что происходит «сужение силовой политики» империалистических держав, что есть две стороны монополии, одна — тормозящая, а другая — форсирующая прогресс, и что, вопреки ленинскому тезису о «загнивающем капитализме», «рост монополизации не свертывает развитие производительных сил, а в ряде случаев даже

ускоряет его»), то станет ясна тенденция отказаться от ложных тезисов ленинизма и увидеть мир таким, как он есть.

Перестройка — это не тактический маневр, чтобы обмануть общественное мнение Запада. Следует отметить, что предлагаемые реформы — это неотложная, жгучая потребность самой системы, зашедшей в тупик. На исходе 70 лет революция исчерпала себя, подошла к рубежу, за которым следует либо радикальная реформа системы, либо гниение на корню, а может быть, и взрыв изнутри.

4

Теперь, заявляет Горбачев в своей книге «Перестройка и новое мышление», задача сводится к тому, чтобы соединить социализм и демократию, но ведь это значит при- -ать, что до сих пор имел место разрыв между социализмом и демократией, и не только со времен Сталина. Спору нет, Сталин разделался с демократией целиком, оставив лишь потемкинскую деревню всеобщих выборов. Но ведь и Октябрьская революция Ленина произошла под знаком разрыва между социализмом и демократией. Учредительное собрание было разогнано, политические партии запрещены, свобода печати отменена, главный огонь велся по буржуазной демократии и социал-демократии. Внутри партии был провозглашен хваленый принцип демократического централизма, по поводу которого Рязанов на XI съезде партии сказал: «...Говорят, что английский парламент все может, он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее: он уже не одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается».

Демократический централизм — это сапоги всмятку. Конечно, каждая демократическая система имеет известную долю централизма (если не говорить об анархизме), но демократический централизм — это нечто другое, это д е

мократия, управляемая из центра, которая положила начало монолитности партии. Сталин довел ее до абсурда. Во имя этой самой монолитности он пресекал всякие «уклоны», реальные, а более вымышленные. Во имя ее он рубил головы, превратив страну в одну колоссальную мясорубку.

Если руководство Горбачева хочет реальной демократизации — оно должно в первую очередь отменить принцип монолитности партии.

Не следует постулировать акутное* противоречие между однопартийной системой и демократией, хотя тут существует, конечно, принципиальное противоречие. Следует рассматривать отмену однопартийной системы как процесс, а не одновременный акт. Россия знала в течение сотен лет только неволю, она должна созреть для демократии, она прошла школу бунтов и гражданской войны, но не школу свободного волеизъявления и самоуправления. Но что должно быть отменено сразу, это принцип демократического централизма. Об этом, в частности, напоминает пример Ельцина, который был устранен со своих постов в партии чисто административным путем и вопреки принципу свободы мнений. Следует помнить, что бюрократизм растет из двух источников: из культурной отсталости и из демократического централизма, осуществляемого командно-управленческим аппаратом из центра.

Есть и еще одно необходимое условие демократизации страны — должна быть упразднена тайная полиция.

Страна вздохнет свободно только тогда, когда с ее груди будет снят пресс «невидимого ока». Советский Союз достаточно силен, чтобы ограничиться обыкновенным полицейским надзором, практикуемым в свободных странах мира.

Ленин, как известно, потратил немало усилий и даже жара сердца, чтобы повергнуть в прах формальную демократию. В письме к Мясникову он писал: «...свобода печати во всем мире, где есть капиталисты, есть свобо-

*Если не опечатка, тогда это - *острый* (лат.), термин, иногда употребляемый и в медицине, например, *пульпит акута* - *острый пульпит*. Это вписывается в контекст. (Д.Т.)

да покупать газеты, покупать писателей, подкупать и покупать и фабриковать общественное мнение в пользу буржуазии. Это факт. Никто никогда не сможет его опровергнуть». Так ли это? Демократические свободы на Западе завоевывались в течение поколений, и несмотря на ограниченность буржуазной демократии, они подняли достоинство человека на невероятную высоту. Если в Советском Союзе хотят преуспеть в теперешних демократических реформах, то первым делом надо положить предел пренебрежению к западной демократии.

Посмотрим, чем была заменена формальная демократия во времена Ленина и Сталина? Она была заменена принципом революционной целесообразности — успех революции высший закон. Отбросив формальную демократию, можно было оправдать всякие действия «в интересах революции». Так поступали и Ленин, и Сталин, открыв широко ворота произволу. Справедливости ради надо, однако, отметить, что Ленин никогда не создавал мифической опасности контрреволюции, а Сталин уже после того, как контрреволюция была разбита, поднял на щит «революционную бдительность» и обрушился против мифических контрреволюционеров.

5

В связи с этим мы вплотную подходим к вопросу о морали в политике. Издавна известно (по крайней мере, со времен Макиавелли), что политика и мораль несовместимы. Это и так и не так. В политике мало считаются с критериями морали, но в конечном счете всегда оказывается, что политика стоит перед судом морали.

В русской революции мораль парадоксальным образом обернулась аморальностью. Нет сомнения, что русская революция родилась не только из разрухи, отсталости и анархии. Она была также овеяна моральным пафосом социальной справедливости и интернационального братства.

М. Вишняк (один из лидеров эсеровской партии) рассказывает в своих воспоминаниях, что на одном из митингов перед Октябрьской революцией один солдат ему сказал: «Ты Ленина не трожь, он святой!» Но принцип революционной целесообразности извратил моральный лик революции. Никто другой как Ленин заявил на съезде Комсомола в 1920 году: «Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата». Этим самым Ленин выхолостил нравственность из общечеловеческих ценностей, превратил мораль в относительное, релятивистское понятие. Неправильно понятый им тезис Маркса о всеобщности классовой борьбы продиктовал Ленину ложный постулат относительности морали. Сталин превратил этот постулат в апофеоз аморальности, в дьявольскую бесчеловечность.

Теперь в своей книге, Горбачев жалуется на падение нравственности в народе, на «упадок общественной нравственности», на «бездуховность и скептицизм, особенно у молодежи, ослабление уважения к труду, стремление к наживе любыми способами». Между тем, это все «плоды просвещения» эпохи «культы личности». Говоря, например, об индустриализации, нельзя забывать и такое ее «достижение», как «падение общественной нравственности». Только тогда получится более сбалансированный счет достижений и провалов. Если социализм остается идеалом человечества, то следует помнить — в этом важнейший урок русской революции, — что только сочетание революционного преобразования мира и революционного преобразования человека может дать желаемый эффект.

«Жить не по лжи» — этот лозунг Солженицына подхвачен теперь Горбачевым. Но для этого требуется целый переворот в шкале ценностей советского человека. Насильственное «осчастливливание» народа должно уступить место личной ответственности, основанной на личном достоинстве человека.

Некоторое время тому назад в журнале «Коммунист» (№ 1, 1989) была опубликована статья советской актрисы О. Остроумовой под заглавием «Очарование иллюзией». Одно название чего стоит! В этой статье она пишет: «Наши игры в престиж, особенно сильно распространившиеся в период застоя, относились не только к сфере нравственности. Ведь нравственность не сама по себе формируется. Правда? Все в жизни переплетено и перепутано. По-моему, многое в экономике и в социальных вопросах было у нас в недавнем прошлом безнравственно».

Как видите, актриса преподает урок марксизма — безнравственность в экономике и в социальной сфере распространяется на все области жизни, а не только на духовную. Моральный пафос революции потонул в моральном релятивизме, перешедшем в аморальность. Теперь надо собирать зерна морали из-под обвала безнравственности. Но для этого требуется революция в самой революции.

После 70-ти лет революции народ пробуждается, и что же он видит? Он видит, что это было «очарование иллюзией», по удачному выражению О. Остроумовой. Этим я не хочу сказать, что вся революция была только иллюзией, нет, революция перепахала всю страну, но жертвы, принесенные на алтарь построения «социализма в одной стране», были данью иллюзии. Гуманистический социализм (а только такой социализм заслуживает своего высокого назначения), не мог развиваться в условиях полуварварской России, утонувшей в море насилия. Диктатура пролетариата по Ленину не была такой бессмысленно-жесточкой, как сталинская, но и она от гуманизма была далека, как небо от земли. Полуазиатская Россия не могла породить другого социализма, чем она породила.

Ленин был прав, когда в своих предсмертных статьях писал, что в России создались особые условия, позволившие революционной партии захватить власть при поддержке рабочих и крестьян. Нет, это не было путчем, это была настоящая революция, помноженная на русский бунт, а еще

Пушкин писал: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный...» Ленинская революция, исповедовавшая веру в пролетарскую диктатуру, сумела зажать этот бунт в железные тиски. Насилие стало отправным пунктом власти. В этом разливе насилия погибли и не могли не погибнуть какие бы ни было ростки социализма. Роковая ошибка Ленина была в том, что по окончании гражданской войны, в которой победила плебейская революция против помещиков и капиталистов, он не восстановил гражданские и политические свободы и этим увековечил старое русское государственное рабство — страну господ, страну рабов...

Русский бунт, подавленный железной рукой, обернулся русской покорностью. Сталин месил русский народ, как тесто, запугивая его вредителями, притаившимися за каждым углом, и очаровывая его иллюзией всеобщего счастья. Месил Сталин это тесто, обильно поливая его кровью. Любит, любит кровушку Русская земля!

На совесть России давит тяжелый камень. Ведь весь народ соучаствовал в оргиях расправы над «вредителями, шпионами и диверсантами». На бесчисленных собраниях предприятий, учреждений, институтов единогласно выносились резолюции, требовавшие смерти для «бешеных собак». Эта коллективная вина может быть искуплена только искренним раскаянием. Наступил ли час раскаяния? Наступил ли час очищения души от скверны, проникшей в нее и прилипшей к ней? Это и есть та революция в революции, о которой говорилось выше, эта та моральная революция, которая единственно может служить предпосылкой честной демократизации и нравственного оздоровления общества.

6

Положение, которое создалось в Советском Союзе, Горбачев называет «предкризисным». Таким оно остается,

как известно, до сих пор. Наиболее жгучим является вопрос о нехватке продовольственных продуктов и других товаров, очереди, ставящие граждан в унижительное положение. Правда, широко начала практиковаться арендная система, создаются кооперативы, поощряется в ограниченных размерах личная инициатива, но плодов что-то не видно, механизм хозяйствования не вышел из застоя. И это, конечно, угрожает всему ходу перестройки, будущее покрыто туманом. Новый нэп, по-видимому, не вытанцовывается.

Некоторые причины создавшейся ситуации видны с первого взгляда. Бюрократия держит мертвой хваткой весь аппарат производства. Всеобщее огосударствление, авторитарно-командные методы управления, планирование сверху настолько въелись в хозяйственный организм, что с трудом поддаются искоренению. Но главная причина, по-видимому, в другом — она кроется в человеке. Сталинщина и последовавшие за этим годы застоя деморализовали советского человека. Советские власти и советские люди друг друга обманывают: первые делают вид, что платят за работу, а вторые делают вид, что работают. Производительность труда остается низкой, «национальный пирог» оказывается недостаточным, не говоря уже о том, что социальное расслоение разделило общество на правящих и управляемых, и класс правящих пользуется великими привилегиями.

Вообще, впечатление такое: брожение свободы охватило интеллигенцию, нельзя отрицать, что свободное выражение мнений расширилось, но народ безмолвствует. Он ждет реальных успехов перестройки и до сих пор их не видит. Горбачев пишет в своей книге: для того, чтобы что-то сделать лучше, надо лучше работать. Это, конечно, святая истина, но как этого добиться? Ведь создался порочный круг, из которого трудно найти выход. Для того, чтобы лучше работали, нужно лучше платить, а для того, чтобы лучше платить, нужна более высокая производительность труда.

Все достижения до сих пор были преимущественно количественными, а прогрессивное производство измеряется качеством. В уже цитированной статье «Капитализм во взаимосвязанном мире» указывается на это больное место советской экономики. «Можно ли считать успехом, — говорится в статье, — достигнутое нами превосходство по выплавке стали, если магистральное направление в развитых капиталистических странах — это снижение металлоемкости продукции, разработка более дешевых качественных заменителей металлов?» Или другой пример: «Превзойдя любое другое государство в мире по добыче нефти, мы отстали в энергосберегающих технологиях, снижении энергоемкости национального дохода».

Горбачев в своей книге пишет: «Мы должны взглянуть на себя и с точки зрения того, по совести ли живем и действуем... Научимся работать лучше, честнее жить, порядочнее вести себя...». К сожалению морализаторские проповеди всегда и повсюду мало действуют. А Васька слушает да ест... Этому должен был научить Горбачева марксизм.

Ахиллесовой пятой советского хозяйства была и остается коллективизация, и вот теперь и перестройка не знает, что с ней делать. Как уже говорилось, коллективизация была тем прыжком через горящий лес, который Сталин сделал, чтобы покончить одним махом с мелко-буржуазной, собственнической стихией крестьянства. Не будем говорить о жертвах, которые понесли крестьяне, — всей стране был нанесен непоправимый удар: кормилица России была смертельно ранена. С тех пор и по сей день Россия вынуждена закупать зерно за границей.

А вот Горбачев в своей книге расхваливает коллективизацию: оказывается, «коллективизация была величайшим историческим деянием, крупнейшим после 1917 года социальным поворотом». Советский руководитель, как видно, не отдает себе отчета в том, что тем самым возносит инициатора этого поворота на пьедестал величай-

шего исторического деятеля. Горбачев, превознося коллективизацию, подрубает своими руками перестройку.

Теперь совершенно ясно, что колхозная система, насильственно насажденная, не оправдала себя, можно сказать — банкротировала. «Комсомольская правда» недавно писала: «Что такое голод? Это генетически неотъемлемая часть колхозной и совхозной системы». Это заостренное определение сущности и функции колхозов. Никакая перестройка не удастся, если не будет разрешена проблема крестьянства. Основой экономического прогресса России является возрождение здорового, а значит, свободного крестьянства.

7

Можно ли согласиться и с другим утверждением Горбачева, когда он пишет, что все «разглагольствования о «доктрине» Ленина насчет насаждения коммунизма во всем мире и планов покорения Европы ложны, никакой такой «доктрины» не было ни у Маркса, ни у Ленина, ни у кого-то из советских руководителей»? Неужели все это — «плод грубой фальсификации»? Разве не писал Ленин в статье «О лозунге Соединенных Штатов Европы», что пролетариат, завоевавший власть в одной стране, «встал бы против и в остального капиталистического мира, присоединяя к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств»? Разве Ленин уже после революции не повторял снова и снова о неизбежности столкновения между советской республикой и капиталистическим миром? Разве в войне с Польшей (1920) Ленин не пытался «прощупать штыком Европу»?

Приготовить яичницу, не разбив яиц, дело невозможное. Этого, по-видимому, до конца не понимает Горбачев. Нельзя выкорчевать сталинизм, оправдывая его «гене-

ральную линию» — коллективизацию и форсированную индустриализацию. Нельзя этого сделать, не сказав всей правды о Советской империи.

СССР одержал победу над гитлеровской Германией благодаря героическому напряжению советского народа, но сыграла свою большую роль и продовольственная поддержка союзников. В конце войны Сталин на штыках Советской армии осуществил серию насильственных переворотов в восточной и центральной Европе и тем самым создал Советскую империю. Он пытался также присоединить персидский Азербайджан и некоторые города Турции, но это ему не удалось. Теперь неизбежно ставится вопрос о будущем Советской империи.

Уже после Сталина были подавлены восстания в Венгрии и восточном Берлине, подавлена «Пражская весна». Что, обо всем этом нечего сказать Горбачеву? В его книге нет и помину об этом. Царская Россия создавала и расширяла свою империю путем завоеваний. Оправдывает ли Россия Горбачева эти завоевания? Готов ли Горбачев обеспечить свободное самоопределение наций, свободный выход из Советского Союза не на словах, а на деле? Раньше или позже советский руководитель будет поставлен перед выбором, и если он предпочтет сохранение империи, то он должен будет пожертвовать провозглашенными им же самим общечеловеческими ценностями.

8

Разоблачение культа Сталина льется теперь в Советском Союзе, как вода из открытого крана. И все же главный вопрос обходится: как стало возможным, что условия Советской революции взрастили Сталина?

Сколько бы не старались советские публицисты доказать, что «культ личности» — это чуждое социализму явление, в действительности оно явление вполне закономерное, плоть от плоти восточного социализма. Сталин

создал стену монолитности, которую трудно прошибить. Теперь единственный выход — это очеловечение советского социализма. Опрокинуть сталинизм можно революцией сверху — перестройкой, но чтобы очеловечить социализм, необходим долгий процесс, нужна революция снизу. Сможет ли революция сверху горбачевского типа разбудить революцию снизу? В этом весь вопрос.

Три революции произошли в России после Октябрьской революции: первая при Ленине — нэп, вторая при Сталине — коллективизация, третья — теперь при Горбачеве — перестройка. Каждая из них делалась в тупиковой ситуации, когда не оставалось никакого другого выхода. Почему назревают эти тупиковые ситуации? Они назревают потому, что в самой Октябрьской революции заложено противоречие: социалистическая революция в стране, не созревшей для социализма. Нельзя отрицать великого дела революции — она перепахала Россию, но ее первородный грех был в ее забегании вперед. Теперь народу приходится расплачиваться за этот грех. Русскую революцию можно разделить на три периода, оставляя в стороне ее 10-месячный демократический период. Октябрь зажег пламя революции — это был ее первый период. Кульминация падает на эпоху Сталина с ее индустриализацией, коллективизацией и показательными процессами. Третий период, настоящий, подходит к завершению революции. Каково же это завершение? К социализму страна не пришла, а пришла, скорее, к государственному рабству. Чтобы завершить революцию демократическим путем, есть только одна возможность — дать стране экономическую, политическую и национальную свободу. Есть, конечно, другой путь — националистический, когда верх одержит великодержавная Россия. Весьма возможно, что борьбой этих двух тенденций — демократической и националистической будет заполнена завершающая глава российской революции.



Петр БОЛДЫРЕВ

РАСКРЕПОЩЕННАЯ УТОПИЯ

1

Хорошо известен ставший уже классическим анализ марксизма немецким социологом Максом Вебером. На Западе его иногда называют анти-Марксом. Вебер был одним из первых, кто понял, что марксизм — не наука, тем более, не социально-историческая наука, а его создатель отнюдь не ученый в аутентичном смысле слова а псевдо-ученый-утопист.

Маркс, однако, не был утопистом типа его предшественников-социалистов Сен-Симона, Оуэна или Фурье. В отличие от них, он тщательно избегал позитивных описаний будущего идеального общественного устройства. Негативный утопизм Маркса заключался в его историческом детерминизме, в его вере в существование непреложных социально-экономических законов, определяющих курс истории. Даже революции рассматривались Марксом сквозь призму социально-экономической необходимости,

как «локомотивы истории», объективно predeterminedенные диалектические скачки.

2

Из детерминизма следовало все остальное в марксизме. Ради его утверждения Маркс и начал войну против традиционных экономических категорий — товарно-рыночных отношений, движения денег, банковского процента, международного торгового баланса и т.д., заявив, что они выражают якобы лишь поверхностные, отчужденные отношения «между вещами», но не существенные отношения «между людьми».

Эти последние, обозначенные Марксом как производственные отношения, он поставил в зависимость от еще более существенной, фундаментальной структуры, названной им производительными силами. В итоге получилась умозрительная конструкция, которая должна была в лучшем случае остаться лишь так называемым «идеальным типом», но превратилась у Маркса в фантастический «реальный тип». Разница между ними в том, что первый, по Веберу, не претендует на реальное существование, но служит лишь вспомогательной моделью для целей исследования. «Идеальный» тип не описывает социальную реальность, но предлагает для ее описания специальный «язык». Марксистский «реальный тип», напротив, претендует на объяснение реальности, но не предоставляет для этого ни «грамматики», ни «словаря».

3

Как практический политик Маркс был в основном полемист-бретер, «партиец» с явными тоталитарными замашками. Это заметил еще современник Маркса Михаил Бакунин, знаменитый в то время русский анархист. «Лучший, талантливейший поэт советской эпохи» (Вл. Маяковский) наверняка попал бы в точку, если б в одном из своих словословий большевистской революции не себя, а Маркса окрестил ее подлинным «глашатаем, горланом, главарем».

Прав также современный американский исследователь Томас Соуэлл, когда пишет, что хотя во времена Маркса уже было достаточно различных социалистических и коммунистических идей, концепций, тенденций, групп и организаций, создатель теории «научного» социализма в своих текстах их как бы и не замечал. А если замечал, то заранее ставил целью не анализ, а лишь опровержение оппозиционных мнений, при этом сплошь и рядом трактовал теоретического оппонента как чуть ли не классового врага.

4

От детерминизма Маркса идет и его исторический материализм. Он рождается в борьбе не на жизнь, а на смерть с крайне опасным для утописта Маркса «идеалистом» Гегелем. У последнего «человек разумный» представляет в своей сущности саморазвивающееся понятие. И как таковой остается свободным, диктует законы разума социально-экономической действительности. Этапы ее развития являют лишь этапы становления человеческого духа.

Маркс спешит изъять эти претензии разума на приоритет и свободу. Спешит поставить Гегеля «с головы на ноги». В марксизме историческая действительность диктует свои непреложные законы поработанному человеческому «логосу». Состояния последнего полностью детерминированы саморазвивающейся материей в виде социально-экономических категорий, сформулированных Марксом. Последние из научного инструментария превращаются не просто в революционное «руководство к действию», но в некое материальное подобие все той же гегелевской абсолютной идеи. И этот двухголовый тоталитарный Франкенштейн подминает под себя все индивидуальные проявления истории — будь то политические, социальные и экономические институты, события, наука, искусство, даже повседневный быт.

Примерно к такому выводу сводится анализ марксизма у одного из виднейших представителей знаменитой Австрийской экономической школы Людвиг фон Мизеса. Мизес опровергает целесообразность самой постановки вопроса о научности марксизма. Но ставит вместо этого другой вопрос. Марксовы построения — это традиционная философствующая метафизика по образцу, например, Спинозовской? Или это нечто в принципе иррациональное, некий псевдорелигиозный эсхатологический миф? Этот анализ фон Мизеса заостряет крупнейший английский философ Карл Поппер. Да, фон Мизес прав, марксистские утверждения метафизичны, но и такие утверждения могут иметь при определенных условиях научную значимость. Для этого научная теория, во-первых, должна представлять собой логически связную систему, а во-вторых, должна быть открыта для проверки на опровергаемость. Теории, которые такой проверке не поддаются, теряют свой научный статус, превращаются в догму. Их научная значимость равна нулю.

Так вот, по выводам Поппера, марксизм не выдерживает проверки на эмпирическую опровергаемость. Например, по марксистской логике неизбежен крах капитализма в индустриально развитых странах. Должна произойти деградация промышленного пролетариата, падение производительности труда и, соответственно, прибылей капиталистических корпораций. Исторический опыт посмеялся над марксизмом. В наше время об этих предсказаниях просто несерьезно говорить.

Но правоверные марксисты, начиная с Ленина и Троцкого, не отказались от эмпирически оконфузившейся теории. Они произвольно и с нарушением внутренней марксистской логики модифицировали ее. Такова, например, известная идея Троцкого о «перманентной революции» или ленинская идея социалистической революции и последующей диктатуры пролетариата в поголовно крестьянской стране.

5

Уже говорилось, что к выводу о теоретической несостоятельности марксизма приходит и фон Мизес. Маркс, как известно, утверждал, что неизбежное при капитализме стремительное развитие производства обязательно приведет к замене капиталистических производственных отношений социалистическими, поскольку лишь последние будут соответствовать новому уровню производительных сил. Другими словами, по Марксу, социализм как общественно-экономическая формация неизмеримо более эффективен, чем капитализм.

Фон Мизес показывает внутреннюю противоречивость этого марксова утверждения. При социалистических производственных отношениях все без исключения принадлежит государству. Поэтому главная сакральная цель и средство социализма — централизованное планирование. Но именно оно неизбежно ведет к экономическому хаосу, и это не удивительно, ибо любые межчеловеческие отношения по самой своей природе менее всего поддаются калькуляции. А без калькуляции немислимо не только сложнейшее дело экономического планирования, но и любая мало-мальски рациональная экономическая деятельность.

Маркс же именно «человеческие» отношения в экономической сфере выдвинул на первый план. А «вещные» отношения (денежные, рыночные, банковские и т.п.), только и поддающиеся калькулированию, он задвинул в угол. Такова причина, по которой марксизм не прошел и этот эмпирический тест.

6

Еще одной краеугольной марксистской категорией является так называемая трудовая теория стоимости, заимствованная Марксом у основателя политической экономии 19 века, английского экономиста Давида Рикардо.

Марксистская версия трудовой теории стоимости, по мнению Фридриха Хайека, крупнейшего экономиста и политического философа нашего времени, также неспособна выдержать тест на опытную опровергаемость. Потому что истинная стоимость продукта определяется в конечном итоге не количеством «социально необходимого труда», вложенного в его производство, как настаивал Маркс. Дело в том, что само по себе это количество неуловимо, неопределимо. И требуется рынок и рыночная стоимость товара, чтобы его установить. Рыночная стоимость информирует производителя о количестве и качестве труда, которые имеет смысл вложить в производство данного продукта, дабы удовлетворить рыночный спрос.

Соответственно не работает и марксистский вывод из ТТС об оправданности «экспроприации экспроприаторов» (капиталистов) на том основании, что они не вкладывают труд в общественное производство. На деле же оказывается, что именно жестко втянутый в рыночную конкуренцию капиталист (частный собственник) для общественного производства крайне необходим. Ибо никто другой, кроме него, не способен рационально вложить как раз те средства, которые обеспечат не мистическое «общественное», а рациональное необходимое количество и качество труда.

Не государство же, в самом деле, должно этим заниматься! Государство стоит вне и над рыночными отношениями. Его вмешательство в экономическую жизнь, как правило, чрезвычайно разрушительно. Оно происходит не в соответствии с рациональной калькуляцией, а на основе в принципе некалькулируемого планирования, подчиненного к тому же сплошь и рядом политическим расчетам.

Правота Хайека и ошибочность Маркса в этих вопросах становится сейчас уже прописной истиной для всех в мире. Прежде всего в свете печального опыта социалистических государств 20 века. Это ясно всем, кроме, кажется, тех, кто, как говорится, «своими руками» доказал эту право-

ту. А именно, самих марксистов-социалистов, которые в СССР до сих пор ходят в самых крупных, «перестроечных» теоретиках. Таких как, скажем, председатель Советской социологической ассоциации, академик Т. Заславская; или ближайшие экономические советники Горбачева, академики Абалкин и Аганбегян. Для них и, к сожалению, для самого Горбачева, трудовая теория стоимости — что-то напоминающее «Отче наш».

7

Теория Маркса не выдерживает критики и по первому необходимому критерию научной теории — логической когерентности (связности). Это показал другой, наравне с Поппером, крупный исследователь марксизма в русле британской либеральной школы Джон Пламенатц.

Основной критический вывод Пламенатца сводится к тому, что центральные марксистские категории производительных сил и производственных отношений тавтологичны, определяются фактически через самих себя, т.е. вообще не определяются. Сказуемое в таких тавтологиях лишь повторяет другими словами то, о чем говорит подлежащее. Получается ситуация двух пассажиров, смотрящих друг на друга из окон движущихся параллельно в одном и том же направлении и с одинаковой скоростью поездов. Они не в состоянии определить свое движение, ибо их положение относительно друг друга не меняется. В подобной ситуации мы находим марксистские категории производительных сил и производственных отношений.

Обратимся к одному из широко употребляемых примеров из Маркса, например с ткацким станком. Или, шире, возьмем любое средство производства (второй, наравне с рабочей силой, элемент производительных сил). По Марксу, станок есть станок и превращается в капитал лишь в определенных производственных отношениях. Но ведь с экономической точки зрения не станок как таковой инте-

ресует нас с самого начала, а лишь станок как производительная сила, создающая определенную продукцию. Но производящее продукцию оборудование и есть капитал, определенное производственное отношение, т.е. производительные силы и производственные отношения оказываются тем же самым.

Равно тавтологичен Маркс, когда оперирует и более широким понятием базиса как структурного взаимодействия производительных сил и производственных отношений. Этот материальный базис, по Марксу, определяет интеллектуальную надстройку — политические, юридические и идеологические общественные отношения. Пламенатц спрашивает, как возможно, чтобы нечто, само оставшееся без определения, определяло что-либо еще?

И наконец, не вдаваясь за неимением места в подробности, напомним еще об одной «большой лжи» марксизма — о противоречии между 1 и 3 томами «Капитала» в вопросе о стоимости товара, что блестяще показал австрийский экономист Е. Бем-Баверк. В 1 томе утверждается, что стоимость эта определяется и варьируется в зависимости от рабочего времени, «социально необходимого» для производства данного товара. Однако в последнем томе Маркс вынужден признать, что поскольку, под влиянием рыночного спроса, капитал мигрирует из менее в более прибыльные отрасли, то цена товара не зависит в конечном итоге от вложенного в его производство труда. Так Маркс опровергает Маркса, т.е. собственную трудовую теорию стоимости.

8

Логическая неосостоятельность марксизма не объясняется, конечно, слабой школьной логической подготовкой его автора. Наверняка, если бы Маркс считал, что он занимается чисто мыслительными операциями, он был бы безукоризненно логичен. Но ведь он был уверен, что от-

крывает законы самой исторической действительности. Через его учение, как через вещания дельфийского оракула, историческое и социально-экономическое бытие являло миру свои таинственные письма. А бытие это, согласно перевернутому Марксом Гегелю, диалектично, скачкообразно. И определяет человеческое сознание. Происходит материализация диалектического сознания, что равносильно отнятию у человека разума. Ибо диалектика — отнюдь не свойство вещного мира. И не свойство объективной идеи. Она, по своей природе, лишь свойство нашего интеллекта. Остается открытым вопрос о ее причастности к вещному миру. Говорят, если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. В этом смысле Маркс с его материалистической диалектикой — это явно наказанный человек.

9

Комбинация детерминистской веры и логической бесвязности в теории Маркса дает весьма взрывоопасную политическую смесь. Что и показала история марксистских режимов. Сплошь и рядом в этой сумрачной истории получалось так, что какое-нибудь очередное политическое мероприятие, не прошедшее (если вернуться к языку Поппера) теста на эмпирическую опровергаемость по одной марксистской категории, проходило его по другой категории, логически не связанной или даже противостоящей первой.

Так, например, кровавая сталинская коллективизация явно прошла тест по марксистскому догмату о приоритете производительных сил над производственными отношениями, классически сформулированному Марксом во вступлении к работе «К критике политической экономии». Он и оказался реализованным по сути, хотя, так сказать, и с обратным знаком. С обратным знаком в том смысле, что с развалом капиталистических производительных сил (ги-

бель скота, поджоги, вытаптывание земли) в результате сталинской коллективизации производственные отношения в советском сельском хозяйстве пошли не вперед, а назад, установились не на посткапиталистическом, а на докапиталистическом уровне. В реальности советская колхозная система дала стране не ожидаемые прогрессивные социалистические производственные отношения, но оказалась лишь изуродованным двойником докапиталистических, феодально-крепостных отношений.

Но та же коллективизация провалила другой марксистский тест. По догмату о другом соотношении производительных сил и производственных отношений, о чем писал Маркс в одной из глав 1 тома «Капитала» под названием «Результаты немедленного процесса производства» (мой перевод заглавия на английский — П.Б.)

В этой главе, вопреки собственному тезису о примате производительных сил над производственными отношениями, Маркс допускает обратный приоритет. И вот по этому «новому приоритету» сталинская коллективизация тест как раз и не прошла. Из-за того не прошла, что ломка капиталистических производственных отношений в советской деревне и замена их так называемыми социалистическими привела в конечном счете не к бурному расцвету производительных сил, но к их полной деградации и разорению.

И все же именно в этом последнем пункте Сталин проявил себя в наивысшей степени как подлинный марксист. Выразивший дух марксизма даже до того, как прояснилась его буква. Упомянутая глава из 1 тома «Капитала», как известно, впервые была опубликована лишь в 1933 г. А Сталин начал действовать в соответствии с ее выкладками на 5 лет раньше. Отсутствие руководящего текста не остановило Сталина от соответствующих духу марксизма политических «мероприятий» — духу, который он, по-видимому, носил в своей душе, как носят вирус в крови. Так что зря современные марксисты, включая советских, при-

лагают титанические усилия, чтобы реабилитировать марксизм путем спасения коммунизма от сталинизма. Тем самым они лишь отлучают коммунизм от марксизма. И от такого «спасения», наверное, сам Маркс, их общая повивальная бабка, переворачивается от негодования в гробу.

10

Истина состоит в том, что Сталин, как никто другой, умел «пресекать» в социально-экономической действительности то, что опровергало марксистскую доктрину. Например, как в случае коллективизации, наличие в стране «отсталых» производственных отношений (в виде миллионов деревенских частных хозяйств) через 10 лет после победоносной социалистической революции. А обнаружив такую улику, он, естественно, сделал все, чтобы ее устранить. И впоследствии даже теоретически обосновал эту акцию в известном поучении тов. Ярошенко в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР».

По-марксистски пронизательно отмечает Сталин в этой выдающейся работе, что недостаточно нам лишь экономической политики, лишь «рациональной организации производительных сил». В этом случае «производительные силы нашего сельского хозяйства прозябали бы также, как они прозябают теперь в капиталистических странах». Нет, говорит тов. Сталин, нам необходима была тогда, необходима и сейчас, и всегда политическая экономия социализма. То есть использование всей силы советского государства, которое только и способно сфабриковать коллективизацию, индустриализацию, стройки коммунизма, перестройку социализма, ускорение и т.д. А без его руководящей роли марксистский социализм априори обречен. Без него неизбежно восторжествует все то, что опровергает программу построения социализма.

Отсюда ясно также, что имел в виду Сталин под исторической необходимостью в ответе на возмущенный во-

прос леди Астор: «Когда вы прекратите убивать людей?» «Осознанная» необходимость эта отпадет тогда, слегка снисходительно ответил Сталин, когда произойдет «скачок» из царства необходимости в царство свободы. Когда будут уничтожены все улики, изобличающие несостоятельность марксизма. В таком грандиозном мероприятии развал сельского хозяйства и экстерминация миллионов не преступление, а железная поступь теории, вроде шагов донжуановского Командора, как любил подчеркивать Сталин, — чаще всего, как говорят, за ужином или куря трубку перед сном.

Сталин как бы вдохновляется перевернутой ленинской формулой «теория марксизма верна, потому что она все-сильна». А если не все-сильна, то и неверна. Из такой формулировки логически может следовать лишь однозначное отношение к действительности, — ломать последнюю, если она не соответствует теории.

Возникает довольно любопытный вопрос. Так кто же все-таки наиболее правоверный эпигон Маркса в русской революции? Ленин, не считавшийся с логикой марксизма и перекраивавший теорию, дабы спасти марксизм от его практической несостоятельности? Или Сталин, не считавшийся с детерминистской верой основоположника и перекраивавший действительность, чтобы спасти доктрину от ее теоретической несостоятельности? Или, может быть, Плеханов, считавший, что вообще надо поменьше вмешиваться как в теорию, так и в практику? Поскольку, согласно марксизму, воплотившему в себе законы истории, концы с концами должны когда-нибудь и как-нибудь сойтись сами собой.

11

И все же стоит, наверное, вернуться к дезавуированному Сталиным тов. Ярошенко и спросить, что же незадачливый оппонент вождя имеет в виду под термином

«экономическая политика» или, как он еще выражается, «рациональная организация производства»? Не является ли это понятие лишь неосознанным эвфемизмом того утопического элемента марксизма, который и противопоставлен в нем сознательному, идеологическому элементу? И который так удачно назван у Безансона «отсроченным либерализмом»? Под либерализмом здесь Безансон, конечно, подразумевает принцип невмешательства государства в социально-экономическую жизнь, ее спонтанное течение, *laissez-faire*. Его он называет далее, еще более для нашей темы удачно, «реалистической» иллюзией ленинизма.

Но что такое *laissez-faire* как не знаменитая «невидимая рука» Адама Смита? Эта метафора обозначает свободно-рыночную экономику, где благосостояние общества незапрограммированно складывается из благосостояния всех его членов. Складывается не из стремления каждого к абстрактному общественному благу, а из естественного желания человека удовлетворить собственный частный интерес. Естественной границей тут является лишь частный интерес другого человека. Взаимодействие таких вот «частных» интересов и ведет к установлению свободного рыночного обмена, который наилучшим образом способствует достижению максимального общественного блага. Эту действующую как бы независимо от воли людей систему Смит и назвал «невидимой рукой».

И именно эту отвергнутую «призрачную руку» включил Маркс бессознательно в свою доктрину в качестве перенесенной в будущее негативной утопии социализма. Из-за бессознательного характера этой утопии он ее и не определил.

И тем менее оказались способными к ее определению и воплощению последующие марксистские апологеты. Можно только посочувствовать этим неудачникам 20 века, взявшимся осуществлять то, что даже теоретически невозможно определить. Поистине, как в русской сказке:

«Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что...» Разница же в том, что сказочный сюжет не требовал особых жертв; социалистический молох пожрал миллионы...

К счастью, в наше время настолько все прояснилось относительно социализма, что уже не требуется ходить, как в сказке, за тридевять земель. Можно прямо на месте попытаться как-то избавиться от этого «девятогоглавого змея». Сделать так, чтобы бессознательный элемент социалистической утопии (ее как бы «сон золотой») — видение свободного спонтанного рынка под видом социализма — стал «руководством к действию», как любил говаривать Ленин. А то, что было ее сознательным элементом, — заранее обреченная марксистско-ленинская программа построения социализма — должна уйти в небытие, стать как бы сном. Кошмарным сном, конечно, но все-таки не явью.

Задача затем будет состоять в том, как изжить кошмар, а бывшую сказку сделать былью.

12

На навык здесь, конечно, рассчитывать не приходится. Сны, как известно, навыков не дают. Сон — это тотальное неучастие. Для приобретения навыка требуется хотя бы частичное участие. А его-то, касательно свободно-рыночной деятельности (за исключением нелегального «черного рынка»), у неудачливых строителей социализма нет.

Загвоздка в том, что социализм, к несчастью, имеет тенденцию препятствовать людям в приобретении полезных навыков. А врожденные способности, кроме способности к разрушению, он предпочитает подавлять. За исключением одной, без которой обойтись не может. А именно, способности к имитации.

О материалистическом социализме можно сказать примерно то же, что говорил вообще о материализме еще в прошлом веке русский славянофил Юрий Самарин. А именно, что материализм, будучи в сущности отпрыском философского идеализма, «заклевал затем своего родителя

и, оставшись без роду и племени, присоединился почти насильственно к естественным наукам».

Так и Марксов «научный» социализм. Родившись из предшествовавшего ему утопического социализма, он его успешно заклевал и присоединился насильственно к... капитализму. В том смысле, что пустота и ирреальность социалистической программы вынуждает социалистов имитировать капитализм как единственную реальную модель. Социалисты любят использовать капитализм в качестве одежды, чтобы прикрыть собственную наготу. Но социалистический король остается голым в силу того простого факта, что заимствованные (или украденные) одежды не на что одевать.

К тому же капитализм, согласно собственным социалистическим установкам, отнюдь не является достойным подражания образцом. Напротив, он подлежит решительной экспроприации. И если его приходится имитировать, то такая имитация не может быть искренней. Не может не сопровождаться злобой, завистью, презрением, стремлением быть похожим на образец, но и быть его противоположностью. Одним словом, как резюмирует Безансон, социализм, «имитируя Запад в отчаянной попытке воплотить утопию, доводит свое отвращение к образцу до такой степени, что его уже нельзя узнать».

Это и есть то, что тот же Безансон называет символической имитацией. Призванной не поставить копию на уровень модели, а доказать любыми путями, что подделка превосходит образец. Иными словами, целью такой имитации не может быть реальная экономическая модернизация, (что было целью, скажем, Петра Первого в 18 веке или Японии в эпоху после Мейдзи). Нет, целью социалистической имитации является не тождество, но превосходство, которое демонстрируется с помощью символов. Таким символами может стать все, что угодно, — от фиктивных плановых показателей и статистических отчетов до разорительных гигантских проектов, абсолют-

но иррациональных, но обслуживающих ту же символическую цель.

13

Такая насильственная имитация убивает способность к естественной имитации. Точнее, до неузнаваемости искажает ее. Воспитывает, как только что говорилось, негативное отношение к объекту имитации. К любой реально существующей модели. В силу самого факта ее существования. Ибо для социализма все, существующее помимо него, незаконно. Социализм, как советует нам помнить Жан-Франсуа Ревель, вскормлен на сознании собственной необратимости. Подобно необратимости времен года: зима (капитализм) сменяется весной (социализмом), а не осенью; а юность — зрелостью, а не детством. Де-юре социализма вытекает из его де-факто, а не наоборот, — добавляет Безансон. «Я пришел, и от этого факта отмахнуться невозможно», — как шутил незабвенный Остап Бендер еще на заре социализма.

Социалистическое сознание, лишенное объекта имитации, остается наедине с собой. Что же находит оно в своих бессознательных глубинах? Мы уже говорили об этом: находит видение «отсроченной либерализации», утопию *laissez-faire*. Она и становится сегодня реальным объектом имитации для социалистического сознания, его единственным содержанием.

Но в этой имитации социалистическое сознание становится на ноги, возвращается на землю. Раскрепощается то, что было похоронено в нем под именем высмеянной еще тов. Сталиным «экономической политики», «рациональной организации производительных сил» (вспомним Ярошенко). Эта фиктивная при социализме «организация» превращается при пост-социализме в реальную организацию всеми и каждым своей собственной социально-экономической деятельности. Общественная жизнь из идеологии, где все было «запланировано», и из утопии, где все было

закрепощено, превращается в раскрепощенную утопию, в жизнь по принципу: «Создай самого себя». Тем самым раскрепощается индивидуальное творчество взамен утраченных для подражания внешних образцов. Последние — будь то Америка, Европа, Япония и т.д. — превращаются лишь в ни к чему не обязывающие ориентиры. Это и есть в чистом виде порядок «невидимой руки», с которого начинала великая Америка. В нынешних США этот несколько потесненный местными социал-либералами порядок все еще жив и выражается в емкой краткой формуле: *Leave people alone!* Дайте людям жить самостоятельно!

Из очнувшейся после долгой ночи России сейчас несутся те же голоса. Из народа и интеллигенции. Архангельский мужик Сивков, с которым познакомил нас публицист Анат. Стреляный, просит у государства только одно: оставить его в покое и не мешать делать мясо в 10 раз дешевле и качественней государственного. Для этого ему и помощь Запада ни к чему. Сам справится.

Ему вторит польский «архангельский мужик» Лех Валенса. На вопрос студентов Ягеллонского университета «что такое социализм?» он отвечает: из 3-х пекарен — государственной, кооперативной и частной — та будет «социалистической», которая печет лучший хлеб и самые дешевые булочки. Это он и называет своим практическим «социализмом».

А вот и голос советского интеллигента, принадлежащий Симону Кордонскому, автору статьи «Можно ли нам помочь?» (опубликованной в журнале «Век 20 и мир»), неудовлетворенного перестройкой, не желающего более выводить свое советское «де-юре» из де-факто социалистического государства. Он желает реального, а не фиктивного гражданского статуса, реальной гражданской ответственности и поэтому говорит: «Каждый гражданин государства должен быть юридическим лицом, полностью ответственным за самого себя, и из советского человека превратиться в простого человека, живущего своей жизнью, какой бы она ни была».

МИФ

Статья Ольги Чайковской, опубликованная в «Литературной газете», и комментарий главного редактора журнала «Время и мы» Виктора Перельмана

Я печатаю статью, которую еще вчера категорически отказалась печатать, — согласитесь, ситуация нетривиальная. Сняла же я эту свою статью из номера потому, что не могла разобраться в том, что происходит, не хочу участвовать в ситуации, которую не понимаю. Вижу только — идет безумие. Кое-что, но далеко не все, понимаю, кое-что могу объяснить, хотя бы исходя из того, что произошло с этим моим материалом, Дело было так: еще осенью, когда я полагала, что следователь Гдлян профессионально и последовательно ведет борьбу с коррупцией, меня удивили и обеспокоили некоторые его выступления в печати. Я пыталась в печати же ему возражать, меня не напечатали.

Прошел «чурбановский процесс», я стала изучать его материалы, а также другие, связанные с работой гдляновской бригады вообще, и чем больше я их изучала, тем страшнее мне становилось. Убежденная, что народ должен знать правду об этом деле, я обратилась в несколько центральных газет — НИ ОДНА моего материала не опубликовала, критика Гдляна оказалась невозможной. Зато безудержные восхваления, прибавим, замешанные на его саморекламе, тиражировались всеми видами массовой информации. Общественное сознание с необыкновенной настойчивостью (непонятно, по чьей инициативе и чьим усердием) обрабатывалось в одном-единственном направлении: создавался образ борца за социальную справедливость, который один на один вступил в схватку с коррупцией. Люди

верили, и это понятно: они знают, что такое коррупция, разлад экономики, пустые магазинные полки и нищета; им казалось: уж если явился бесстрашный рыцарь, то на него вся надежда. Они знали, что такое коррупция, но не знали, что такое Гдлян. И я не могу их в этом винить: кто-то сделал все, чтобы они обманулись.

Я не знаю, кто организовал Гдляну и Иванову мощную поддержку в масштабах страны, но я видела, кто поддержал Иванова в Ленинграде.

Меня позвали в Ленинград кандидаты в народные депутаты, просили помощи — дать людям информацию, которой я располагаю. Говорили, что Иванов пользуется могучей поддержкой. В этом мне нетрудно было убедиться, когда я приехала в город. Едва ли не все типографии печатали афиши Иванова, которые были расклеены повсюду. По городу ездили фургоны с его огромными портретами, ему были предоставлены залы, экран телевидения, страницы опять же едва ли не всех газет, в том числе и «Ленинградской правды» — органа Ленинградского обкома. Хозяевами на улицах были возбужденные компании, которые срывали выборные афиши других депутатов и даже нападали на тех, кто пытался выступить против Иванова. В воздухе ясно чувствовалась атмосфера самосуда — я сама разговаривала с молодой женщиной, которая стала его жертвой, выразив сомнение по поводу этого кандидата. Обливаясь кровью от дикого удара в лицо, она стояла перед разъяренной толпой, а ей кричали: «Мало тебе, подавись ты своей кровью».

Именно в то самое время, когда всеобщее возбуждение, можно сказать точнее — всеобщая воспаленность достигла нивысшего накала, в газетах появилось сообщение комиссии Президиума Верховного Совета СССР с тяжкими обвинениями по адресу Гдляна. Всем известно, что комиссия эта работала давно и сейчас работает, не понятно только, почему сообщение она решила опубликовать именно сейчас. Сообщению этому очень многие не поверили, их опять же нетрудно понять. Получилось так: все молчали о Гдляне, пока он в своих расследованиях не забрался слишком высоко. Никто ничего другого не мог предположить. Да никто уже никаких доводов и не слушал. Там, где пылают бешеные страсти, доводы невозможны, убеждения бесполезны. Появившимся статьям, в том числе и замечательному по своей глубине и серьезности выступлению заместителя прокурора РСФСР А.В. Бутурлина, тоже не верят, умами владеет убеждение: если против Гдляна — значит, ложь. Возникла хорошо известная политика ситуация: всякое выступление против данного лица автоматически и очень энергично работает ему на пользу («Кто против Гдляна, тот против перестройки!»).

В этих условиях пошла и моя статья, лежавшая в «ЛГ» более двух месяцев. В этих условиях я ее и сняла, полагая, что ей тоже уже не поверят, что она только подольет масла в огонь. И все же: как мне было в подобном случае промолчать, как допустить распространение того, что я считаю ложью, и притом очень опасной?

Понимая, что многие (и очень многие!) мне не поверят — хотя я до сих пор своих читателей не обманывала, все равно не поверят именно ввиду огромного общественного возбуждения! — я решила посту-

пить так. Свое досье по этой статье (поверьте, огромное) я передаю людям, в чистоту, неподкупность и справедливость которых верю свято, народным депутатам СССР Борису Васильеву, Дмитрию Лихачеву, Андрею Сахарову, Юрию Карякину, Святославу Федорову (читатели могут продолжить список) — пусть решают они, кто прав, кто виноват.

А нам всем необходимо понять, что нас, может быть, и возбуждают-то не даром, что это ходы в политической игре, участников и правила которой мы представляем себе неясно, — понять и по мере сил успокоиться. Время тревожное, ситуация может стать неуправляемой, среди других опасностей попрание закона являет собой одну из серьезнейших.

Я печатаю эту статью именно затем, чтобы предупредить об опасности.

Огромные буквы кричат со щитов: «Он вернул стране сорок миллионов! Голосуйте за него!» Сорок миллионов! Люди останавливаются, читают то, что уже им сказали с печатных страниц, с телеэкрана, и не раз: следовательно Гдлян один на один вышел в бой с коррупцией, с могучей, смертельно опасной мафией. «Наконец-то нашелся бесстрашный», — говорили они друг другу. Их восхищение, их признательность — все отдано этому человеку. «Гдлян!» — писали на избирательных афишах, в листовках, просто на стене. — «Гдлян!» Но что было делать тем из нас, кто знал, что многое здесь не то и не так, и герой далеко не тот, и миллионы далеко не те? Знал, но никому ничего объяснить не мог: его не слышат, не хотят слышать, всякое сомнение в достоинствах героя вызывает гнев, а гнев не терпит доводов рассудка.

Она давно уже поднималась, эта волна неудержимого энтузиазма, ее поток увлекал не только доверчивые и бесхитростные души, но даже искусственных в исторических примерах интеллектуалов, причем эти, представьте, тут даже лидировали: один еженедельник поместил статью о Гдляне, где среди прочего было рассказано, как арестовывали одного из ближайших к Рашидову лиц, секретаря Кашкадарьинского обкома Р. Гаипова. Окружили его особняк, вошли и сели пить чай. То есть как это «сели пить чай»? Кто сел? Сотрудники прокуратуры. Странное процессуальное действие, не так ли? Тем не менее они сели пить чай, а ближайший к Рашидову человек ушел в соседнюю комнату и там зарезался. «Когда Тельман Хоренович вбежал в спальню, Гаипов уже успел нанести себе тринадцать(!) ножевых ран». Нет, это как же внимательно нужно было пить чай...

Автор статьи, который заведомо не глупее нас с вами, этих диких несообразностей не замечает. Но ведь и читатели еженедельника их тоже не заметили! Разве не странно?

Популярный журнал, просветительская роль которого для меня несомненна, печатает статью Т. Гдляна и Н. Иванова, которые всенародно сообщили читателям: хотя закон и запрещает держать людей в заключении до суда более девяти месяцев, держат их по полтора-два года (как теперь мы знаем, по три и по четыре). Несогласных же с

подобной позицией и практикой Гдлян с Ивановым поголовно назвали пособниками мафии. Статью эту читала вся страна, и никто ничего предосудительного в ней не нашел (и даже проблема со сроками у нас тревоги не вызвала). А если кто-то осмеливался заметить, что в статье, по существу, утверждается право следственных органов на беззаконие, «Гдляна хотели убить! — возражали в ответ. — А вы требуйте, чтобы он церемонился с преступниками!»

Тонкая пленка правовой культуры, с таким трудом и столь долгие годы выращиваемая усилиями той же печати, прорывалась мгновенно, прожженная огнем страстей.

Весть о том, что Гдляна хотели убить, еще больше повысила градус всеобщего возбуждения, оба следователя уже без всяких ограничений выступали в печати, по радио, телевидению, без стеснения называли подследственных преступниками — и никто их не спросил, какое они имеют на это право, если по закону назвать человека преступником может только суд. Право? «Болельщикам» героев было не до права и не до закона! Груды драгоценностей и пачки банкнотов, показанные по телевидению, поражали воображение зрителей, слово «мафия» тревожило и пугало, законный гнев против коррупции перерастал в нерассуждающий восторг. Уже гремели культовые тимпаны. «Ура, следователь нового типа! Он опирается на гласность!» А следователь нового типа, рассказав всему свету все, что считал нужным, о «деле Чурбанова», на каждом томе его поставил гриф «секретно» (хотя ничего секретного в нем, разумеется, не было). Зачем это понадобилось?

Военная коллегия Верховного суда Союза во главе с М.А. Маровым (народные заседатели — генерал-майоры авиации В.З. Живагин и В.С. Сизов) приступила к делу в ясном сознании его значимости и, надо прибавить, в полной уверенности в высоком качестве расследования, поскольку следствие ведет Прокуратура СССР.

Дела о взятках расследовать трудно, это известно. Но ведь взятка, особенно крупная, как и всякое преступление, тоже оставляет следы. Если она дана коврами, сервизами, золотом, серебром, тогда прослеживается путь каждой вещи. Но и деньги тоже следы оставляют — в сберкассе, в ведомостях и других документах, в каких-то связанных со взяткой действиях или бездействиях; полученные суммы во что-то реализуются — в особняки, машины, те же драгоценности. Да ведь и опыт у следственных органов накоплен немалый. Когда расследовалось — под руководством заместителя Генерального прокурора В. Найденова — знаменитое «рыбное дело», велись скрупулезные бухгалтерские и прочие экспертизы, были добыты многочисленные вещественные доказательства. Трудный путь, огромная работа, требующая высокого профессионализма. А вот при чтении томов «чурбановского дела» создается впечатление, что работа здесь шла на уровне одних только разговоров. Показательны с этой точки зрения допросы, которые вел помощник Гдляна Н. Иванов. Обвиняемый утверждает, что взятку не брал.

— Неужели вы не видите, — возражает следователь, — что взяли на себя непосильную задачу по опровержению правды и замены ее ложью? Именно потому вы и даете такие примитивные показания.

Подследственный так не считает, он убежден, что люди, дающие против него показания, его оговаривают. Н. Иванов углубляется в теорию.

— На предыдущих допросах мы разбирали понятие доказательств по уголовным делам, — сообщает он, — и договорились, что правдивые показания обвиняемых и свидетелей являются доказательствами по делу. Теперь перейдем от теории к практике. Являются ли показания обвиняемых (перечисляет) и свидетелей (перечисляет) доказательствами вашей вины во взяточничестве?

Обвиняемый готов перейти от теории к практике, но он считает показания против него ложными, а не правдивыми. Иванов поражен:

— Следствие не может не выразить своего удивления по поводу ваших ответов. Вы юрист, генерал, могли бы защищаться более солидно.

Юрист и генерал осторожно (все-таки подследственный) напоминает: чтобы уличить человека, нужны объективные доказательства.

— Ваши познания в юриспруденции буквально умиляют, — иронизирует Иванов. — Значит, по факту преступления одного доказательства в виде показаний человека недостаточно? Подскажите, пожалуйста, сколько же требуется доказательств (одно, два, десять) для того, чтобы считать факт установленным?

Пустословие? Конечно. Но в нем содержится идея, знакомая нам с 30-х годов: чтобы осудить кого угодно, хватит показаний одного человека. Одного!

Или следующее обращение Иванова к подследственному: «Голословно отрицая факты взяток, вы не привели никаких серьезных доводов в опровержение этих доказательств». Сотни раз уже описана трагическая ситуация «докажи, что ты не верблюд», сотни раз — и вот этот верблюд вновь всплывает. И где — в рассуждениях следователя по особо важным делам при Генеральном прокуроре!

Но как можно на подобном уровне допроса добыть серьезные доказательства? В сущности, метод Гдляна состоял в том, чтобы добыть такое признание и такие свидетельские показания, которые бы затем взаимно друг друга подтверждали. Естественно, что перед судьями встал вопрос: что же делала следственная бригада (более двухсот человек!) в течение более пяти лет, если так и не смогла представить суду ничего, кроме подобного рода словесности?

В большом затруднении оказались судьи: по-настоящему дело нужно было отсылать на новое расследование, но как это сделать, если люди сидят уже в тюрьме годами? Ведь были уже тут инсульты, были инфаркты, кто-то стал уже слепнуть (сделали операцию) — а так и не известно, кто из них виноват, кто нет.

«Дело Чурбанова» поставило немало правовых проблем, и среди них — вопрос о сроках содержания под стражей. В своей шумевшей статье Гдлян и Иванов не объяснили читателям, что дало им возможность нарушать тут закон. А позволил им это антиконституционный обычай, когда Президиум Верховного Совета СССР по представлению Генерального прокурора СССР специальным постановлением может продлевать срок сверх установленных законом девяти месяцев. На сколько? Да на сколько угодно. И вот люди, вина которых не доказана, годами сидят в тюрьме, и каких только не видала она

долгожителей! Подобную практику больше терпеть нельзя ни дня — она должна быть запрещена законом.

А дело решено было слушать. И по мере того как суд его исследовал, оно разваливалось с поразительной быстротой — там, где подсудимые и свидетели отказывались от своих показаний как от вынужденных, а других доказательств вины в деле не было.

Страшное дело казнокрадство, взятки, коррупция, они действительно опутали страну, в том числе и Узбекистан. Гигантский насос рашидовского диктата неустанно вытягивал из республики гигантские суммы, узбекский народ обирали с величайшей, может быть, даже особой наглостью. Но расследование дела требовало точности. Среди крупных партийных и других должностных лиц были и те, кто брал взятки, чтобы отдать их начальству (это называлось «расходы наверх»), были и те, кто брал для себя. Но были, конечно, люди, к которым со взятками подступиться было невозможно. Работа, повторим, требовалась тщательная, адски трудная, но Гдлян особо не затруднялся, он арестовывал людей подряд (иногда даже целыми семьями) и начинал у них получать показания друг на друга.

В его распоряжении был могучий рычаг — торьма.

Если человек вину отрицал, его вообще переставали допрашивать многие месяцы. Подсудимые на суде рассказывали об ужасных условиях заключения в Узбекистане: многие упорно твердили о каких-то подвалах. Только от одного из выпущенных узнала я, что это такое: сырые липкие подземелья, где невозможно дышать. Подследственных надолго помещали в одну камеру с рецидивистами, это ад, рассказывали люди, это ад, и мы шли на любые показания, чтобы из него вырваться! Но стоило лишь уступить гдляновскому прессу, как им тотчас предоставлялась возможность разрабатывать «сценарий» будущего процесса (знакомые дела!), «подельников» помещали вместе (что запрещено), разрешали ходить из камеры в камеру, сговариваться, подгонять даты.

Мы знаем теорию и практику группы Гдляна-Иванова: чтобы посадить человека, достаточно показаний кого-то одного. Но теперь их самих, этих следователей, обличает целый хор, начиная от многих сотрудников прокуратуры, которые давно уже в рапортах и докладах протестовали против беззаконий Гдляна, и кончая жертвами этих беззаконий.

Есть в деле письмо подследственного на имя тогдашнего Председателя Президиума Верховного Совета СССР А.А. Громыко: «В конце октября 1985 года меня в мои 70 лет схватили и как особо опасного преступника под специальным конвоем этапировали в следственный изолятор Ташкента. Первую неделю после такого ареста я вообще говорить не мог. Тогда я думал, что не выдержу весь этот унижительный ритуал лишения свободы. Но долгая солдатская дорога оставила, видимо, какой-то след мужества и терпения». От него требовали, чтобы он признал взятку в 300 тысяч рублей, а не то, говорили, сгноим в тюрьме или поместим в психиатрическую больницу. «Оказавшись в таком безвыходном и беспомощном положении, я понял, что единственный шанс спасти свою жизнь — покорность. И я встал на путь лжесвидетельства, самоговора и оговора тех, кого мне называли».

Директора совхоза А. Раджапова следователи группы Гдляна вызвали по делу секретаря Каракалпакского обкома партии и предложили признаться во взятке этому секретарю, разъяснив: если признается ничего ему не будет и все останется в секрете(!). Он сказал, что не может давать ложных показаний. «Услышав это, — пишет он, — они стали угрожать мне тем, что посадят меня между уголовниками, а им подскажут, чтобы они делали со мной все, что хотят, пусть тебя топчут, убивают (подлинных их слов написать просто невозможно), тогда ты, как миленький, напишешь все, что от тебя требуют. Пошлость, низменный жаргон, уличный мат и похабщина были для следователя нормой разговорной речи. Если бы мне сказали, что подобное возможно в наше время, вряд ли бы я поверил».

Одному из подследственных, который, несмотря на болезнь, не сдавался, сказали: «Мы тебя на носилках будем носить, а признаться заставим», — и он признался. А если бы выстоял?

Что ж, был человек, который выстоял. Его арестовали на основании показаний двоих заключенных. Свою вину он неизменно отрицал, несмотря на это, был осужден Верховным судом Узбекистана (приговор отменен, идет следствие — в этом процессе он свидетель). Он сидит уже четыре года — и вот каким предстал перед судом (воспроизвожу по рассказам очевидцев и магнитофонной ленте).

Конвоиры крепко держали его под руки, а он брел, едва переступая, потому путь его до свидетельского места долог. Слышу, судья Маров говорит торопливо и тревожно: «Сейчас, сейчас! Доктор, пожалуйста!» больному делают укол.

Свидетель сел, закрыл глаза и сидел, высокий восковой мертвец, в чистом виде продукт работы гдляновского комбината. Ему за шестьдесят, а на вид — за восемьдесят. Несут наушники: он почти вовсе оглох.

Открывает глаза, и по ним видно, что он живой, что не сдался и хочет бороться, но язык его вязнет, с трудом, через огромные паузы выговаривая слова.

— Я хочу... умереть чистым, — говорит он.

Подсудимые (это именно их Гдлян посадил в одну камеру, чтобы они могли договориться о показаниях) заявляют суду, что их заставили оговорить этого человека. Один из них кричит отчаянно:

— Он ни в чем не виноват! Я проклинаю тот день, когда... Я прошу у него прощения!

Недвижно сидит свидетель, по восковой его маске градом катят слезы.

— Грех им... грех, — голос его гаснет. — Грех перед моими детьми... Да ведь дело сделано... В хоре обвиняющих Гдляна есть и голоса мертвых.

А. Хаджимуратов, полковник, дослужившийся до этого чина от солдата, ничем не опороченный, отец большой семьи, был вызван на допрос в качестве свидетеля, допрашивался два дня (один раз десять часов, другой раз семь). Вскоре после допроса он покончил с собой, оставив записку, которую трудно, невозможно читать. Он пишет, что не в силах жить после неслыханных унижений и грязных оскорблений, которым был подвергнут; после того, как был сложен и вынуж-

жден оговорить невинного человека. На теле полковника Хаджимура-това были обнаружены следы поборов, судмедэкспертиза датировала их днями допросов.

Вокруг этого дела вообще что-то много странных смертей. Требуется внимательного расследования смерть заместителя министра внутренних дел Узбекистана Давыдова (загадочное самоубийство тремя выстрелами в висок из полуавтоматического пистолета). В прокуратуре рассказывают о подследственном, выбросившемся из окна. А тот же Гаипов, зарезавшийся рядом с Гдлян, который пил чай? Много чего странного и темного лежит на дне этого дела.

И вот что я скажу: до нового законодательства и независимо от него должны быть приняты срочные меры для охраны прав подследственных (да и свидетелей тоже) — полагаю, что сегодня это должна взять на себя общественность. Входящая в состав Комиссии по гуманитарным вопросам группа по состоянию уголовно-исправительных учреждений, возглавляемая членом-корреспондентом АН СССР В.Д. Протасовым, во время посещения следственных изоляторов по существующим правилам не могла войти в камеру, общение с заключенными было исключено. Я думаю, что общественность, в том числе и наблюдательные комиссии при исполкомах, должна иметь право войти вместе с медициной в камеру — этот контроль станет барьером для беззакония. Конечно, не к общественности нужно было бы тут взывать, а к прокурорскому надзору. Но это особый вопрос.

Гдлян, разумеется, недаром поднял вокруг исхода «дела Чурбанова» столь неистовый шум. Ему нужно было загнать судей в социально-психологическую ловушку, он был убежден, что они не посмеют пойти против возбужденного им общественного мнения и, как в былые времена, проштампуют обвинительное заключение. Судьи же тщательно расследовали каждый эпизод, вызывали, если нужно, новых свидетелей, запрашивали новые документы. Дело принимало для Гдльяна все более нежелательный оборот, и вот за два дня до того как судьи должны были уйти на приговор — за два дня! — журналист Е. Додолев публикует беседу с Н. Ивановым, который заявил: если приговор разойдется с обвинительным заключением, это будет значить, что суд подкуплен (выражения были более мутные, но смысл вполне ясен). До сих пор не пойму, как они решились, как осмелились — Иванов сказать, Додолев написать, а «Московская правда» напечатать — подобное (неподобное!) по адресу Верховного суда страны.

Можно представить себе, как трудно приходилось судьям в неистово раскалившейся атмосфере «политического процесса», в обстановке социальной истерии с воплями на митингах и неприкрытыми угрозами в печати. Мы не можем не отдать должное их мужеству, достоинству, сознанию высокого судейского долга — они работали так, словно за стенами суда была тишь и гладь, тщательно расследовали дело, отобрав только те эпизоды, которые посчитали доказанными, они вынесли приговор. Он был юридически и нравственно несокрушим, но упал на почву, специально подожженную Гдлян, потому что грозил ему разоблачением.

Ведь Гдлян сорока миллионов стране не дал. Это по бухарскому делу, возбужденному госбезопасностью, были миллионы и груды драгоценностей. Гдлян усердно с ними снимался (их-то и показали по телевидению). А в «чурбановском деле» тек поток миллионов в основном бестелесный, их нигде не нашли, на них ничего не было куплено, ничего не было построено, они всплыли на страницах дела и растаяли в воздухе. И покушений на жизнь Гдльяна тоже не было. Если бы они были, Гдлян был бы обязан о них сообщить — нет, не по телевизору, разумеется, а официально, в Прокуратуру СССР, которая между тем официально заявила, что по поводу этих покушений не располагает никакими материалами.

Знаю, знаю, есть люди, которые считают, будто с коррупцией надо бороться любыми, пусть и незаконными, методами (опаснейшая мысль — фашизм шел к власти именно под лозунгом внесудебной борьбы с преступностью и коррупцией). Но и тут все неладно. Гдлян по-настоящему с коррупцией не боролся (и потому, я думаю, многих взяточников вполне устраивал). Дело в том, что, получив нужные ему показания о взятке крупному должностному лицу, он, как правило, тут же освобождал взяткодателя от уголовной ответственности, вовсе не интересуясь, откуда им взяты столь крупные суммы, сознательно обрывая нити коррупции, не вникая в механизм ограбления узбекского народа. Да и волновала ли его сама по себе преступность? Недаром он скрыл от суда 6 томов дела, где были собраны материалы о страшных деяниях бывшего министра МВД Узбекистана Яхьева. Нет, я думаю, не борьба с преступностью, а шумный «политический» процесс (зять — Чурбанов! Генералы! Секретари ЦК!) и вслед за ним взлет собственной карьеры — вот что было его главной целью.

Но грубейшие беззакония? И Гдлян пошел ва-банк (да у него и другого пути-то не было). Тогда-то и начал гдлянковский автомат самосохранения, уже до комического скорострельный, выпаливать неизменное «куплен мафией!» по адресу любого, осмелившегося на критическое замечание. Тогда-то и началось шествие Гдльяна по эстрадам — Дом кино, Дом актера, заводские клубы, конференц-залы институтов. Чего только они с Ивановым там не возвещали народу: что судьи, «состряпавшие преступный приговор», — это наемники мафии. Буря оваций! Что у них, Гдльяна с Ивановым, на руках «совершенно секретная» схема мерзавцев-взяточников, где те прошли по вертикали и горизонтали, — шквал аплодисментов! Гипертрофированная до смешного самореклама Гдльяна попала, однако, на благодатную почву нашего всеобщего, нашего справедливого гнева против обнаглевшей коррупции. Залы восторженно рукоплескали герою, и никто из рукоплещущих не знал, что «дело Чурбанова» безнадежно загублено профессиональной беспомощностью гдляндовской бригады.

Но есть ведь руководство Прокуратуры СССР! Как же оно не слышало, что его сотрудники прилюдно и постоянно оскорбляли Верховный суд страны (в любом цивилизованном государстве они давно бы сидели в тюрьме за оскорбление суда)?! Не может не встать вопрос и о тех, кто давал санкции на необоснованные аресты, кто, утверждая недоброкачественные обвинительные заключения, передавал дела в суд. Конечно, вовсе не один Гдлян с Ивановым тут виноваты.

Эти робко уклоняющиеся, тайно и явно поощряющие, восторженно, бурно аплодирующие, — все они с поразительной легкостью забыли недавнюю нашу историю. Ведь было все это уже, было! И безнаказанность «органов, которые не ошибаются», и внесудебные расправы за запертой дверью, и насилия уголовников в камере, и ревушие от восторга, жаждающие крови толпы. А ведь любой из этой толпы, любой из нас, без исключения, может оказаться в такой камере — стоит очередному Гдлянну добиться показаний (это легко), получить санкцию на арест (тоже нетрудно), в первые же десять часов выломать признание или держать годами в тюрьме, все снова и снова продлевая срок. А суд, в котором уже не будет Михаила Алексеевича Марова, отмерит десять (пятнадцать) лет погубленной жизни. В государстве с разрушенной правоосновой, с перекошенным правосознанием этим путем может пройти не только любой из нас (при таких-то традициях!), но и тот же Гдлян, тот же Иванов, то же сегодняшнее руководство Прокуратуры СССР (громкий процесс!), кто угодно. Ведь нагляднейшие примеры тому в нашей истории были. Не помнят!

Миф о Гдляне прочно укоренился в сознании людей. Но чтобы его разрушить, необходимо опубликовать «дело Чурбанова», со ссылками на документы, с факсимильным их воспроизведением (материал огромный и весьма поучительный). Тогда станет ясной суть этого дела и его беспрецедентность. Это подумать только! Верховный суд указал следователям на тяжкие просчеты (назовем это так) в их работе, а те в ответ пошли на штурм Верховного суда, с помощью грязной клеветы поднимая против него «ярость масс», создавая психологическую атмосферу самосуда.

По существу, мы имеем дело с попыткой правового путча, попыткой реставрации практики внесудебных расправ. И поразительное дело: в наши времена, когда столько разговоров о создании правового государства, это «гдлянское движение» тоже пришлось, оказывается, на готовую почву и уже пошло по стране! Уже (есть сведения) на местах идет нажим на судей, возрождается «телефонное право» с его требованием: никаких возвращений на доследование, никаких оправдательных приговоров!

Скажут: но ведь взяточники осуждены? Конечно. Но раскрыта далеко не вся преступная сеть, часть ее, напротив, сознательно скрыта следователями, и это нетрудно доказать. А главное — в этом деле столько беззаконий, столько погубленных жизней (и столько мрачных загадок), что выяснить истину до конца может только тщательное расследование работы гдлянновской бригады.

Но кто, скажите мне, кто будет его вести? По закону это обязанность Прокуратуры СССР — той самой, что и тайно, и явно покровительствовала Гдлянну. Тупиковая ситуация — некому расследовать? Но я думаю так: если в поход на наше правосудие пошли худшие силы прокуратуры (самые слабые профессионально, самые неустойчивые нравственно, самые агрессивные и амбициозные), то у них на пути встанут на защиту правовых основ нашего общества ее лучшие силы. Они есть, эти силы, можно назвать имена высоких профес-

Но как же это случилось, что огромные массы людей так мгновенно, беззаветно и бездумно поверили гдлянновской саморекламе — этот вопрос требует специальных социально-психологических исследований. Сейчас на него можно ответить в самой общей форме. В своей замечательной статье «Почему трудно говорить правду» Игорь Клямкин сформулировал точно: людей обманывают тогда, когда они хотят обмануться, а хотят они обмануться тогда, когда несчастны. В наши трудные времена непрестанной социальной тревоги подобные вспышки гнева (и надежд на героя, который одним ударом — причем чем кровавее, тем лучше — разом все решит) легко объяснимы. Тем более нам надо сейчас успокоиться и поразмыслить, прежде всего о политических механизмах, которые дадут стране возможность избавиться от тех, кто сделал бесплодной нашу землю, отравил нашу воду, развалил экономику, засорил наши с вами мозги. Поразмыслив, мы, наверное, многое поймем. В частности, я думаю, и то, что следователи типа Гдляна, сложившиеся в условиях безнадзорности, укрепившиеся в режиме безнаказанности, являют собой часть той же административно-командной системы, с которой, судя по их декларациям, борются. Если, конечно, брать не слова их, а дела.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

О СВОБОДЕ, ДЕМОКРАТИИ И ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ

Комментарий к статье Ольги Чайковской «Миф»

Любого беспристрастного человека не может не поразить то, какие глубокие, болезненные противоречия раздирают советскую систему: ничто не стабильно, ничему нельзя верить. Вчерашние герои на поверку оказываются жалкими карьеристами, а недавние мафиози предстают жертвами произвола, которые уже ждут часа реабилитации. Даже дело Чурбанова, зятя Брежнева, которого на наших глазах всенародно предавали анафеме, — даже это дело вроде бы инспирировалось двумя работниками советской юстиции — следователями Гдлянном и Ивановым. Они и есть главные «герои» Ольги Чайковской, против которых автор обрушивает свой журналистский темперамент.

Но вдумаемся в происшедшее и попробуем беспристрастным взглядом охватить картину. Не правда ли странная эта картина: два советских следователя, объявивших себя борцами против коррупции, в течение длительного времени наводят ужас на правящую верхушку советского общества. Если не на всю верхушку, то по крайней мере на известную ее часть — на секретарей ЦК и обкомов республик, на министров, партийных аппаратчиков, на сам Верховный суд СССР. По словам Ольги Чайковской Гдлян и Иванов не останавливаются ни перед чем, даже перед физическими пытками. А, главное, они действуют почти самостоятельно, опираясь лишь на ими же раздуваемую саморекламу и поддержку неких неназванных руководителей прокуратуры. Да еще каких-то и вовсе остающихся в тени сил, на которые нет, нет, да и делаются намеки в статье.

Не стану обижать автора — одного из лучших и наиболее честных публицистов «Литературки», но все же скажу достаточно жестко: лично я ставлю под сомнение степень глубины этой статьи. И степень ее правдивости. И что, может быть, главное — ее возможное влияние на положение дел в обществе.

Здесь позволю себе сделать отступление, касающееся «Литературной газеты». В последнее время в ней сменился главный редактор, печально знаменитый Александр Чаковский. Обновился и штат газеты. Во многом иными стали ее выступления. Но в одном смысле «Литературка» продолжает упорно следовать традиции, родившейся в застойные времена, — опять же с легкой руки Александра Борисовича Чаковского. Эту традицию я бы определил так: не забывать об остроте газеты, но на решающих поворотах всегда держать нос по ветру. Линия Чаковского здесь в чем-то напоминала дворцовую тактику верного соратника Брежнева Виктора Васильевича Гришина. Про последнего говорили так: что он всегда умел на два хлопка опередить аплодирующий зал, за что и снискал любовь престарелого генсека.

Разумеется, в условиях гласности «Литературка» старается не отставать от остальной периодики: теперь ведь на гласность ориентирует сама партия, но мы говорим не о гласности, а о смелости печатного органа, о его способности смотреть в корень проблемы, не оглядываясь на то, что скажут в Большом доме, который во все времена командовал жизнью общества.

«Я печатаю статью, которую еще вчера категорически отказывались печатать», — начинает Ольга Чайковская. Выделим прежде всего слово «в ч е р а» — газетчики знают, что время публикации порой важнее ее содержания. И так, вчера еще было опасно, а сегодня, что называется, в самый раз. И так же, как всегда, «Литературка» безошибочно выбирает время. Гдлян и Иванов еще не привлечены к ответственности, но уже известна позиция партийных верхов, уже действует против них комиссия Президиума Верховного Совета. Направление ветра определилось, и «Литературная газета» с открытым забралом идет в бой.

В последнее время стало модным говорить о необыкновенной смелости советских газет: то разоблачают министров, то выступают против порядков в КГБ, то говорят об ошибках Ленина: вот что значит гласность в действии! Не побуждает ли дело Гдляна-Иванова присмотреться к этой «бескомпромиссной» смелости? Как выглядит советская печать в этой истории? Оставим «Огонек», который предоставлял неограниченную трибуну Гдляну и Иванову. Допустим, «Огонек» им верил и добросовестно заблуждался. Возьмем статью Ольги Чайковской, которая предлагается нам как истина в высшей инстанции. Но если препарировать эту истину, то, право же, белых пятен тут окажется куда больше, чем ясных мест.

В течение нескольких лет Гдлян и Иванов разматывали чрезвычайно запутанные дела Узбекской мафии и пользовались всеобщей поддержкой. Они вели дело Чурбанова, и их опять же поддерживали. Но вот они объявляют, что нити преступлений ведут наверх, в Москву, они называют

фамилию Егора Лигачева, и дело постепенно поворачивается против них. Всем этим я вовсе не хочу утверждать, что Гдлян и Иванов не нарушали процессуальных норм. Судя по всему, они не раз переступали черту закона. И в правовом государстве это не может оправдываться ничем — никакой борьбой против мафий, никакими общенародными интересами. Но тут есть опасность и в том, что глубокие корни коррупции так и останутся не раскрытыми. Это с одной стороны. А с другой стороны: как бы не остались в тени стоящие за спиной этих следователей главные виновники того «правового путча», в котором их сегодня обвиняют?

«Я не знаю, — пишет Ольга Чайковская, — кто организовал Гдлян и Иванову мощную поддержку в масштабах страны. (Так-таки автор не знает, кто и на каком уровне мог санкционировать суд над зятем Брежнева или, скажем, аресты партийных руководителей Узбекистана.) ...Есть ведь руководство прокуратуры СССР, — продолжает Чайковская. — Как же оно не слышало, что его сотрудники прилюдно и постоянно оскорбляли Верховный суд страны!.. Не может не встать вопрос и о тех, кто давал санкции на необоснованные аресты, кто утверждая недоброкачественные обвинительные заключения, передавал дела в суд. Конечно, не один Гдлян с Ивановым тут виноваты»... Да, не они одни: последнее ясно и ребенку. Ну, а кто? Кто же, в конце концов, ответственен за происшедшее? Безвластные чиновники из прокуратуры, которые, лишившись рассудка, замахнулись на целую группу высоких партийных чинов? Не надо быть знатоком советской системы, чтобы понять простую истину: Гдлян-Иванов и шагу не могли бы сделать, не имея поддержки на уровне ЦК и Политбюро. Но как только заходит речь об их истинных вдохновителях, «Литературка» теряет дар речи. Не потому ли, что подходит она тут к порогу гласности, а если точнее, то к порогу смелости, которого в честной профессиональной журналистике вообще не должно быть?

В статье О. Чайковской упоминается «популярный журнал», в котором Гдлян и Иванов, по ее словам, утверждали «право следственных органов на беззаконие». Странное дело: что это за такой таинственный «популярный журнал»? Не «Огонек» ли, редактор которого Виталий Коротич на 19 партконференции фактически открыто заявил о своей поддержке Гдльяна-Иванова (хотя и не называл их имен)? Однако «Литгазета» и в этом случае предпочитает анонимность. Так сказать, на всякий случай: Коротич — человек Горбачева, и отношений с таким человеком лучше не портить. Не высок же, однако, порог смелости для газеты, взявшейся за разоблачение крупного скандала в советских верхах.

Воздадим должное журналистскому мастерству Ольги Чайковской, особенно, когда рисует она перед нами картину беззаконий, допускаемых двумя следователями. Но думаю, что с не меньшим мастерством и, наверняка, с не меньшим желанием она бы рассказала о тайных пружинах этого дела: кто и как в руководящих кругах партии эти беззакония инспирировал, кому и в каких целях они были выгодны (и тогда, возможно, мы стали бы свидетелями нового, советского Уотергейта), но это ведь значило бы замахнуться на священную корову системы, то есть как раз и переступить упомянутый порог гласности, чего никак не дозволено советскому журналисту. Почему? Еще недавно ответить на этот вопрос не составляло труда: партия в принципе не допускала жертвоприношений, она оставалась кастой неприкасаемых, даже если перемены требовали настоящие интересы страны. Горбачев как будто бы изменил это положение: сегодня членов ЦК пачками увольняют в отставку, и вроде нет более лиц, не отвечающих перед народом. В СССР это столь многим людям кружит голову, что уходит из их внимания главный факт: неприкасаемой остается сама система, ее принципиальный механизм, когда партийный аппарат из-за кулис правит всем и вся, оставаясь невидимым для общества и недостижимым для печати.

Представим себе, что какой-то или какие-то советские журналисты позволили себе действовать так же, как их американские коллеги в Уотергейте, то есть попытались бы доискаться до истоков коррупции и предали бы огласке все, что связано с ее разоблачением. Возможно ли это в СССР, даже в условиях самой широкой советской гласности? Если бы в душе Ольга Чайковская или тот же Аркадий Ваксберг захотели пойти по такому пути, то это им никогда бы не позволил... — нет, не отдел пропаганды ЦК, до него бы и дело не дошло! — а их «внутренний цензор», верный страж самосохранения советских журналистов, который глубоко сидит в каждом из них.

Есть и еще вопрос, который вытекает из истории Гдяна-Иванова и на который не дает ответа статья О. Чайковской. Вопрос этот ставится всем ходом демократизации советского общества, он относится не к структуре системы, а к психологии человека, перед которым открывается возможность жить в условиях свободы. Но что это значит — жить в условиях свободы? И всегда ли свобода благотворна? Или скажем так: достаточно ли только свободы, чтобы общество могло нормально функционировать? Из статьи Ольги Чайковской видно, что борьба с советской коррупцией, так же, как и дело Гдяна-Иванова, возникли не в затхлом климате сталинизма, но как раз на гребне свободы. Пусть относительной, но все же свободы. Свободы действий двух следователей в их войне против коррупции. Свободы в выборе правил этой войны. Свободы печатных органов, поддерживающих эту войну. И наконец свободы масс, которые требовали неограниченного доверия Гдяну и Иванову, поскольку видели в них вершителей справедливости. Да, в этой истории было много свободы, была масса бьющих через край эмоций, которые Артур Кестлер когда-то назвал политическими неврозами, несущими угрозу и человеку, и обществу.

Ссылаясь на Игоря Клямкина, Ольга Чайковская пишет: люди обманываются тогда, когда они хотят обмануться.

Суждение верное, но оставляющее неясными многие вопросы в деле Гдяна-Иванова. И прежде всего вопрос о свободе и ее границах, они — эти границы — несчетное число раз переступались, предавались забвению, и в этом, может быть, главный урок этой истории. Свобода? Да, свобода! Но и уважение к закону. И ответственность гражданина перед государством. И равенство перед законом всех членов общества. Эти азбучные истины демократии, которые на Западе люди впитывают с молоком матери, непросто усвоить гражданам СССР. Для них, вырвавшихся из тьмы, свобода слишком часто выступает как синоним вседозволенности, как разгул необузданных инстинктов, жертвами которых они сами и становятся. Это тяжелая, может быть, самая тяжелая плата за годы сталинского рабства — неумение жить в условиях демократии. И тут советскому обществу еще предстоит долгая и, вероятно, мучительная дорога.

Елена ГЕССЕН

РАССТАВАНИЕ С ТАБУ

В среде московской интеллигенции широкое хождение имеет полуанекдот-полупритча о том, как некто составил список запретных тем, еще не освоенных гласностью — получилось двадцать шесть (цифра варьируется — в зависимости от обстоятельств места и времени). Собеседник тут же поправляет: «двадцать семь» и на недоуменное «почему» объясняет: «двадцать седьмая — сам список».

Разумеется, правом первой ночи в освоении прежде запретных тем активно пользуется публицистика, литературе же поспевать за ней и невозможно, и не нужно: ведь собственно художественные задачи определяются не темой произведения, но его системой образов и поэтикой. И все же именно литература за последние два года ввела в общественный обиход много тем и понятий, на которые еще недавно были наложены жесточайшие табу.

ПРОФЕССОР БЕЛОСЕЛЬСКИЙ И ВЕРА САХАРОВА

Повесть Михаила Чулаки «Прощай, зеленая Пряжка», получившая премию журнала «Нева» за 1987 год, написана в традиционной манере и на традиционную тему: это история человека, предавшего свою любовь и испытывающего мучения за это предательство даже спустя много лет.

С героем повести — врачом Виталием Сергеевичем — мы знакомимся в пору его не первой молодости. Ему под сорок, он солидный человек, у которого все есть: жена, сын и даже катер — «настоящий семейный корабль», признак стабильности и благополучия. Покупка катера и приводит Виталия Сергеевича на набережную Пряжки, где он мысленно переносится в далекое прошлое.

Здесь, на ленинградской набережной, стоит мрачное здание психиатрической больницы, в которой начинающий врач-психиатр встретил когда-то свою первую и единственную любовь. Встретил в приемном покое, во время дежурства принимая новую пациентку, очень красивую девушку с лицом Венеры Ботичелли. «Пожалуй, Виталий никогда еще не видел такой... Но, конечно, это и особенно грустно: такая молодая, такая красивая — и вот здесь, в приемном покое». Студентка Вера и в самом деле больна: у нее маниакальный бред, ей кажется, что город захватили роботы, которые готовы истребить все население, причем все это происходит из-за нее.

После нескольких сеансов лечения — описанных с профессиональной точностью и доскональностью (автор по образованию врач) — героиня выздоравливает, причем улучшению ее душевного состояния немало способствует начинающийся роман с молодым врачом, который обнаруживает в девушке, кроме красоты, еще и ум, и сердце, к тому же вполне готовое откликнуться на его чувство. И все же, испугавшись поставленного Вере диагноза «шизофрения», Виталий не предпринимает никаких попыток увидеться с ней после ее ухода из больницы. Разумеется, спу-

стя несколько лет он узнает, что у нее больше не было рецидивов болезни (и следовательно, диагноз и в самом деле неверен); разумеется, несмотря на жену, сына и катер, он несчастлив и томится воспоминаниями о своей великой любви; и само собой, читатель закрывает книгу с ощущением, что перед ним только что прошла еще одна потерянная жизнь.

На первый взгляд, перед нами всего лишь еще одна вариация весьма банальной истории, исполненная в традициях русской прозы прошлого века. Но стоит присмотреться внимательней. Взять хотя бы имя героини — Вера Сахарова. Ничего особенного, распространенная русская фамилия, однако вряд ли писатель случайно наделил героиню, попавшую в сумасшедший дом, столь славной и о многом говорящей фамилией. Кстати, в первые дни Вера воспринимает больницу, как тюрьму, и в беседе с врачом и в собственных мыслях упорно именуется место своего пребывания не иначе, как тюрьмой.

«Говорящая фамилия» и у другого героя повести (также играющего ключевую роль в сюжете), у профессора, консультирующего пациентов психобольницы на Пряжке — Белосельский. Влюбленный Виталий всячески изыскивает способы, как бы избежать консультации прославленного светила, «поскольку Белосельский — «шизофренист», то есть принадлежит к школе, которая ставит шизофрению сравнительно чаще и охотнее». Опасения начинающего врача логичны: если Веру будет смотреть Белосельский, диагноза «шизофрения» не миновать — так оно, кстати, и происходит. Сходство фамилий и профессиональных методов наводит на мысль, что перед нами — профессор Снежневский, автор таинственного диагноза «вялотекущая шизофрения», столь любимого вершителями психиатрических репрессий.

Сочетание таких двух фамилий позволяет предположить, что вовсе не обычную любовную историю вознамерился поведать нам автор. Да и поступок героя — его

предательство по отношению к Вере — вопиюще противоречит логике его образа. Автор изображает Виталия прекрасным врачом, глубоко преданным медицине, наделяет его массой черт и черточек, традиционно присущих литературному портрету идеального врача: и с пациентами внимателен, и с нарушениями порядка в больнице бороться готов, и мыслит не банально, и даже берет на себя смелость на свой страх и риск принимать ответственные решения. Трудно поверить, чтобы такой человек и врач испугался связать свою жизнь с больной девушкой, тем более, что, несмотря на диагноз, Виталий твердо уверен, что никакой шизофрении у нее нет! Так что, пожалуй, совсем не этого он испугался. И если попробовать проиграть ситуацию так, как подсказывают нам фамилии героев, то несложно представить себе истинную картину: речь идет о политическом пациенте и о необходимости для врача подчиняться правилам карательной медицины. Не перспектива провести жизнь с больной — но и любимой — женщиной напугала Виталия Сергеевича: он не посмел пойти наперекор сильному миру сего, не рискнул поставить на карту свою карьеру и будущее.

И если рассматривать повесть с таких позиций, то все ее недомолвки и читательские недоумения благополучно разрешаются. Зато возникает другой вопрос — о границах снятия табу. Очевидно, в 1987 году уже можно было напечатать повесть о психиатрической лечебнице, где маются больные, пусть даже и симпатичные люди, но нельзя было — о «психушках», где содержались люди вполне здраво — хотя и иначе — мыслящие, о которых рассказали миру Григоренко и Горбаневская, Подрабинек и Питер Реддавей. Позволено ли это в 89? Не знаю.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

«Советский писатель не заглядывает в замочную скважину», — писал когда-то проницательный знаток советс-

кой литературы Аркадий Белинков. Советская литература и искусство десятилетиями создавали мифические портреты великих мира сего, величие которых было столь подавляюще бесспорно, что какие бы то ни было человеческие черты автоматически исключались. Знаменитый бюст Сталина с девочкой на руках — наваждение моего раннего детства, казался апофеозом личностного начала вождя: Сталин, улыбающийся чужой девочке, не мог любить собственных детей, потому что его любовь принадлежала всем и была неделима.

Между тем темные истории о его собственных детях годами тайно блуждали по Москве. Что-то в конце концов оформилось в печатные источники, что-то так и осталось на уровне недомолвок, слухов и сплетен. В особенности это относится к Якову, погибшему в немецком плену, о судьбе которого говорилось — даже в самые последние, «доперестроечные» годы — мало и глухо.

Этот пробел взялся восполнить поэт Николай Доризо. Его драма в стихах так и называется «Яков Джугашвили» и имеет подзаголовок «Быль и легенда». Намерение автора — очистить имя героя, который «еще никем, как должно, не воспет», от домыслов и пересудов, рассказать его истинную, еще никем не рассказанную историю. Но поскольку пишет он все-таки не документальную прозу и не научное исследование, сюжет драмы разворачивается в обстоятельствах, при изображении которых автор не мог не дать волю художественному вымыслу.

Поэт начинает издали, его рассказ «приурочен к скорбной дате»: убийству Кирова. «То было время /Яростных контрастов,/ То было время/ Начинаний всех./Его мотив — И «Марш энтузиастов»,/И скорбный, тяжкий реквием...» Вот в такое непростое время на крупную ленинградскую электростанцию приходит скромный грузин Яков Джугашвили, по воле автора вызывающий подозрения у начальника и парторга станции. Эта парочка опасается, как бы дети врагов народа, окопавшись под их крылышком, «клубок

змеиный свив», не устроили диверсию и не оставили «город Ленина» без света.

Автор использует традиционный литературный прием неузнанности: герой никем не узнан, никто не подозревает в нем сына Сталина. Когда же выясняются родственные связи Якова Джугашвили, парторг Ермаков сходит с ума, произносит саморазоблачительный монолог и прямым ходом отправляет себя то ли в тюрьму, то ли в сумасшедший дом. Ситуация, безусловно, весьма натянутая и явно сконструированная.

Второе действие, написанное в более сдержанной манере и даже с привлечением документальных материалов, начинается 16 июля 1941 года в немецком концлагере, куда привозят попавшего в плен Якова. Мы узнаем об этом из разговора между другими советскими пленными — лейтенантом и генералом. Генерал в отчаянии:

Сын Сталина? Он здесь?

Ведь я же лично сам его направил в тыл,

Чтоб с нами не попал он в окруженье.

А он кого-то в штабе упросил

И ринулся в то смертное сраженье.

Считайте, мы врагу сегодня сдали

Одну из стратегических высот.

Восторгаясь мужественным поведением Якова в плену, автор, однако, отнюдь не склонен подвергать хоть сколь-нибудь критическому осмыслению позицию Сталина, как известно, ответившего на предложение об обмене сына на немецкого генерала: «Я солдат на генералов не меняю». Драма неузнанности автоматически переходит в драму непризнанности. Эта жестокость не обескураживает Доризо, более того, он пытается убедить читателя, что это злое решение далось Лучшему Другу военнопленных не легко:

Кабы он знал, кабы он знал тогда

Под наведенным дулом автомата,

Что, может быть, тогда как никогда,

Любил его отец. Пожалуй, поздно вато.

Вряд ли, однако, современный читатель поверит этим псевдофольклорным восклицаниям, скорее, он согласится с немецким капитаном Штрик-Штрикфельдтом, который убеждает Якова:

**Отцу на вас, простите, наплевать.
Согласен он, чтоб здесь вы сгнили заживо.
Он отказался нашего фельдмаршала
На вас, как мы просили, обменять.
Для Сталина жизнь сына — не резон,
Жизнь сына — это мало, слишком мало!
А вот за Тельмана, как заявляет он,
Отдал бы нам не только генерала,
Всех генералов, всех до одного...**

Главное же в другом: задумав рассказать о бесславно сгинувшем в плену сталинском сыне, Доризо успешно избежал соблазна более внятно сказать о советских военнопленных в немецких концлагерях, брошенных на произвол судьбы собственной страной. И почему-то в памяти вновь встает жуткий бюст с девочкой на руках из моего детства, апокрифическое воплощение отеческой заботы вождя о свои подданных — малых и больших,

ЧТО ТАКОЕ «ДЕДОВЩИНА»

Общеизвестно, что язык подобен живому организму: он развивается, стареет, обновляется, что-то приобретает, что-то теряет. Процесс этот непрерывен, и обычно лингвистам бывает трудно установить точное время, когда то или иное слово вошло в язык — приходится довольствоваться приблизительными данными. А вот странному слову «дедовщина» в этом смысле повезло: оно стало общепонятным и обиходным после появления повести Юрия Полякова «Сто дней до приказа». Конечно, оно существовало и раньше, но, циркулируя в узких и замкнутых армейских кругах, было известно лишь ограниченному контингенту.

Повесть Юрия Полякова посвящена так называемым «неуставным отношениям», в просторечии «дедовщине» — в

переводе на русский язык это означает неписанные правила, по которым новобранцы в казармах, «салаги», попадают в жестокое рабство к старослужащим, к «дедам», солдатам, которым уже «светит дембель».

Издевательства над «салагами» не знают пределов и ограничены лишь изобретательностью «дедов»: молодых солдат можно заставить всю ночь стирать и затем сушить «дедовское» белье, или изображать лошадей и возить на себе своих мучителей посреди ночи, или убирать койки «стариков» — да мало ли чего можно придумать! А за малейшую оплошность — жестокие наказания. И ведь вот что интересно: в издевательствах над «молодыми» усердствуют те, кто всего несколько месяцев назад подвергался тем же мучениям. Глядя на то, как «дед» Зубов, «неутомимый боец за права стариков, похожий на злого поросенка», измывается над «салагой» Елиным, автор предается едва ли не философским размышлениям: «Самое грустное и непонятное заключается в том, что всего лишь через год этот самый насмерть перепуганный Елин станет неторопливо-суровым «стариком» и будет гонять такого же ошалевшего парня — свое сегодняшнее подобие. Мои попытки заступиться за Елина наталкиваются на чугунный ответ: «ничего. Пусть жизнь узнает. Ему положено».

Елин не успевает «узнать жизнь» — он бунтует, своим отчаянным и беспомощным сопротивлением загоняет себя в тупик и, понимая это, кончает с собой.

«Жить в солдатском обществе можно только по его законам», — замечает автор. Любое нарушение этих законов грозит бедой. Однако в представлении двадцатилетних «стариков» логика отношений между ними и новобранцам имитирует логику организации всего советского общества: «На словах у нас одна справедливость, а в жизни — совсем другая! — говорит один из героев. — Ты думаешь, люди на «стариков» и «салаг» только в армии делются? Ошибаешься. Разуй глаза: эти на работу пехом шлепают, а те в черных бугровозах ездят, эти в очередях давятся, а те в спецсекциях отовариваются».

Загнанные в рамки этой реальности, многоопытные «деды» не умеют выйти за них, и даже верша суд над отступником-«дедом», посмевающим заступиться за «салагу», проводят самое настоящее собрание, с голосованием и едва ли не протоколом. Стандарты мышления определены стандартами реальности.

То же по-купрински беспросветно-тоскливое существование в армии, в искусственном провинциальном мирке с жалкими страстями и радостями, где всякий заперт — с большей или меньшей степенью безысходности, — и для офицеров остается лишь одна вожденная возможность — поступить в академию, возникает и в повести Сергея Каледина «Стройбат».

Калединский стройбат находится где-то в Восточной Сибири, в месте, названном автором весьма многозначительно «Город». Сюда в свое время свезли солдат из стройбатов со всей страны, «всю шваль скучивали». Место не такое уж, впрочем, и плохое: «ехали в ад, а попали в рай», главная достопримечательность которого — магазин, где с десяти утра продают молдавскую рассыпуху.

Стройбат у Каледина едва ли не точный слепок лагеря, с блатными законами, блатным языком, блатным отношением к человеку, где процветают воровство, мордобой, наркомания, и уцелеть можно, лишь полностью отказавшись от каких бы то ни было нравственных представлений.

Но одновременно это, как и у Полякова, крошечный сколок настоящего мира, подобие реального советского общества. И самый отвратительный калединский герой, калечащий солдат на «губе», отбивающий несчастным почки и устраивающий развлечения ради «расстрел», с достоинством и блеском вступает в партию. «Ну, вообще в партию вступить сложно. Кроме меня, одного только приняли», — сообщает он своему земляку, которого откровенно и беззастенчиво шантажирует.

Повесть Каледина долго не пропусклась в печать: объявленная в 10 номере «Нового мира» за 1988 год, она была

запрещена по настоянию армейских властей и вышла лишь полгода спустя, в апрельском номере. А появление в журнале «Юность» повести Полякова вызвало огромный поток читательских писем, большую подборку которых опубликовал «Огонек». В основном, это письма родителей, дети которых прошли в армии через «дедовщину», кто-то вернулся домой покалеченным, кто-то не вернулся вовсе. Письма, оставляющие ощущение полной безнаказанности и чудовищного произвола, царящего в армии. А рядом — письма тех, кто устанавливает шаблоны и живет по ним, возмущенные отповеди офицеров, увидевших в повести клевету на «нашу славную армию». Удивительно, что многие из них даже и не отрицают существование «дедовщины», но рассуждения их сводятся к словам комбата из повести Полякова: «Если «дедовщина», несмотря на всю борьбу с ней, существует, значит, это нужно армии, как живому организму».

Так замыкается круг: жизнь поверяет литературу.

ЭМИГРАЦИЯ ИЛИ ЭВАКУАЦИЯ?

Несколько лет назад московский театр им. Станиславского поставил пьесу Виталия Ставицкого «Улица Шолом-Алейхема, 40», пользовавшуюся шумным успехом. Довольно умело скроенная по давно испытанным лекалам, пьеса толковала о семейной трагедии — взрослые сыновья тянут за собой в эмиграцию старых родителей. Брат — инициатор объезда был изображен откровенным приспособленцем и циником, уезжающим якобы по идейным (а на деле шкурническим) соображениям, каковые «успешно» развенчал в обличительном монологе брат положительный, подавшийся на историческую родину исключительно по слабости характера. В конце пьесы отец, бывший комсомолец 20-х годов, не выдерживает и накануне отъезда бросается с балкона.

У Ставицкого эмиграция предстает как совершенно ис-

ключительное явление, абсолютно нетипичное для нашего времени: в семье не без уроды, что ж поделаешь... Напротив, в повести Александра Каневского «Теза с нашего двора», вышедшей в 1989 году в библиотеке «Огонька», подчеркнут массовый характер эмиграции. Автор прямо пишет о том, как в еврейских семьях по всей стране спорили: ехать или не ехать. «Под каждой крышей и за каждой стенкой кипели шекспировские страсти, натягивались до предела и со стоном рвались родственные связи. Граница-трещина раздвигала семьи, раскалывала супружеские постели, разрывала любящие сердца». Уезжали близкие люди, друзья и однокашники, и «мое сердце плакало, невидимые слезы капали в записную книжку, превращаясь в горячие фразы. Но тогда об этом писать было нельзя. Сегодня я это сделал».

Казалось бы, тема эмиграции здесь отнюдь не главная — она возникает лишь под самый конец маленькой повести, в которой весело и тепло, с массой смешных и грустных подробностей, изображена жизнь одесского двора (Каневский — явный выученик одесской школы, его повесть буквально лучится щедрым одесским юмором, правда, часто заемным, вторичным), но по структуре и логике повествования эмиграция — единственный и естественный исход для его героев: другого пути у них просто нет.

Эмигранты Каневского — люди очень привлекательные. Вот милейшее, дружное семейство Фишманов, три взрослых брата с семьями и обожаемая мама. Братья — знаменитый в городе парикмахер, врач и социолог, который и является инициатором отъезда. «Боб у нас верующий, — рекомендует его брат-парикмахер, — соблюдает посты, знает иврит. С тех пор, как услышал слово «жид», в нем проснулось его еврейское самосознание — освоил талмуд и каратэ». В ответ на сентенции типа «Родина там, где ты родился», социолог Борис парирует: «Родина там, где тебя не оскорбят за твое происхождение». Он рассказывает о встрече с киевским киноведом, закоренелым антисемитом,

произносящим погромные речи и выписывающим из «Вечернего Киева» фамилии умерших евреев. А когда брат, не желающий думать об отъезде, язвительно вопрошает: «Ты, социолог, не веришь в прогресс общества?», Боб отвечает: «Я верю в то, что мы всегда были и будем выхлопным клапаном народного недовольства жизнью... Мы виноваты в том, что много алкашей, и что гибнут памятники старины, и что медицина недоразвита... То, что происходит сейчас, даже не эмиграция, а эвакуация...»

Доводилось ли вам, читатель, прежде читать такие вещи в книге, изданной не в Нью-Йорке или Иерусалиме, а в Москве?

Есть такое заезженное критическое клише: «Не все рассказы (или стихи, или что-там-еще) равноценны по своим художественным достоинствам». В данном случае это не совсем так. Представленные здесь книги как раз довольно равноценны по отсутствию в них оных художественных достоинств. Исключение составляет повесть Каледина с его пластичной, выразительной лепкой характеров, с попытками разработки и освоения нового языка. Остальное же — литература отнюдь не первого ряда, это типичные образчики массовой продукции с ее ориентацией на массового читателя, приверженностью к привычному языку и отработанным приемам. И нам они интересны лишь тем, что их авторы нарушили вчерашние табу. Сегодня это еще кажется смелостью, завтра — может обернуться спекуляцией и превратиться в расхожую монету.



Давид АЗБЕЛЬ

ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ

ГЛАВА 8

В череде выдающихся людей, с которыми свела меня жизнь, хотел бы я выделить двух: об одном, Николае Ивановиче Бухарине, уже вкратце рассказал и теперь, снова нарушая плавность повествования, хочу вспомнить другого (о ком я тоже вскользь упомянул) — Христиана Георгиевича Раковского, с которым в 1939 году мы оказались в одной камере печально знаменитого Орловского централа. Глядя на этого больного, изможденного старика, с потухшими глазами, в грязной тюремной робе, трудно было представить, что это и есть знаменитый Христиан Раковский, ближайший соратник Троцкого, чьей биографии достало бы на целую плеяду революционеров.

Раковский родился в 1873 году в Котеле, в семье крупного болгарского помещика из Северной Добруджи, которая отошла под власть Румынии в 1878 году. В революционной деятельности он участвовал с 15 лет.

Окончание. Начало в 104 номере.

Не было ни одной социалистической партии в Европе, в деятельности которой Х.Г. не принимал бы участия. Так же, как не было ни одного мало-мальски известного социалистического лидера, которого бы он не знал лично. Писал он в равной степени свободно на болгарском, французском, немецком, русском, румынском. Кроме этого он знал несколько восточных языков. В камере Раковский писал историю Османской империи и очерки по истории международных отношений XX века. В день он исписывал до двух ученических тетрадей.

— Для кого вы все это пишете? — спрашивал я.

— Не все ли равно. Может, кому-либо и пригодится, — отвечал Х.Г.

Я не чувствовал у него злобы к своим мучителям. Он был философ по натуре, старался больше понять, чем осудить.

В 1923 году, имея как революционер европейскую известность, Раковский примкнул к троцкистской оппозиции и с 1923 по 1927 годы оказался в почетной ссылке. Раковского держали за границей сначала послом в Англии, затем во Франции. Падение Х.Г. было не менее крутым, чем его восхождение. В 1927 году его исключили из партии и отправили в отнюдь уже не почетную ссылку: сперва в Астрахань, затем — в Барнаул.

В 1934 году Раковский покаялся. Его восстановили в партии, дали скромную должность в Наркомздраве. От бывшего Раковского ничего не осталось: он пережил свою славу. Арест в феврале 1937 года и судебный процесс в марте 1938 года были лишь логическим завершением пути пролетарского революционера. Революция пожирала своих детей. Х.Г. был одним из них, одним из наиболее тонких, проницательных и одаренных.

В камере его жалкая стариковская фигура в серо-коричневой форме, на заду которой красовался червонный туз, производила странное впечатление. Трудно было соотносить лик этого изуродованного жизнью человека с тем, что я слышал о Раковском еще до ареста от одной из своих

приятельниц. «Единственный европеец среди нас, неотесанных, барин, настоящий барин во всем. Не чета грубияну Литвинову!» — восклицала она. Временами он вызывал во мне гадливое чувство, даже негодование. Временами мне было жалко этого беспомощного и большого старика, который даже на койку не мог взобраться без посторонней помощи. Меня коробило, когда он заискивал перед каждым вертухаем, когда выпрашивал у лепилы-лекаря лишнюю таблетку или рассказывал, какой курицей кормили его во время процесса.

Х.Г. всегда считал, что сидит в с в о е й тюрьме и поведение его должно быть соответствующим. Не раз он отчитывал меня за нетактичное поведение по отношению к тюремщикам. Вертухаи его не понимали — его заискивание перед ними вызывало у них такое же враждебное чувство, как и у меня. Где-то внутри Раковский, по-видимому, сознавал, что в Орловском центре он долго не протянет. И не потому, что была из рук вон плоха пища, или по 16 часов приходилось находиться на ногах. Нет, он доходил, как говорили блатные «из-за морали». Х.Г. мучила совесть, что он предал самых дорогих для него людей — свою жену и Троцкого. Ради них он пожертвовал слишком многим, но это многое не спасло их от смерти, как, впрочем, и самого Раковского, которого расстреляли в Орловской тюрьме в 1941 году, когда немцы подходили к городу. Об этом я узнал в ЦК в 1956 году, куда меня вызвали для расспросов о Бухарине и Раковском. Хрущев в то время хотел их посмертно реабилитировать.

Христиан Георгиевич плохо помнил, что было вчера на ужин, зато о событиях сорокалетней давности говорил так, как будто они произошли десять минут назад. А прочитанные книги словно лежали перед ним на столе, так свободно и легко он ими оперировал.

От Раковского я впервые услышал, что еще в 1821 году Сен-Симон предвидел превращение России и США в антагонистических гигантов, или узнал, например, что перед

гильотинированием, на вопрос о последнем желании Дантон с улыбкой ответил: «Покажите мою отрубленную голову народу, а мой член отдайте Робеспьеру, потому что он в нем нуждается». — «Умели люди умирать!» — вырвалось у меня. — «Не все ли равно, как умирали?» — равнодушно заметил Х.Г.

Вакханалия террора его не удивляла, он считал, что она присуща любой победоносной революции. Так случилось во Франции, когда после впечатляющей победы над старым режимом третье сословие раскололось и власть захватили якобинцы. Так случилось и в России после Октябрьского переворота в 1917 году. Террор Сталина был для него лишь логическим продолжением террора Ленина.

Я часто спрашивал Христиана Георгиевича об его однопольцах — Бухарине, Рыкове, Крестинском, которых он знал много лет: почему они каялись?

Причину этого Раковский видел не только в Сталине и его «кровавых мальчишках» из НКВД, он искал ее в самом Октябрьском перевороте 1917 года, когда кучка коммунистов-террористов, узурпировав власть, обрекла народ, а затем и саму партию на полную политическую пассивность.

Ответ на этот роковой вопрос Раковский видел также и в характере самих партийных лидеров, которые за годы советской власти полностью переродились. Каменев, Зиновьев, Рыков, Бухарин 1917 года вряд ли узнали бы сами себя спустя десять лет.

Слушая Раковского, я вспомнил с какой легкостью Бухарин предал свою «школу молодых» — наиболее ревностных, талантливых и лично ему преданных людей, как после покаяния троцкистские лидеры, возвращаясь в свои комфортабельные квартиры и роскошные служебные кабинеты, вычеркивали из памяти своих единомышленников — «менее ответственных товарищей», продолжавших сидеть по тюрьмам и лагерям. А чего стоили статьи в «Правде» самого Раковского под броским заголовком: «Не должно быть никакой пощады» — это он писал о своих

старых партийных товарищах — Зиновьеве, Каменеве, Смирнове, Мрачковском. Или статья Пятакова, одного из наиболее выдающихся, по мнению Ленина, лидера: «Не хватает слов, чтобы полностью выразить негодование и омерзение. Это люди, потерявшие последние черты человеческого облика. Их надо уничтожать, уничтожать как падаль, заражающую чистый, бодрый воздух советской страны, падаль опасную, могущую причинить смерть нашим вождам. Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду. Хорошо, что ее можно уничтожить — честь и слава работникам НКВД!»

Что-то в манере лидеров оппозиции (в том, как они отмежевывались от единомышленников) шло от блатных. Не раз мне приходилось в лагере видеть, с каким рвением блатные сами избивали вора, который попался на краже. Они били его и приговаривали: «Не умеешь воровать — не берись!»

По-русски Христиан Георгиевич говорил с неохотой — это живо напоминало ему недавнее прошлое: следствие, протоколы, открытый процесс, обрусевшего поляка Вышинского. Генеральный прокурор говорил без акцента, и это почему-то раздражало Раковского. С русским языком теперь ассоциировались и образные выражения следователей и ночные «задушевные» беседы с самим Николаем Ивановичем Ежовым. Раковский вспоминал, как нарком обращался к нему: «Христиан Георгиевич, не смущайтесь. Пишите! Международная обстановка вынуждает добиваться от вас таких показаний. Надо! Надо, Христиан Георгиевич! Партия и лично Иосиф Виссарионович требуют этого. Сегодня я заставляю вас писать, завтра кто-нибудь другой заставит меня. Такова жизнь, как говорится на любимом вами французском».

Предчувствовал ли Ежов в зените власти близость фатальной для него развязки? Раковский считал, что да, для этого у него ума хватало.

Блатные, сидевшие с нами в одной камере, Христиана

Георгиевича не обижали — возможно, из-за возраста, а возможно — начальство предупредило не трогать. Иногда наши сокамерники Абрам и Гриша пытались ввязываться в наши разговоры о 37-м годе. Мы плохо понимали их «феню», они плохо понимали наш язык, язык «Сидор Поликарповичей», как они величали интеллигенцию. Однажды, слушая наш разговор о процессе над правыми и троцкистами, Гриша обратился к Раковскому:

— Скажи, батя, почему всем твоим поделщикам вышка врезали, а ты вроде боком прошел? Заложил, что-ли, всех?

Раковский нахмурился, долго молчал — вопрос, видимо, ему не понравился, затем сказал:

— Закладывать было некого — все давно были заложены и перезаложены. Меня хорошо знали в Европе — это, наверное, и сохранило мне жизнь.

Раковский рассказал мне, почему только после восьми месяцев допросов он начал давать показания, которые устраивали следствие*.

По его словам, летом 1937 года он узнал от следователя о вторжении Японии в Китай и об успехах германо-итальянской интервенции. Это произвело на него такое впечатление, что он внял советам Ежова и начал давать «чистосердечные показания».

Нет, тогда он мне не сказал правду, узнал я ее за месяц до моего освобождения из Орловского централа, 13 марта 1941 года. Оказывается, первые восемь месяцев Раковского вообще не допрашивали, а медленно и систематически готовили в агенты. По сценарию НКВД Христиан Георгиевич должен был совершить побег за границу, появиться у Троцкого. Перспектива очутиться в свободном мире взамен тюрьмы улыбалась, но цена была высокой — Х.Г. должен был оставить жену в качестве заложницы.

* Много лет спустя я обнаружил, что он слово в слово пересказал мне то, о чем говорил на судебном разбирательстве.

Долго и подробно обсуждался план «побега». Когда переговоры дошли до цели — до операции убийства Троцкого, Раковский наотрез отказался. Не мог он принять участие в убийстве своего лучшего друга. Отказ Х.Г. не изменил участи Троцкого — смертный приговор ему был уже вынесен. Не случайно Раковский в своем последнем слове на процессе сказал: «Троцкий и за мексиканским меридианом не укроется от той полной, окончательной, позорной для нас всех дискредитации, которую мы все здесь выносим».

Только после отказа стать агентом-provokatorом началось по настоящему следствие у Х.Г. Он стал давать показания, поверив заверению Ежова, что жену его не тронут. Как всегда, Ежов «сдержал» свое слово — жену Раковского видели в одном из лагерей, где она и погибла.

ГЛАВА 9

После XVI съезда Сталин сделал все, чтобы отделить Бухарина от его учеников. Одного за другим он выдергивал их, изолировал от «мэтра», рассылая по различным областным городам. Кое-кого перекупил, как Стецкого, сделал его заведующим отделом агитации и пропаганды ЦК партии. Дав возможность Сталину расправиться со своей школой, Бухарин сам себе подписал приговор еще в 1930 году.

Одним из первых получил путевку на периферию Слепков, которого вождь выдворил в Самару.

Я был на проводах дяди Саши. Настроение у всех было подавленное. Говорили мало, больше пили. Вышли от Слепкова поздно ночью. Я провожал Адю Свердлова и Диму Осинского до Кремля.

— И когда наступит конец всему этому? — произнес вслух Дима. Весь вечер он молчал, сосредоточенно пил.

— Конца не будет, можете жаловаться, — отпарировал Андрей.

— Но выход где?.. Где выход? — продолжал бурчать себе под нос Осинский.

— Выход один — нужно Кобу кокнуть! — заявил вдруг молодой Свердлов.

Хмель как рукой сняло. На улице Грановского не было ни души. Охрана вождей спокойно резалась в домино в проходной Пятого дома. Никто нас не сопровождал, и все же мне стало не по себе; «Ничего не слышал, ничего не помню, никого не знаю!» — воскликнул я. Понимал, такие речи к добру не приведут. Надо было от всего этого уйти, но куда? Постараться забыть, пока не поздно, но как?

Все реже и реже я теперь появлялся в Кремле, у Андрея и Димы. Под благовидными предложениями уклонялся от царского биллиарда в доме Молотова, где в хрустальных вазах красовались изысканные фрукты, а в баре коллекционные вина. А ведь это было в 1930 году, когда в Москве хоть шаром покати — уже несколько лет была введена карточная система.

Без сожаления отказался я от кремлевских удовольствий, не захотел за них платить. Печенкой чувствовал, что цена будет немалая.

Витю Белова тоже услали из Москвы, вслед за Слепковым. Для нашего «Наполеона» была уготована вместо Эльбы Пермь. Карьера его оборвалась. В девятнадцать лет он стал директором большого зерносовхоза, поставил не на ту лошадку и проиграл.

Встретил я Белова вновь в 1934 году, когда он вернулся из ссылки. Несмотря на несходство взглядов, нас по-прежнему сближала тяга к самостоятельным заключениям, у обоих не было почтения к авторитетам.

В сентябре 1930 года я окончательно перестал встречаться с молодым Свердловым и Осинским, отныне я не разделял их интереса к удачливым и неудачливым вождам.

Глобальные афоризмы меня больше не интересовали. От всего этого, конечно, можно было уйти, но как было уйти

от жизни простых людей, от их страданий, которые я видел повсюду.

«Чтобы начать индустриализацию, нужно ускорить коллективизацию», — писали газеты. О том же истошно надрывалось радио. Но узнавал я об этих великих народных бедствиях не из газет и не по радио, а когда в качестве практиканта стал работать на Воскресенском, Бобриковском и Березняковском химкомбинатах. Видел там если не коллективизацию, то ее ужасные последствия: видел «раскулаченных» крестьян, умирающих, как мухи, от холода и голода, видел, как в глубоком мраке колоннами гнали на работу этих ограбленных, изнуренных и раздетых людей. Это они в заснеженных котлованах, теряя сознание от стужи и голода, закладывали фундамент социализма.

Рабочим было все же немного легче. Я жил вместе с ними в полузамерзших бараках. По утрам мы растапливали лед, чтоб умыться. Шли в столовую, тщетно искали в баланде селедочные хвосты и головы. Заедали сырым, вязким, как глина, хлебом, прихлебывали горячую мутную бурду, называемую чаем. Бежали на работу. Что поделаешь, страна требует — и н д у с т р и а л и з а ц и я !

Для начальства и заграничных специалистов были хорошие, благоустроенные дома, закрытые магазины, столовые, откуда всегда доносились раздражающие запахи.

Домой с работы возвращаться не хотелось. Что там нас ждало, кроме холода, грязи и клопов? Иногда удавалось достать водку (на стройках был сухой закон), пару луковиц и несколько картофелин, и начинался праздник! Грелись часто на пару, под кровать ставили ведро с водой, опускали туда консервную банку, присоединяли провода — получался «электронагреватель». Постель становилась теплой и влажной. Утром высвобождали горе-рационализаторов, одеяла которых за ночь накрепко примерзали к железной койке.

Главными на стройке были такелажники, которые по пузо в грязи тащили на себе оборудование на сотни метров,

устанавливали на фундамент вручную. Никакой механизации, все делалось «на пердьячем пару», как обычно выражались на стройке. Уже тогда, на втором курсе вуза, начинал я понимать, что значит индустриализация по-советски. Но студенты не смели высказывать свое недовольство, ибо были под постоянным наблюдением недремлющего партийно-комсомольского ока.

В памяти оставались еще недавние процессы инженеров-вредителей: Шахтинский и Промпартии, после чего большевики стали растить своих инженеров, пусть плохоньких, но своих. Чтобы не вылететь из института, приходилось быть «своим»: за все голосовать, подписывать невыполнимые сообразительности, ловко притворяться. До того порою входили в роль (нас постоянно инструктировали: «Перед рабочими нельзя быть нытиками и маловеерами»), что даже не замечали своего притворства. Когда все же становилось невмозможным, особенно, если были «на взводе», то любили рассказывать анекдот про попугая-оптимиста: «Попка знал всего одну фразу: «Ух, как хорошо!» Однажды, сквозь сон хозяин попугая услышал: «Ух, как хорошо! Ух, как хорошо! Ух, как хорошо! Ух...ух...ух!» Когда хозяин наконец продрал глаза, то увидел, как кот заканчивал «освобождение» попугая от перьев. Хозяин в эту ночь был пьян и забыл закрыть клетку». Не очень смешной — скорее жутковатый это был анекдот.

В Москву после практики я возвращался, как на курорт, вспоминая об индустриализации, как о кошмарном сне. Сам я тягот первой пятилетки не чувствовал. Голод и лишения были уготованы для народа, а я, хотя и боком, но все-таки принадлежал к э л и т е, жил в семье членов правительства, пользовался всеми их благами. Для элиты существовал ГОРТ литер «А» (официальная расшифровка этого кабалистического знака «Государственное Объединение Розничной Торговли», а фактически — продуктовые и промтоварные магазины для правительства). В Москве в те годы шутили: человек звучит ГОРТ «А». Почти как у Горького!

Кроме ГОРТ «А» была и кремлевская столовая, откуда мои тетя и дядя приносили на завтрак и ужин фунт черной икры, круг копченой колбасы, штуку балыка, масло, белый хлеб, фрукты. Хватало с избытком на нашу большую семью, даже оставалось. Когда ко мне приходили друзья, я угощал их, и это тоже сохранилось в памяти.

«Помнишь, как ты кормил нас бутербродами с черной икрой? — начинались воспоминания. — Помнишь! Помнишь!» — перебивали друг друга друзья студенческих лет, если чудом удавалось выжить и встретиться после реабилитации. Но не очень-то часто встречались, не слишком многие «оттуда» вышли!

Последние пять лет до ареста я вел довольно легкомысленный образ жизни — наслаждался! Всевышний, видно, знал, какие испытания меня ждали впереди, и дал мне возможность вкусить все прелести бытия, набраться сил, чтобы пройти несломленным через годы тяжелых испытаний.

С 1930 года у меня появились новые друзья. Это были дети среднего ранга сановников и крупных беспартийных специалистов. Лето они обычно проводили на дачах у своих родителей, в нашем поселке «Сибиряк-подпольщик». Поселок был расположен между станциями «Кратово» и «Отдых» по Казанской железной дороге, близ Москвы. Новых моих приятелей мало интересовала политика. Зато они знали толк в винах, умели выискивать красивых девушек и, что всего удивительней, даже умных. Нельзя сказать, что мои новые друзья принадлежали к кругу безнадежно пустой золотой молодежи. Отнюдь! Они хорошо учились, были не чужды поэзии, любили музыку, живопись, театр. Но говорить о том, что творилось по ту сторону их узкого мирка, было не принято, на это было наложено молчаливое табу.

Зимой каждую неделю собирались на вечеринки: танцевали, варили глинтвейн, целовались. Все было! Ведь старшему из нас едва минуло 23 года. Девушек привози-

ли со стороны: таких, какие нам нравились, в нашем кругу не было.

Под выходной часто выезжали на дачу — подальше от шума городского. При лунном свете катались на лыжах, жгли костры. И, конечно, до упаду танцевали под сладкие и зовущие ритмы танго и блюзов. Летом компанией шли купаться на Москву-реку или Кратовское озеро. Под вечер был обязательный волейбол на даче у писателя Феофиста Березовского. Это был своеобразный клуб, где собиралось много разного народа. Кто играл, а кто глазел — и на игру, и на наших пришлых девочек.

Среди шумной ватаги дачных друзей особенно пришелся мне по душе Марк Готман, сосед по даче, студент. Мне нравилось, как деликатно и умело он ухаживал за девушками, как тщательно скрывал свои победы, никогда не компрометировал возлюбленных. Было приятно проводить с ним время — добрым, порядочным, отзывчивым, решительным. Круг интересов Марка был обширен. Он много читал, хорошо разбирался в политике и в то же время презирал политику всеми фибрами души. Считал: политика — сфера деятельности подлецов.

У меня с Марком, как и у всяких холостяков-студентов, завелись две подружки-мещаночки. Та, что жила в Колошином переулке, на Арбате, Люся, была «моя», а та, что на Воронцовской улице, близ Таганской площади, Руфина — «его». Мы прекрасно проводили с ними время. Девушки были малоразговорчивы, нежны и нетребовательны, а, главное, уступчивы. Чего же лучшего было желать в нашей холостяцкой жизни? Не раздражали они нас и покушениями на более глубокое чувство, о существовании которого они, пожалуй, не подозревали.

Вот так и жили день за днем, вечер за вечером, легко и бездумно, как божьи одуванчики. Ах, как хотелось уйти от чего-то зловеще и неумолимо надвигавшегося на всех нас... И как замечательно отвлекали нас приезжие наши девушки, да вот те же Люся и Руфина, легкие и ни на что не претендующие.

Вскоре, однако, случилась у меня другая встреча, оставившая неизгладимое впечатление в жизни. Произошла она, впрочем, совершенно неожиданно, в том же Кратово, летом 1931 года.

Как-то на волейбольной площадке я увидел похожую на цыганку, необыкновенно красивую, хоть уже и начинающую седеть женщину. Сидела она на скамеечке, в стороне от всех, в разговоры не вступала, во всем ее облике было что-то необычное, интригующее.

— Познакомься, Додя, это моя мама, — сказал Лева Сосновский, товарищ моего кузена.

— Ольга Даниловна, — представилась она и протянула мне руку.

Выяснилось, что она недавно возвратилась из Сибири, где отбывала вместе с мужем, Львом Семеновичем Сосновским, и тремя сыновьями ссылку в Барнауле. Когда Сосновского увезли из ссылки в тюрьму, в Томский политизолятор (после выдворения Троцкого за границу Лев Семенович возглавил троцкистское подполье), семье его решили вернуться в Москву. Старую квартиру Сосновским не вернули. До ссылки они жили сначала в Кремле, затем в Пятом доме советов. К счастью, у них оставалась в нашем поселке дача, так что было куда приехать.

Первый год после возвращения Ольга Даниловна жила тяжело, много хуже, чем в ссылке. Была это мужественная женщина. Холодная, полупустая дача, постоянные болезни детей, отсутствие работы и средств к существованию ее ничуть не сломали. Словно выполняя ответственное партийное поручение, она с гордостью, не обращаясь за помощью, носила на себе воду, таскала из Москвы продукты, часами дожидалась приема у врача в поликлинике. Жила так, как живут обычные, рядовые люди в Подмосковье, не дачники, конечно. И совсем не роптала, что вместо Кремля ей досталась заснеженная дача под Москвой и «рацион второго года пятилетки».

Ни одна из моих бывших девушек не вызвала чувства,

которое я впервые испытал, встретив Ольгу Даниловну. Была она для меня живым воплощением некрасовских «Русских женщин», поехавших за своими мужьями в Сибирь.

В Москве еще не забыли, что совсем недавно Ольга Даниловна жила в Кремле. И многие готовы были оказать внимание жене «заслуженного партийного товарища», показать, что помнят ее и в беде. Но Ольга Даниловна была необыкновенно горда: помощи ни от кого не принимала. Исключение составлял лишь Сырцов — председатель Совнаркома РСФСР — старый друг О. Д. со времен гражданской войны в Сибири. Сырцов помог Ольге Даниловне перебраться в Москву, не побоялся дать ей квартиру во дворе дома Совнаркома на Новинском бульваре. Правда, была это всего-навсего плохонькая сторожка, состоявшая из двух небольших комнат. Но это была Москва и в доме было тепло!

О. Д., с ее прекрасным, слегка скуластым лицом, иссиня черными волосами и искрящимися карими глазами, надолго стала для меня идеалом женской красоты.

Однажды мы остались на даче одни, читали стихи при свете керосиновой лампы. (Свет был отключен на зиму, чтобы за него не платить.) И так без слов, без объяснений случилось то, что не могло не случиться. Любовь нашу мы держали в тайне, ибо были связаны многими условностями. Я всегда опасался, как бы не воспользовались нашими отношениями политические противники ее мужа, и как бы Ольга Даниловна не стала жертвой шантажа. Мы старались с ней редко появляться на людях. Многие знали О. Д. в лицо, а тут еще случилась история с Михаилом Кольцовым — она дала ему оплеуху при всех в театре оперетты. После этого нельзя было появиться уже нигде с ней — сразу указывали пальцем: «Вот она, современная Шарлота Кордэ!»

Я встретился с Михаилом Кольцовым в 1928 году: он написал обо мне фельетон в «Правде» — «Давиды и Голиафы». Тогда мне Кольцов ужасно не понравился. Чувство-

валось в нем что-то трусливое, подлое, скользкое. Поступок О.Д. мне был понятен, но я не удержался и спросил:

— За что?

— Значит, заслужил! Нечего было врать, что я домогаюсь его помощи.

Я представил себе маленького пучеглазенького Кольцова, ищущего по паркету сбитые нелегкой рукой очки. Я был горд за свою О.Д., но вслух этого не высказал. Опасался, как бы моя похвала не подзадорила ее к дальнейшим, еще более смелым действиям. Кандидатов для этого было более чем достаточно.

Еженедельно к Ольге Даниловне шли письма от мужа. Каждое из них было шедевром эпистолярного стиля, содержало тонкий анализ многих явлений тогдашней жизни. Я диву давался, с каким искусством Сосновский продирался сквозь тюремную цензуру. Но вот в его письмах все чаще стало упоминаться мое имя. Сначала как бы невзначай, затем появилась тревога и даже ревность этого стареющего и беспомощного человека. Я никогда не читал того, что писала ему О. Д., но почувствовал, что Лев Семенович все понял. В одиночке у него было достаточно времени, чтобы проанализировать каждую строчку, каждое слово из ее писем.

Между тем, в начале 1933 года в стране стало ощущаться некоторое облегчение. Страдания первой пятилетки и ужасы коллективизации уходили в прошлое. Сталин уже достиг полной политической победы и мог себе позволить роскошь, проявить великодушие. После покаяний лидеров оппозиции он стал их возвращать из ссылок и тюрем. Вчерашним партийным сановникам хотелось назад, в теплые и комфортабельные московские квартиры, к своим помпезным кабинетам, к кремлевской столовой, к закрытым распределителям.

Только два лидера троцкистов не приняли участия в хоре «кающихся грешников». Это были Сосновский и Раковский. Одного из них держали в одиночке, другого — в ссылке.

Я уже писал, что симпатий к троцкистским лидерам у меня не было. Но передо мной был живой человек, муж близкой мне женщины. Я восхищался его мужеством и ясностью ума, понимал, что причиняю ему большую боль, и мне захотелось искупить свою вину перед ним.

Я понимал, что все зависело от Ольги Даниловны. Захоти она, и Сосновский был бы снова в Москве и снова допущен к газетной и писательской работе. Но как было воздействовать на О.Д., которая могла счесть, что я хочу от нее отделаться. И все же я решился; «Вы Дон Кихоты! — как-то воскликнул я. — И деятельность ваша никому не нужна и тебе в первую очередь!» — выдал я из себя эти обидные для О. Д. слова.

— И что же ты посоветуешь мне в таком случае?

Она произнесла это с таким видом, что трудно было понять, серьезно она говорит или издевается.

— Повлиять на Сосновского! Пусть напишет письмо Сталину. — Мы переглянулись. Я понял: этого она от меня и ждала.

— Если тебе это очень хочется, я напишу Льву Семеновичу.

— Писать не надо. Нужно поехать.

— Но кто меня к нему пустит?

— Поговори с Молчановым. Он будет рад встретиться с тобой.

Как я и ожидал, начальник СПО* Молчанов принял О. Д. с распростертыми объятиями. Он не раз пытался через жену воздействовать на Сосновского, но старания его были тщетны. А тут она сама явилась на помощь органам.

Накануне ее отъезда в Томск, я встретил О.Д. Мы стояли в темном подъезде ее дома. Не знаю, сколько бы длилось расставание, если бы не помешали чьи-то шаги. Мы отпрянули друг от друга, и О.Д. быстро привела себя в порядок. В светлом квадрате двери я увидел ее лицо, оза-

* Секретно-политический отдел НКВД.

ренное улыбкой, запомнившееся мне на всю жизнь.

Через неделю, поздно вечером, раздался телефонный звонок. Голос О. Д.:

— Давид Семенович! Я приехала с мужем. Когда можно с вами увидаться?

Она говорила холодно и официально.

— Хоть сейчас!

Я встретил О. Д. возле ее дома, на Новинском бульваре. Мы долго бродили по ночной Москве. Прошли по Арбату к Гоголю, укутавшемуся в свою бронзовую шинель, гуляли по бульварному кольцу. Вспоминали. Старались как могли отдалить час разлуки. Не было слышно уже гула трамваев. Близился рассвет. Когда я расстался с О.Д., на сей раз навсегда, город был пуст и мертв.

От друзей слышал я, что Лев Семенович был обласкан самим хозяином и зажил с женой прежней, великосветской жизнью.

Зная, однако, характер Сталина, сама Ольга Даниловна рассматривала свое новое положение, как передышку. Новых знакомств не заводила, а к старым не испытывала особого доверия. Бывшие товарищи по оппозиции обходили О. Д. стороной.

Сосновский начал работать в «Известиях», где редактором был Бухарин, его старый приятель и коллега по «Правде». «Чаи распивать — время неподходящее! — мрачно шутила О. Д. — Наше дело — отдохнуть перед дальней дорогой. Мы люди государственные: куда повезут, туда и поедем!» Она подозревала, что Сосновского свели с Бухариным не случайно. «Придумают какую-нибудь новую право-троцкистскую хреновину!»

Спустя несколько лет, на следствии мне упорно старались навязать связь с О.Д. — и интимную, и политическую. Я отрицал и то и другое. Тогда следователь Горбунов* показал мне протокол, подписанный Ольгой Данилов-

* О нем я еще буду писать.

ной, в котором она подробно рассказала о наших с ней отношениях.

— Вот видишь, падлюка, даже в таких делах правду у тебя не вытянешь! — мрачно произнес следователь.

В лагерях и тюрьмах я упорно старался хоть что-нибудь узнать о судьбе Сосновских. Поиски были тщетны. И лишь однажды, в Орской ИТК, я получил письмо треугольничком. В таком «оформлении» письма с воли не приходили. Это пришло из лагеря в Челябинске, от среднего сына Ольги Даниловны — Володи. Помнил я его двенадцатилетним, похожим на цыганенка мальчуганом (по матери Ольга Даниловна тоже была цыганкой), который с раннего детства мечтал быть писателем. Володя писал мне, что попал в лагерь из цыганского табора за случайное убийство любовницы. После ареста родителей его ждал детдом. И вот, чтобы избежать его, он ушел в цыганский табор. Цыгане не выдали, кем был он на самом деле.

Вернувшись в 1956 году в Москву, я встретил другого сына Ольги Даниловны, Леву Сосновского, который когда-то меня с ней познакомил. Теперь он носил фамилию Лобков — своего настоящего отца, героя гражданской войны в Сибири. Помог сменить фамилию Емельян Ярославский. Это и спасло Леву от лагерей и всяких неприятностей, которые ждали сына известного «врага народа». С Ольгой Даниловной Лева поддерживал связь до самой ее смерти. Она жила в ссылке в Алтайском крае и умерла там в 1949 году. Лева погиб два года тому назад в Москве, разнимая пьяную драку на улице. Вот так закончила свой жизненный путь знаменитая семья Сосновских.

Мой разрыв с Ольгой Даниловной совпал с окончанием института, я стал инженером-механиком. Мой дядя, у которого я по-прежнему продолжал жить, был в то время Государственным Арбитром СССР и по делам службы тесно соприкасался с морскими пароходствами. Я решил воспользоваться его протекцией, чтобы при первой возможности распрощаться со своей любимой родиной.

Получив направление от Наркомата морского флота, я выехал в Ленинград. Но, как оказалось, направление Наркомата мало что значило: разрешение на заграничное плавание выдавал НКВД. На эту фирму мой дядя имел мало влияния. Приходилось ждать. Авось повезет. Жил я в Ленинграде на Невском проспекте у Пирятинского, директора стоматологического института. Это был удивительно ловкий и удачливый человек. Его любили и жаловали все: царь Николай II, Распутин, Керенский, Зиновьев, Киров. Я видел их благодарственные отзывы и ценные подарки в его квартире-музее, где прожил более месяца. Два раза в неделю я наведывался в управление порта — не пришло ли разрешение? Не понимал я, что таких мальчиков, как я, даже со связями за границу не выпускают.

Мой приятель Марк Готман был рад моему возвращению, рад был и моему разрыву с О. Д., которую он недолюбливал, считая, что она принесет мне несчастье.

Осенью 1933 года я поступил в аспирантуру. Научным руководителем стал у меня отец Марка, профессор Готман. Артистическая внешность моего профессора как-то мало вязалась с его скромным и застенчивым характером. Не будь у него такой жены, как Саретта Марковна, пышная и на редкость энергичная брюнетка, застрял бы папа-Готман на вечные времена в Томском технологическом институте в Сибири.

Саретта, дочка богатого лесопромышленника, влюбилась в своего будущего мужа еще в последнем классе гимназии. Ей нравился он: такой большой, сильный и всегда послушный бедный студент. Она сразу уверовала в его талант, и с годами эта вера становилась все яростней, вдохновляющей не только ее, но и мужа. Готман любил свою Саретту, красивую и всегда кокетливую женщину. Но любовь к ней у него со временем менялась. То, что он когда-то считал главным в любви, становилось второстепенным, а казавшееся незначительным, заняло место главного.

Предприимчивая Саретта, зная характер мужа, взяла на

себя функцию ракетоносителя. Она привезла его в Москву, достала квартиру, занимала дачу у нас в поселке, сделала из Готмана профессора, а затем и директора научно-исследовательского института. Это она устраивала мужу почти каждый год поездки за границу.

Мне казалось иногда, что папа-Готман не выдержит слишком уж земного и расчетливого характера своей жены. Но они хорошо дополняли друг друга и жить порознь не могли.

В преклонении перед сильными мира сего и величайшем послушании прошла вся жизнь профессора Готмана. Он за все голосовал, подо всем подписывался, клеймил кого надо позором. С его мягким, как воск, характером нетрудно было приспособиться. Он даже не замечал своего притворства и искренне гордился, что всегда стоял за «генеральную линию».

При всем при этом, Елиазар Вениаминович Готман был неплохим ученым и инициативным инженером. Нисколько не хуже, а то и лучше тех, кто, как и он, примкнул к коммунистам и в погоне за жизненными благами позабыл принципы общечеловеческой морали.

Одной из первых моих работ под руководством профессора Готмана было создание портативной печатной машины для армии и нелегальных компартий. Изготовление ее было поручено Болшевской коммуне НКВД. Мне, как осуществляющему авторский надзор, пришлось на некоторое время перебраться в это уникальное учреждение, детище самого наркома Генриха Ягоды.

Болшевская коммуна находилась в 30 километрах от Москвы по Северной железной дороге в живописной лесной местности. Чекисты построили там хорошо спланированный городок, так что даже иностранцам показать его было не стыдно. Для трудового перевоспитания преступников воздвигли несколько фабрик, где выпускали различного вида спортивный инвентарь. Городок выглядел необычайно картинно — кругом цветы, тщательно ухоженные газоны. Ничего похожего не доводилось мне видеть

даже на самых передовых московских заводах.

Обитателей коммуны, в прошлом заслуженных уголовников (меньше чем с тремя судимостями в коммуну не брали!), собирали отовсюду. Их выискивали в лагерях, тюрьмах, воровских притонах, даже умудрялись привозить из камеры смертников. Вербовщики, сами в прошлом известные воры, были наделены особыми полномочиями лично Ягодой. Они могли единолично и немедленно освободить любого уголовника и привезти на перевоспитание в Большевскую коммуну. Естественно, от желающих сюда попасть не было отбоя.

В стране царил голод, карточная система, а коммуна же выглядела, как рай земной: никакой охраны, даже милиции в городке не было.

Попадавшие в коммуну воры, как правило, «завязывали», начинали честно трудиться. Но были и такие, кто в выходные дни ездил на промыслы в Москву. Если они попадались, их сразу же отпускали: было указание свыше коммунарков не трогать. Правда тех, кто слишком часто заимствовал у ближнего, все же из коммуны отчисляли и отправляли на довоспитание в тюрьму. Но это случалось редко. Коммунары жили, как они выражались, «кучеряво», в хороших, благоустроенных квартирах, у них были прекрасные заработки, красивые жены. Многие из блатных оказывались примерными мужьями.

Создавая коммуну, чекисты преследовали, однако, свои особые цели: они хотели показать всему миру, что они могут не только карать, но и успешно перевоспитывать. И даже самых закоренелых преступников!

За три месяца, что я прожил в Коммуне, не проходило дня, чтобы ее не посетила какая-нибудь иностранная делегация и не оставила бы восторженного отзыва в книге посетителей. Особым благоволением пользовалась коммуна у Горького, который там не раз бывал и часто приглашал коммунарков к себе.

Мне как-то довелось присутствовать на инструктаже

перед походом к Горькому. Коммунарам усиленно внушали, чтобы они, не дай бог, не вздумали чего-либо унести из дома писателя, как это случилось при встрече с Ромэном Роланом, когда один из проверенных коммунарков не удержался и прихватил шубу жены писателя.

Коммунары вызывали у Горького старческое умиление. Писателю, воспевшему дно предреволюционной России и населявшему свои книги часто надуманными персонажами, пришлось по душе трудкоммуна для преступников — эта потемкинская деревня НКВД.

У Горького было особое отношение ко всякого вида обманам. Он сам любил разыгрывать людей, был без ума от ловких жуликов и проходимцев, лгал, как ему казалось, из сочувствия к горю других. И не случайно последние свои дни Горький часто проводил в чекистских компаниях во главе с Генрихом Ягодой.

Еще на заре своей писательской деятельности он предпочитал жестокой правде жизни возвышающий обман. Истинный герой его пьесы «На дне», принесшей ему мировую славу, — лгун и фантазер Лука.

Горький не хотел, а может быть, и не мог возвысить свой голос в защиту миллионов людей, ставших жертвой беспощадного сталинского террора. Вместо этого он создал миф о чекистах-воспитателях. Коммунизм стал для него тем обманом, который призван облегчить беспросветное прозябание советских людей.

В Болшеве я жил в доме у управляющего коммуной, который предоставил мне одну из многочисленных комнат своего обширного имения. Семья управляющего находилась в Москве и приезжала к нему только на лето. Оказавшись в этих условиях, я имел возможность поближе познакомиться со многими большими и малыми «начальничками», как обычно называли коммунары администрацию Болшева.

Особенно запомнился мне Алексей Погодин, заведующий производством, в прошлом самый выдающийся «мед-

вежатник» (взломщик сейфов) России. Поражал он аристократической внешностью и изяществом манер. Сын служащего Русско-Азиатского банка в Ростове-на-Дону, он, еще будучи гимназистом, решил, что лучший способ добывать деньги — это выковыривать их из сейфов, подобно тому, как мальчик из анекдота добывал изюм, выковыривая его из сдобных булок. В своей «банковской» деятельности Погодин достиг исключительной виртуозности и к моменту революции считался общепризнанным авторитетом не только среди уголовного мира, но и в полиции.

Когда белые уходили из Ростова-на-Дону, Погодин решил двинуться вместе с ними. В голодной России ему делать было нечего: очищая коммунистические сейфы, миллионером не станешь. Перед отбытием за границу, он решил «обработать» банк, но на этот раз операция шла неудачно, сейф не поддавался. Тогда Погодин, не привыкшей слепо подчиняться судьбе, вышел из банка и, остановив проходящий взвод солдат, приказал им вынести сейф и погрузить его на сани. Команда была выполнена, так как Погодин был в форме армейского капитана.

Очувшившись за границей с небольшим капиталом, Погодин понял, что работать по его «специальности» в Европе значительно сложнее. Но вскоре наступил нэп, который он расценил, как «приглашение к танцу». В России снова закипела жизнь, появились магазины, фирмы, банки.

В течение года Погодин действовал более чем успешно, и стилем его «работы» заинтересовалось ГПУ. Чекисты пришли к заключению, что так вскрывать сейфы могут два человека: Погодин и Погребинский. Но Погодин, по их данным, проживал во Франции, а Погребинский сменил свою специальность «медвежатника» на должность начальника Нижегородского краевого управления ГПУ.

Когда Погребинскому продемонстрировали вскрытые по его методу сейфы, он тут же согласился, что так могут работать только он или Погодин.

Чтобы спасти себя, Погребинскому не оставалось ни-

чего другого, как любыми путями найти Погодина. В результате трехмесячных поисков ему удалось изловить своего бывшего партнера и доставить его во внутреннюю тюрьму на Лубянке.

После вынесения смертного приговора коллегией ГПУ, Погодин еще долго сидел на Лубянке, много читал, восполнял свое образование. Однажды к нему в камеру пожаловал сам Дзержинский, который долго беседовал с ним о литературе и философии. Приход в камеру столь высокого гостя был плохо объясним, но не оставалось сомнений, что Дзержинский имел на то свои особые причины. Через неделю загадка разъяснилась — чекист номер один предложил Погодину принять участие в организации трудкоммуны для молодых преступников. Дзержинский понимал, что Погодин, с его умом, опытом и тактом сможет сделать то, что не под силу ни одному из его сотрудников.

Погодин принял предложение председателя, да, собственно, у него и не было выхода: скажи он — нет, и его счета с жизнью были бы покончены.

...После ночного обхода цехов Погодин часто заходил ко мне на огонек. Я чертил у себя в комнате обычно до часу ночи и всегда был рад его ночным визитам. С ним было легко, он мог быть необычайно веселым, остроумным. Его нельзя было назвать просто везучим человеком, его успех в жизни был оплачен тяжелыми испытаниями. Для Погодина не существовало авторитетов, он сам строил сюжет своей жизни еще, пожалуй, с помощью книг. Его рассказы очевидца о последних годах царствования Романовых, о гражданской войне и эмиграции были красочны и лишены всяких штампов, которыми была полна в те дни периодика. О великих и малых людях он говорил просто, как о соседях по квартире. Слушая его, я понимал, как год за годом простые люди делали то, что сами они никогда не называли историей.

Когда я познакомился с Погодиным, он начинал заново

делать свою биографию. Именно биографию, а не карьеру, потому что заботился о внутреннем содержании своей жизни, а не о ее внешних, суетных проявлениях. Погодин довольно равнодушно принимал блага жизни, которые свалились на его голову в связи с его новым амплуа. К достатку, как и к лишениям, — говорил он, — люди быстро привыкают и перестают ощущать материальное благополучие как благо.

В отличие от пролетарского гуманиста Горького, он не считал, что преступники в коммуне перековывались, а видел в каждом из них дикую злобу, оскорбленное самолюбие, зависть... Видел, как чекистам удавалось растлевать и без того растленные души бывших блатных. За любую тряпку они готовы были предать лучшего друга. Погодин не мог не чувствовать их ненависти к труду, полного отсутствия интереса к полезной деятельности.

Коммуны для преступников просуществовали недолго. После ареста Ягоды, в 1937 году, я встретил многих коммунаров в Бутырке. Они, как ягдовские ландскнехты, были осуждены за террор. Страшна была их участь в лагерях. Даже «суки», сотрудничавшие с лагерной администрацией, встречали их лютым боем. Они мстили коммунарам, как могли, и при первом удобном случае убивали их. Погодин до лагерей не доехал — его расстреляли на Лубянке.

ГЛАВА 10

Встреча наша произошла неожиданно. Я возвращался поздно вечером с дачи домой. Сидел у открытого окна вагона и любовался мелькавшими мимо перелесками. В вагоне, кроме меня, было еще два-три человека. На одной из остановок вошла стройная, привлекательная блондинка и села напротив меня, у окна, хотя в вагоне все места были свободны. Я с трудом узнал в ней Тамару Махрову, с которой учился в школе десять лет назад и которую, проводив как-то домой, поцеловал.

Сидевшая передо мной женщина была интригующе хороша. Медленно, растягивая фразы, словно вдумываясь в каждое слово, Тамара до самой Москвы рассказывала мне о себе. Она была единственной дочерью царского офицера Махрова, который с первых дней революции служил у большевиков в генштабе. Положение там он, очевидно, занимал высокое, иначе Тамара не училась бы в нашей Пятой школе. В тот же год, что и я, она закончила электротехнический факультет Плехановского института и вышла замуж за секретаря одного из московских райкомов комсомола. Так хотела ее мама. Нужно было забыть свое дворянское происхождение и породниться с властью имущими. Тамара мужа своего не любила, был он сутулый, с белесыми бровями над водянистыми маленькими глазками. К тому же был он совершенно невоспитан, любил к месту и не к месту ввернуть матерное словцо — в семье, где он вырос, это не считалось зазорным.

Ссоры с женой начались у него на другой же день после свадьбы. Как-то он попытался ударить Тамару, и ей пришлось возвратиться домой.

Неудачная женитьба Тамары была целиком на совести ее матери. Впрочем, когда она вернулась домой, неловкость чувствовали обе — и мать и дочь. Мать — потому, что она, в сущности, толкнула Тамару на этот меркантильный брак, дочь — оттого, что стала жертвой этого неудавшегося расчета матушки, выйдя замуж за ненавистного ей человека.

Она рассказывала, и я видел перед собой другую Тамару, не ту легкомысленную красотку, какой она мне показалась с первого взгляда, а добрую, отзывчивую, искреннюю. Как могла она сохраниться такой, находясь в студенческой среде тех лет, встречаясь с ограниченными и грубыми комсомольскими деятелями?! Плохое как-то к ней не приставало. Она придерживалась еще дореволюционных понятий о любви. Девушки, с которыми она встречалась, понятия не имели, что это значит.

В разговоре я слегка коснулся колена Тамары, она вздрогнула и отодвинула свою ногу. «Как ты можешь? Без любви, без всего?..» Я стал ссылаться на среду, которая подавляет во мне все возвышенное, приучает грубо и просто подходить к жизни. «Зачем везде одна пошлость»? — сказала она, и постепенно наш разговор стал откровенным и дружеским. Мне хотелось рассказать ей про себя, показать, что я отнюдь не так плох, хотелось ее понимания и сочувствия.

Потом Тамара пригласила меня к себе, и я рассказал ей об Ольге Даниловне. Когда я кончил, она, точно вслух размышляя, сказала: «Самое большое счастье, какое только доступно, — это когда твоя жизнь кому-то нужна».

Мы были одни. Я боялся оскорбить ее каким-то неловким движением. Видя мою нерешительность и, словно раздраженная ею, она подошла ко мне и жадно прижалась своими губами к моим.

Пишу я эти строки с предельной откровенностью, и в той романтической лексике, в какой я в годы молодости воспринимал жизнь.

Много лет спустя, выйдя из лагеря, я снова встречу Тамару, но уже совсем не ту, которую увидел в подмосковной электричке. И я снова буду размышлять о ее характере и судьбе, так изменившихся на склоне лет.

Но тогда в моей жизни произошла большая перемена. В нее вошла женщина, которая смотрела на любовь как на высшую ценность в жизни.

С этой ночи мы не разлучались с Тамарой вплоть до самого дня ареста — 15 марта 1935 года. В последний раз я видел ее за два часа до того, как за мной пришли.

Навсегда осталось в моей памяти первое декабря 1934 года. Я был уже в постели, когда зазвонил телефон. Это был старый мой знакомый Лева Нехамкин.

- Почему так поздно звонишь? — проворчал я.
- Я должен с тобой срочно поговорить.
- О чем?
- Сам знаешь.
- Нет, не знаю, — я положил трубку.

Но спать не пришлось — телефон продолжал трезвонить. — Что тебе от меня надо? — возмущенно спросил я. — Я тебе скажу. Выходи к памятнику Тимирязева! — это звучало, как приказ.

Я вышел на Никитский бульвар и прошел к памятнику. Мягкие хлопья снега кружились вокруг памятника. Гранитный Тимирязев смотрел на меня с немим упреком, как бы желая предостеречь от неверного шага. В аскетической фигуре ученого чувствовалась разочарованность, или, может быть, я таким вообразил его в эту снежную и безлунную ночь.

Встретились мы с Нехамкиным довольно сухо. Стоять было холодно, и, чтобы не мерзнуть, решили пройтись по ночной Москве. Спустились по улице Герцена по направлению к Кремлю, повернули на улицу Горького, к памятнику Пушкина, затем по Тверскому бульвару вернулись к Тимирязеву. Словно возвращаясь к прерванному разговору, Лева вдруг сказал:

- Ты как в зеркало смотрел.
- Ты, собственно, о чем? — спросил я.

Он запыхтел трубкой, несомненно, чтобы выгадать время для ответа.

Человек Лева был нудный. В 1927 году, когда я впервые встретил его, он показался мне другим, занятым. Теперь он смотрел на меня своими блуждающими, мутными глазами.

— У тебя в школе была теория. Она оказалась исключительным предвидением... Впрочем, трудно сказать... Может, ты повторял слова кого-то другого.

Я взглянул на Леву с изумлением.

- Ты это о чем говоришь?
- Ужасная новость! — сказал Лева. — Вчера в Ленинграде убили Кирова.
- И ты поэтому поднял меня с постели?
- Как ты смеешь шутить в такой момент?
- Почему бы и нет? Шишка почтительности у меня не развита.

Я хотел дать понять Леве, что убийство Кирова меня несколько не интересует. Но сам думал совсем по-другому. Первым ощущением было, что случилось что-то чрезвычайно важное не только для меня, но и для всей страны. Настал момент, когда революция начинает пожирать своих детей. Я давно понимал, что идеи коммунизма себя изжили. Как мировоззрение и как религия они умерли в момент, когда большевики захватили власть. Вместо борьбы идей началась открытая борьба за власть, за право владеть захваченным богатством. И вот теперь... Случившееся вчера поглотило мои мысли. К тому времени я уже изучил почерк Сталина, и что-то внутри подсказывало, что этот террористический акт не против вождя, а акт самого вождя. Вокруг государственного пирога становилось явно тесно, необходимо было начать отсекаать руки, жадно тянувшиеся к нему. Смерть Ленина ускорила этот процесс. Смерть Кирова поставит точки над «і».

В эту снежную декабрьскую ночь Нехамкин напомнил мне, что еще в 1927 году я предвидел то, что случилось. Он бросил мне в лицо обжигающие слова: «Ты знал, что готовится убийство Кирова!»

Чтобы не выдать волнения, я произнес несколько ничего не значащих фраз, после чего сказал, что мне нужно идти.

С тех пор я никогда не видел Леву, но слышал его голос два года спустя, когда отбывал одиночное заключение на Соловецких островах. Лева сидел где-то поблизости от моей камеры. Через открытое окно он, плача, просил у меня прощения, кричал, что оклеветал меня. Три раза в своей одиночке он вскрывал себе вены, но я был недостаточно великодушен, чтобы простить его, и ничего не ответил.

Нехамкин происходил из семьи гомельских хасидов. Нетерпимость ко всему миру, боль и обида передавались в этой семье из поколения в поколение. Революция выбросила Нехамкиных на гребень волны. Они жаждали мщения: мстить всем — аристократам, богатым, русским — лишь бы мстить! Это был их путь к самоутверждению. Не

случайно свела судьба питомцев этого славного рода в ЧК, ГПУ, НКВД, прокуратуру. Большевикам для осуществления их целей нужны были «бешеные», и они нашли их в семье Нехамкиных. Один из этой семьи, Рогинский, достиг даже «сияющих вершин» — стал прокурором СССР, но в годы сталинских чисток, как и многие, был спущен под откос и попал в лагерь, где превратился в дешевого стукача, однако такого рода люди не тонут, не горят и после лагеря он снова пошел вверх и дорос до прокурора на Нюрнбергском процессе.

Остальные братья Нехамкины не были столь известны широкой публике. Сменив свою фамилию на более привычную для русского уха, они занимали весьма высокие посты в органах.

Младший Нехамкин — Лева, был одних лет со мной. Болезненный, некрасивый, он был всюду чужим: в семье, школе, комсомоле. Он хотел ухаживать за девушками, но не знал, как это делают. Хотел сделать карьеру в комсомоле, но его никуда не избирали из-за еврейской внешности, да к тому же он ужасно картавил. Лева был завистлив, всем недоволен, ревнив к успехам своих товарищей.

Наши пути с Нехамкиным пересеклись случайно — мы были в одной комсомольской ячейке, которая объединяла четыре школы. На собрании, где я воздержался от голосования за антитроцкистскую резолюцию, он подошел ко мне и громогласно одобрил мой поступок. Сам, однако, проголосовал за генеральную линию партии. Так состоялось наше знакомство.

В последующие годы я встречался с Левой редко. Он производил на меня гнетущее впечатление, но мне было жалко его. Он поступил в медицинский институт, хотел стать психиатром, последнее не помешало ему побывать несколько раз в сумасшедшем доме.

Я всячески избегал встреч с Нехамкиным, не подходил к телефону. Тем не менее, раза два в году ему удавалось меня изловить. Лева во всем завидовал мне, а я, не зная почему, чувствовал перед ним вину. Может быть, я лучше

выглядел, чем он, может быть, больше нравился девушкам, имел хороших и интересных друзей, был способнее его, был уже доцентом, а главное... потому что у меня была прекрасная, златокудрая Тамара. Ей было также жаль несчастного Леву, она не возражала, чтобы он бывал у меня в ее присутствии. Лева, робкий от природы, влюбился в Тамару с первого взгляда, но в своей любви он не мог признаться даже себе самому. Мы с Тамарой это заметили, и нас это даже в какой-то степени забавляло. Разве мы могли представить, к каким трагическим последствиям это может привести?

Мой политический изоляционизм сформировался задолго до того, как жизнь обернулась для меня трагической стороной. Я четко знал, что от политики надо держаться подальше, никогда не следует говорить о ней, критиковать партию, особенно Сталина, даже в присутствии самых близких друзей, не говоря уже о таких маньяках, как Нехамкин. Зная его феноменальную память, я допускал, что где-то в извилинах его больного мозга могли сохраниться некоторые из моих высказываний, относящихся к 1927 году. Донеси он о них сразу после убийства Кирова, мои шансы остаться в живых были бы равны нулю. Я это четко понимал, и когда после встречи слевой вернулся домой, со мной творилось что-то невообразимое. Сердце сжималось от страха, казалось, что меня сейчас же схватят, уведут и расстреляют.

Арон Исаакович еще не ложился спать, работая у себя в кабинете. В такой поздний час он, человек очень тактичный, обычно не заходил ко мне в комнату. На сей раз он сделал исключение: мой вид, по-видимому, сам говорил за себя.

— Что случилось? Ты чем-то взволнован? — обратился он ко мне.

Я молчал.

— Начинается! — многозначительно произнес мой дядя.

— Это началось давно, с 7 ноября 1917 года, — хмуро

ответил я. — Сейчас открыта стрельба по вашему квадрату.

— Ты как всегда немного преувеличиваешь, — сказал Арон Исаакович.

Мне не хотелось рассказывать о моей встрече с Нехамкиным. Я долго не мог заснуть, из головы не выходили слова Левы: «Не беспокойся! Я тебя не предаю».

На следующий день я проснулся с недобрим чувством. Ночной разговор не предвещал ничего хорошего. Я знал о Левиним болезненном воображении — от него можно было ожидать чего угодно.

Кто и зачем убил Кирова? — вопрос этот не оставлял меня в покое весь день второго декабря. Вернувшись вечером с работы, Арон Исаакович сказал, что убийца Кирова — ленинградский коммунист Николаев. Под свежим впечатлением от разговора слевой меня охватило предчувствие беды: ведь убийца Кирова был коммунистом... Значит, мои прогнозы, сделанные в 1927 году, оправдались... Значит, Лева...

На следующий день смятение не утихло. Профессор Пуськов мне рассказал, что его друг, академик Ребиндер, ехал в «Красной Стреле» в ночь с первого на второе декабря в Ленинград в одном вагоне со Сталиным. Это сообщение меня привело в замешательство. Как? Сталин ехал в обычном вагоне? Уму непостижимо! Было что-то зловещее в поведении вождя, который сразу по получении известия об убийстве Кирова, последней «Стрелой» выехал в Ленинград. Я знал, с какой тщательностью и предосторожностью готовился каждый выезд Сталина из Кремля. А тут в общем вагоне! До меня это не доходило.

В отличие от Сталина Киров пользовался в нашей семье большим уважением. Незадолго до его убийства я слышал от Арона Исааковича, как он наладил продовольственное снабжение города, отдав приказ открыть военные склады и накормить голодающее население.

Слова эти наводили на мысль, почему жребий пал именно на Кирова. Я вспомнил, как Бухарин рассказывал, как

ким громом аплодисментов наградил его XVII съезд. По длительности овации не уступали овациям в честь самого Сталина, а при выборах в Центральный Комитет Партии Киров получил даже больше голосов, чем Сталин.

На следующий день после случившегося газеты сообщили: убийство Кирова — дело рук белогвардейцев-диверсантов, проникших в СССР из-за границы. Появились списки расстреляных «белогвардейцев»: 37 человек в Ленинграде, 33 — в Москве, 28 — в Киеве. Было ясно, что расстреливали невинных людей. Одним из «диверсантов», например, был отец моей однокурсницы Шуры Соколовой, с которой я учился в Менделеевском институте.

Далее становилось еще более непонятно: заправили Ленинградского НКВД, обвиненные в «преступной небрежности в деле охраны члена Политбюро», отделались пустячным наказанием, всего два-три года, да и то ссылки.

По всей стране шли массовые аресты — забирали всех, кто как-то попадал в поле зрения НКВД. Печать неистовствовала. Ее страницы были заполнены требованиями масс об отмщении. «Нет пощады убийцам!» — надрывались повсюду громкоговорители.

22 декабря было опубликовано заявление, что Киров убит «ленинградским центром», во главе которого стояли Котолынов и Николаев. В тот же день газеты опубликовали список арестованных зиновьевцев, среди них были известные всей стране имена: Зиновьев, Каменев, Евдокимов.

Во мне нарастало чувство фатальной обреченности. Прошло уже две недели со времени ночной встречи слевой, но я продолжал думать о ней, словно время не властно было над памятью. Что бы я ни делал, о чем бы ни начинал размышлять, одна и та же назойливая мысль овладевала мной: «А что, если Лев а...»

И сопровождалась эта мысль какими-то странными ассоциациями, то я начинал вспоминать поездку с Тамарой на Кавказ, восхождение на Казбек, купанье в Черном море на Зеленом мысе, ночью мы одни — я и Тамара. И сразу

вставали эти безумные глаза Левы, его обескровленные губы: «Не бойся, — шепчет он, — я тебя не выдам!» Затем «черные вороны», подъезжающие к бесшумным, автоматическим воротам на Лубянке, и невинные жертвы, попадавшие туда, откуда нет возврата...

В компаниях, где мне приходилось в те дни бывать, царило мрачное настроение. Считали, что произошло нечто экстраординарное — началась новая эпоха, но какая, никто еще не понимал.

Веры в счастливый исход у меня становилось все меньше. Я чувствовал, что жить так, как жил я до сих пор, мне осталось недолго. Лева не упустит случая, чтобы отличиться, несмотря на все его успокоительные заверения. Конъюнктура для этого была самая благоприятная. Я боялся оставаться наедине с самим собой. Чтобы убить время, ходил на выставки, на концерты, просто бродил по улицам. Тамара чувствовала, что со мной творится что-то неладное, но ни о чем расспрашивать не решалась.

Временами я и вовсе отключался от жизни. Наступала такая тишина, словно всюду выключили звук, и мне становилось наплевать на все — лишь бы скорее кончилось.

Иногда я приходил в себя и испытывал удовольствие от маленьких радостей каждого дня. Но случалось это все реже.

Я избегал людей. Чувствовал, что за мною следят, и не хотел подвергать кого-либо опасности. Дни эти предрестные теперь уже туманятся в памяти, сливаются воедино. И я, право, не помню, ходил ли я к кому-то и посещал ли меня кто-либо. Это и было то, в чем с первых дней упрекал меня мой следователь: «И ни с кем вы не встречались, и к телефону вы не подходили, и даже записной книжки с адресами у вас не оказалось?» Что оставалось мне ответить? Я ему только посочувствовал.

Последний день на воле — 14 марта 1935 года — я проснулся рано, как всегда. Инерция неопределенности уже полностью овладела мною. Как ни странно, но теперь все

реже меня охватывали приступы меланхолии, отчаяния. Я становился фаталистом и слепо уверовал в судьбу.

В этот день я не пошел в институт — не хотелось. Еще раз просмотрел все свои бумаги и книги. Все, что могло с их точки зрения показаться подозрительным, — уничтожил. И в первую очередь — записную книжку с адресами и телефонами.

Утром позвонила Тамара: ей хотелось пойти в театр Вахтангова на «Гамлета». Об этом спектакле в постановке Акимова говорила вся Москва. Я зарезервировал места в правительственной ложе (у нас дома был постоянный пропуск во все театры) и вечером ждал Тamarу у входа в театр.

Постановка произвела на меня странное впечатление: я плевался и восхищался одновременно. Прекрасные декорации (Акимов был театральным художником) и костюмы, изумительные актеры, тонко продуманные мизансцены — и все же спектакль оставил гнетущее впечатление, вероятно, из-за его главного героя Гамлета-Горюнова. Горюнов — талантливый актер характерного и комического жанра — представил нам Гамлета в виде хитрого низкорослого и толстого мужичонки-пройдохи, который носился колбасой по сцене. Было занятно на это смотреть, но ничего от Шекспира в спектакле не было. Балаганное настроение Горюнова передалось зрителям — никто спектакль всерьез не воспринял.

В антракте сидели в комнате, находившейся при ложе. Тамара была возмущена своим любимцем: «Только Гамлета ему не хватало!»

Я воспринял спектакль как цирк — даже живые лошади скакали по сцене! Спектакль соответствовал духу времени: для народа не должно существовать вопроса «быть или не быть».

Перед последним актом в нашей ложе появился странный субъект. Он подсел сзади нас, смотрел отсутствующим взглядом на сцену, а когда это ему наскучило, поднялся и ушел.

Через два дня я увидел этого «театрала» в чекистской форме в кабинете моего следователя. Это был явный намек: «Все видим, все знаем! Запираться с нами бесполезно!»

После театра зашли в «Прагу». Несмотря на поздний час, в ресторане было полно людей. Все веселились, как умели. Веселье это казалось неестественным, воспаленным, словно перед общим несчастьем; не хотелось долго оставаться там. Когда вышли на Арбатскую площадь, морозная ночь как-то отрезвила меня. Снег не падал, а висел в воздухе, чуть колеблясь. Редкие прохожие смотрели нам вслед. Наверно думали, зачем так поздно вздумали бродить по улицам. Знай они, что это моя последняя ночь перед шестнадцатью годами тюрем и лагерей, они бы не стали недоумевать.

...Вот уже и дошли до хорошо знакомого мне дома. Я целую Тamarу в ее влажные от тающих снежинок губы. Условливаемся обязательно встретиться завтра. Расставшись с Тамарой, на сей раз навсегда, я еще долго бродил по пустым и заснеженным улицам.

В эту ночь, с 14 на 15 марта, мне не хотелось идти домой — мрачные предчувствия одолевали меня... Когда я вошел в квартиру, на часах было три. Не успел я как следует заснуть, как услышал настойчивый звонок в дверь. Я нехотя поднялся с постели и открыл дверь. На пороге стоял наш дворник и еще двое в штатском. Чтобы не оставалось сомнений, вручили ордер на арест и обыск.

Вышел из своего кабинета Арон Исаакович, который имел обыкновение работать по ночам. Вид у дяди был расстроенный и смущенный.

Вошедшие вели себя, как дома, не дожидаясь приглашения разделись и приступили к привычной работе. Обыск проводился только в моей комнате, был поверхностным и, как мне казалось, делался для проформы. В комнаты тети Лели и Арона Исааковича даже не заходили.

— Где ваша записная книжка с адресами? — последовал, наконец вопрос.

— Нету.

— Как нету?!

— Очень просто: *омнео мео мекум порто*.

Вышла из спальни тетя Леля, сонная, растрепанная. Она еще не совсем проснулась и шептала: «Может, это ошибка?»

— Ошибки никакой быть не может, — успокоил ее один из гостей. — Смотрите, сам Вышинский подписал ордер на арест.

— Ну да, если сам Вышинский, — спокойно заметил я, — значит, сомнений быть не может.

Чекист не понял моего сарказма, но тетя Леля, кажется, поняла.

Вспомнил я, как однажды зашел за тетей Лелей в Наркомпрос, чтобы вместе ехать на дачу. Она выходила из своего кабинета вместе с Зиновьевым. Навстречу по коридору шел Вышинский, все трое были в то время членами коллегии Наркомпроса. Вышинский заискивающе и подобоострастно поздоровался с Зиновьевым и моей тетей.

— Мразь! — сказал Зиновьев, когда Вышинский прошел мимо. — И Сталину я сказал, что зря он благоволит этому меньшевику со столь грязным прошлым.

— Ну, а Сталин? — полюбопытствовала моя тетя.

— Ответил: «Евангелие учит нас прощать своих врагов, о прощении друзей там ничего не сказано!» И хитро улыбнулся.

...Мне осталось жить на воле считанные минуты. Отныне я уже принадлежал НКВД. Может быть, это и к лучшему... В бесконечном ожидании ареста я испытывал чувство страшной отчужденности от окружающего мира, я словно задержался в жизни, где мне не положено быть.

Перед уходом из дома я подумал о тете Леле, о ее щепетильной совести и верности партии... Как тяжело будет ей пережить мой арест! Она не допускала и мысли, что ее партия может ошибаться. Сколько теперь неприятностей свалится на ее голову! Шутка ли, воспитать в ее партийной семье террориста!

Прощаясь, я не чувствовал в тете былой самоуверенности, а, напротив, какую-то физическую немощь. Губы ее дрожали. Она шептала мне слова, которые, как ей казалось, должны меня успокоить.

Когда я уходил из дома, я увидел в ее глазах проблеск надежды. Мне стало ужасно жаль тетю Лелю. Святая простота! — она все еще верила в высшую партийную справедливость.

— Ты можешь себя ни в чем не корить. Я не виноват ни перед тобой, ни перед твоей партией, — тихо сказал я ей.

Перед самым выходом из дома я, очевидно, волновался, Арон Исаакович помог мне одеть пальто — никак не удавалось попасть в рукава.

— Ну, вы готовы? — спросил меня чекист.

— Да, готов. «Готов ко всему», — мысленно сказал я сам себе.

Взели меня в тюрьму в легковой машине по пустынным ночным улицам Москвы. Подъехали к главному подъезду на площади Дзержинского. Через этот подъезд входит сюда сам Нарком. Арестантов обычно ввозят со двора, с Лубянки.

ГЛАВА 11

— Ну вот мы и приехали, — сказал сопровождающий, любезно открывая передо мной массивную дубовую дверь. Я очутился в вестибюле главного здания НКВД. После темных улиц, яркость люстр слепила глаза. Часы показывали четыре.

Широкая мраморная лестница, устланная ковровой дорожкой, светильники в стиле ампир, застывшие изваяния стражей — все это поражало монументальной помпезностью. Таким был вход в здание, при одном упоминании о котором содрогалась страна.

Всего несколько минут назад я проезжал мимо памятника Тимирязеву (вспомнил Леву!), спустился вниз по ули-

це Герцена, промелькнули, как в калейдоскопе, Московская консерватория, университет, американское посольство, «Националь», Большой театр, «Метрополь» и наконец — площадь Дзержинского: конечный пункт короткого, но многообещающего путешествия.

В ярко освещенном боксе, где возможно было только сидеть или стоять, я почувствовал не ужас, а облегчение: наконец-то закончился период томительного ожидания. Я устал, очень устал в этот последний день на воле, он же был первый день в тюрьме. Усталость шла от чрезмерного напряжения нервов. Не хотелось показать свою слабость перед близкими: я должен остаться в их памяти спокойным и, как всегда, уверенным в себе. Не хотелось проявить слабость и перед теми, кто пришел за мной. С какой стати я буду доставлять им удовольствие своим замешательством! Я видел, какие приятные минуты доставило им, волнение тети Лели.

На пришельца в первый раз лубянские чудеса действуют убийственно. Они на это и рассчитаны. Второй и третий визиты воспринимаются довольно равнодушно — обычная арестантская рутинка.

Все шло по регламенту, хорошо отработанному годами. Я выполнял положенные арестанту процедуры. Раздевался догола. Выкладывал все свои пожитки на стол. Позволял заглянуть себе в задний проход. Правда не удержался, спросил: «Чего ищете там, пулемет?» Старшина-робот не ответил: обряд посвящения в зэки проходил без единого слова. Безмолвие и автоматизм персонала на Лубянке мне даже нравились. Лучше без китайских церемоний, тогда знаешь с кем имеешь дело. Тюрьма не перестает быть тюрьмой, даже и при чекистах с «человеческим лицом». В этом я убедился во время моих многочисленных «детских посадок» (от пяти до пятнадцати суток) в 1972-1974 г.г., когда добивался я разрешения на выезд.

Бесцеремонное обращение с моими вещами меня мало трогало. С тех пор, как я вошел в систему боксов «Прием арестованных», они мне больше не принадлежали.

С безразличием смотрел я, как старшина-робот укладывал их в мешок, как уносил их и приносил взамен разные квитанции. Вещей своих я больше не видел. От тюрьмы к тюрьме на них выдавали квитанции. Со временем квитанции были использованы по назначению — на оправках, а вещи исчезли в одной из многочисленных тюрем, по которой судьба протащила меня. Меньше вещей — меньше мыслей о прошлом. Даже зубная щетка из дома влечет за собой цепную реакцию воспоминаний, а это было мне совсем ни к чему.

Я сидел голый на холодном табурете, слегка дрожа, вероятно от нервов. Видел, как спарывали подкладку в моем костюме, как срезали пуговицы и пряжки с брюк, как отрывали подметки у ботинок.

В своей доарестантской жизни я был приучен и к пуговицам, и к поясу, и даже к шнуркам. А тут робот произнес только одно слово — не положено! И я лишился всех этих мелких прелестей буржуазной культуры вплоть до 1951 года.

Монотонность процесса была нарушена появлением в моем боксе смазливой и довольно молодой дамы. Она выполняла обязанности врача. То, что она проделала со мной, мог проделать каждый, диплома для этого не требуется: «Поднимите член, отведите вправо, затем влево, повернитесь задом, раздвиньте ягодицы, присядьте».

Затем наступила длительная пауза. Каждый раз, как я досчитывал до шестидесяти, открывался глазок. Временами из других боксов слышались крики: «Это незаконно! Я требую прокурора!» Но крики быстро прекращались. Надзиратели хорошо знали свое дело: технология была отработана великолепно: руки за спину, кляп в рот и снова мертвая тишина...

После врача повели в фотографию — сняли анфас и в профиль, затем сделали отпечатки пальцев (большевские блатные называли это «играть на рояле»), затем пропустили через баню и наконец водворили в камеру — запом-

нил: номер 51. Там меня уже ждала постель, на столе стоял чайник с водой, в углу — параша, без которой не может обойтись ни одна из камер российских тюрем.

Не будь на окне решетки и намордника, а в двери глазка, камера сошла бы за вполне комфортабельный номер гостиницы в любом провинциальном городе. Даже полы были паркетными. В тюрьме на Лубянке не чувствовалось обычной в России безалаберности и суеты; царил порядок.

Первый день в камере я проспал. Проспал обед, проспал ужин — никто меня не беспокоил. Разбудил надзиратель, когда на улице было уже совсем темно, и сказал: «Приготовиться на допрос!»

Я приготовился: ста дней ожидания ареста было для этого вполне достаточно. Да и распрощался я с волей еще на воле. Подвел черту своим привязанностям и научной карьере.

Еще в 1933 году, когда я работал в Болшевской коммуны НКВД, я узнал от блатных, что со следователями нужно избегать говорить по душам, и ни в коем случае не посвящать их в свои слабости и недомогания. Даже простой вопрос: «Курите ли вы?» таит в себе подвох. Следователь не преминет воспользоваться вашей слабостью для шантажа. В Болшеве я узнал, что по-разному разговаривают следователи с новичками и ветеранами. Узнал про много способов оболванивания подсудимого, многое узнал... И когда надзиратель снова спросил меня: «Вы готовы?», я уверенно ответил: «Да».

Вели меня к следователю по нескончаемым коридорам. Сопровождавшие меня как-то ловко прищелкивали языком, давая знать, что ведут арестованного. И тут не было накладок — ни разу при движении по лубянским лабиринтам не доводилось мне встретить кого-либо из товарищей по несчастью.

Вздых облегчения вырвался у меня, когда я оказался перед дверью следовательского кабинета: передвижение в ботинках без шнурков, с оторванными подметками, да еще

в брюках, которые надо было поддерживать руками, было не из легких.

Надзиратель постучал в дверь. После глухого, как бы издали, «войдите», он ввел меня в большой кабинет, вполне комфортабельно обставленный.

За большим письменным столом сидел человек сравнительно молодой — не более 35 лет. Не взглянув на меня, он расписался у дежурного в квитанции, что принял арестованного, и продолжал рыться в своих бумагах.

Я молча ждал. Все пока шло так, как рассказывали болшевики. Я молчал, а следователь продолжал рыться в своих бумагах. Он ждал, что я заговорю первым — не выдержу. Ждал, что устану стоять и присяду на стул возле столика для подсудимых, с тем, чтобы обрушиться на меня: «Встать! Ишь расселся — не к теще в гости пришел!»

Выждав время, отведенное на молчание, он закурил и начал внимательно меня рассматривать. Смотрел и я на него, но не столь упорно — в моем положении по-иному смотреть не положено.

Передо мной сидел человек внешне ничем не примечательный, если не считать двух ромбов в его петлицах (в настоящее время это соответствует генерал-лейтенанту). Два ромба не вселяли особо радужных надежд; их было достаточно, чтобы понять: следствие пойдет «по нехамкинскому варианту», то есть разговоров о терроре мне не избежать.

— Ну что, долго ли мы будем молчать? — заговорил сидящий за столом.

— О чем?

— О своей контрреволюционной деятельности.

— Даже так? А с кем я имею честь говорить?

— Я ваш следователь. Начальник отделения секретно-политического отдела (СПО) НКВД СССР, Виктор Петрович Горбунов. Прошу любить и жаловать.

Мой первый разговор начался спокойно и, пожалуй, миролюбиво. Он говорил, что хочет мне помочь избавиться-

ся от кошмаров, которые будут меня одолевать в одиночке. Я не пытался его разубедить. С первого дня ареста я старался выглядеть более разбитым и подавленным, чем это было на самом деле. Такая реакция подследственного могла притормозить применение к нему «эффективных» методов воздействия. Что касается одиночки, то, забегаю вперед, скажу: никакие кошмары меня там не мучили, и переносил я ее сравнительно легко. Отсутствие же общения с соседями сослужило мне, пожалуй, добрую службу: я избежал «наседок», глупых советов и панических настроений, заставляющих совершать необдуманные поступки.

Итак, первый наш разговор:

— Нам все известно о вас. В ваших интересах дать честосердечные показания и тем самым облегчить свою участь.

— Если вам все известно, зачем вы тогда меня спрашиваете? Трудно поверить, что вы заботитесь о спасении моей души.

— Вы еще не осознали, наверно, где вы находитесь, Давид Семенович. Подумайте о том, что я вам говорю, пока не поздно.

Давид Семенович?! Как рассказывали болшевики, по «методике» были возможны и другие обращения. Подождем, услышим.

— Для органов, — продолжает Горбунов, — главное не то, что было, а то, что могло бы быть. Ведь органы не только карающий меч, но и недремлющее око диктатуры пролетариата. Вам, конечно, неизвестно, почему мы вас арестовали? — неожиданно улыбается Виктор Петрович.

— Что вы, конечно известно! Вы арестовали меня по доносу Ван-Дер-Хамкина.

— Кого, кого? — переспрашивает Горбунов.

— Левы Нехамкина, — уточняю я.

По выражению лица Горбунова я понял, что приставка Ван-Дер к неблагозвучной фамилии Левы восторга у него

не вызывает. В памяти у всех еще был горе-герой — провокатор Ван-Дер-Любе на Лейпцигском процессе в 1933 году. Горбунов понимает намек и неожиданно меняет тон.

— Подследственный! Мы располагаем данными... Следствие требует, чтобы вы назвали участников вашей преступной организации.

— Не было организации. Не было соучастников. Если уж вам так хочется, возьмите телефонную книгу, выпишите из нее первые попавшиеся 30-40 фамилий, назовите этих людей контрреволюционной организацией, и я вам подпишу.

— Ты что же, гад, думаешь нам провокацию предлагать?

— Вы же от меня этого требуете.

— Вон отсюда! — Горбунов нажимает на звонок, и меня уводят в камеру.

Начиная с третьего допроса следствие ведется двумя путями: с применением то кнута, то пряника.

— Ну, пошлем мы вас в Самару или в Казань, как братьев Слепковых, — дружески улыбается Виктор Петрович, — вы же их знаете, будете работать по специальности в институте, защитите диссертацию... Только скажите, кто ваши сообщники... Нам нужны только фамилии... Дайте нам только фамилии!

Категорическое «нет» вызывает «цикл кнута»:

— Застрелю гадину! Прямо вот здесь! — перед носом мелькает револьвер. Затем, как из рога изобилия, отборная матерная ругань — на уровне среднего блатного. Надо было смолчать, сделать вид, что убит его новым приемом, контрастным с его предыдущей вежливостью, которой он был обучен в школе НКВД. Но берет верх мальчишеская бравада:

— Я и не то слышал, Виктор Петрович! Вам учиться и учиться у блатных!

Сказал, а потом пожалел. С допроса угодил в карцер: шутки на Лубянке обходятся дорого. Так что впредь остроты буду произносить только про себя.

За выходной мы с Горбуновым отдохнули: он — на ста-

дионе «Динамо», я — в карцере. В понедельник для начала он решил показать фокус, вытащил из кармана серебряный полтинник и сказал:

— Сейчас я вам погадаю. «Орел» — это тюрьма, «решка» — лагерь.

— А освобождение? — спросил я.

— У монетки, как вам известно, нет третьей стороны. Орел или решка — все наше!

В течение недели — допросы днем и ночью, но странным образом мы не сдвигаемся с места. И через неделю в его кабинете появляется девочка, высокая, полная блондинка с серыми, маловыразительными глазами на выкате. Без приглашения усаживается рядом со мной на стол (юбка высоко задрана) и предоставляет свои красивые длинные ноги в распоряжение моего следователя. Этого мне не рассказывали даже болшевики — чтобы показ женских ног входил в «методику».

— Вас это не шокирует? — улыбается она мне.

— Почему меня? Это должно шокировать его, — показал я глазами на Горбунова. Он неожиданно поднимается и выходит, а она, повернувшись ко мне лицом, продолжает сидеть на столе в той же позе. Юбка вздернута еще выше. Она смотрит на меня в упор, а я изо всех сил стараюсь не смотреть в ее сторону. Долго молчим.

— Вы не мужчина, — наконец холодно бросает она.

— Выходит, что нет, — нехотя отвечаю я.

Я до сих пор не знаю, входило ли обольщение в планы Виктора Петровича, или это была всего навсего инициатива барышни, решившей поразвлечься с арестантом, не установил я этого, да и не досуг мне было это устанавливать.

Через десять дней после ареста донос Ван-Дер-Хамкина сработал: мне предъявили официальное обвинение в участии в контрреволюционной террористической организации — статьи 58-8 и 58-11 УК РСФСР.

Много лет спустя, когда после реабилитации я возвра-

тился в Москву, один из моих бывших друзей рассказал, что на закрытом партийном собрании читали письмо обо мне, где я фигурировал как глава молодежной троцкистской организации, действующей в Кремле и ставившей себе целью убийство товарища Сталина. Во время следствия я об этом не догадывался, полагал, что мне отводилась более скромная роль.

Начальника секретно-политического отдела, знаменитого Молчанова и его зама Люшкова впервые я увидел на третий день допроса. Они пришли уже перед самым рассветом.

— Встать! — скомандовал Горбунов и затем отрапортовал начальству, что «на следствии враг народа Азбель Давид Семенович».

— Продолжайте свою работу, — сказал Молчанов усталым и тихим голосом, — а мы посидим послушаем.

До прихода начальства допрос шел по «циклу кнута». Теперь наступал «пряничный цикл»: принесли поднос с бутербродами и чай. Как заманчиво выглядели бутерброды с колбасой и сыром! Как красив был чай в стаканах с подстаканниками! Как притягивали к себе ломтики лимона!

— Вы, наверно, проголодались? — спрашивает Молчанов.

— Пока что не успел. Живу за счет жирового отложения.

— Что вы, что вы, Давид Семенович, у нас питание отличное, — говорит Молчанов и, как хлебосольный хозяин, настаивает, чтобы я ел.

— Почему вы отказываетесь? Нас за врагов считаете? Не хотите принимать от нас пищу?

— Что вы! Не хочу портить себе аппетита. В камере ждет меня со вчерашнего дня прекрасный ужин. Вы же сами мне сказали, что питание во внутренней тюрьме отличное.

— Ну, а если без дураков? — спросил Молчанов.

— Если без дураков, у меня нечем платить за ваши бу-

терброды. Я не могу расплатиться за них своими показаниями.

— Ах молодость, молодость, почему она так несдержанна, — укоризненно качает головой Молчанов.

Горбунову не терпится блеснуть перед начальством.

— Ну что, Давид Семенович, будем мы говорить?

— О том, что вас интересует, а меня нет?

— Хотя бы!

— Я уже вам говорил не раз: мыслей своих никому не высказывал, в организации не состоял, политикой не интересовался и вообще, попал, как кур во щи!

— А щи-то курицу и ждали, — отвечает Горбунов, большой любитель каламбуров. — Понимаете ли вы на идиш?

Странно, откуда такая будка с образованием четыре класса на двоих может знать идиш?

— Ну так вот, слушайте, — продолжает Горбунов, — одер гаун, одер какун — керосин кост гелд.

Горбунов потратил на меня уже три дня, и ему надоело напрасно жечь керосин.

Молчанов с Люшковым мило улыбаются.

— А ведь Виктор Петрович прав. Подписали бы протокол и с плеч долой. Отдыхали бы себе в камере, книжечки почитывали, — говорит по-дружески Люшков.

Он напоминает своими манерами изящного и аристократичного Михаила Александровича Кедрова. Строен, красив и, наверно, пользуется у женщин успехом. Его карие глаза смотрят на меня так виновато, словно ему неудобно вести беседу здесь, и он предпочел бы со мной разговаривать дома, в кругу друзей.

— Что поделаешь!? Служба! — невольно разводит он руками.

Беседа ведется на свободную тему: о привлекательности научной карьеры. О деле — пока ни слова.

— Вы счастличик, Давид Семенович, можете творить. А мне вот на долю выпала другая участь. Я должен всю жизнь рыться в человеческом дерьме... — Люшков вдруг

замолчал и неожиданно своим приятным баритоном добавил. — Для того, чтобы вы имели возможность творить, Давид Семенович!

Оказывается, в выборе профессии им сделана ошибка, всю жизнь его тянуло к литературе и творчеству.

Потом они оба — и он, и Молчанов — сетуют на молодежь: плохая стала, эгоистичная. Нет, чтобы жертвовать жизнью за идеалы. Оба ждут, чтобы я начал возражать, а я поддакиваю: да, народ дрянь пошел!

Снова вопрос:

— Вы, конечно, читали Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов»?

— Читал, — я понимаю, куда они закидывают удочку, и тотчас говорю. — Романтика народовольцев мне чужда, террор в любом виде не приемлю, политических романов, вроде «Что делать?» или «Андрей Кожухов» не выношу.

— И все же..

— Что, и все же?

— Вы кое с кем разговаривали о терроре.

— Я никогда в руках и револьвера не держал, никогда оружием не интересовался. — Я замечаю, как Люшков, почти незаметно, достает из кармана револьвер и внезапно подает его мне.

— Зачем?

— Возьмите!

Я повиновался.

— Вот видите! Вы прекрасно умеете держать оружие! Вы же наш, советский человек, — продолжает он. — Выросли в коммунистической семье. Ну ошиблись, запутались в связях... Почему вы отказываетесь, когда мы хотим вам помочь? У вас все еще впереди. Вы так молоды. Начните новую жизнь сейчас, прямо сейчас! Признайте допущенные ошибки, и мы вас простим. К чему вам молчать, кого выгораживаете, кого спасаете? Я знаю, что вам чужды взгляды троцкистов, взгляды правых. Вы же не в Гестапо. Признайтесь своим органам, выдайте ваших сообщников,

Виктор Петрович говорил, что вы спорите из-за каждого слова в протоколе. Мы можем разрешить вам писать самому — любая форма нас устраивает. — Он протягивает мне стопку бумаги и ручку.

Несколько минут я раздумываю и затем пишу большими печатными буквами: «Мама, я хочу домой!» и передаю листок Люшкову.

— Вижу, вы шутник!

— Что поделаешь! Юмор висельника.

Меня уводят в камеру. Вдогонку слышу слова Люшкова:

— Подумайте, Давид Семенович, о чем я вам говорил, подумайте.

Люшков просил меня подумать. Я подумал и твердо решил имен не называть.

После ухода начальства Горбунов сам навязывает мне много фамилий и спрашивает, кого из них я знаю лично. Большинство имен я слышал впервые. Особенно упорно он настаивал на том, что я знаю Бориса Розенфельда, о котором я не имел ни малейшего понятия. Позже я узнал, что это был сын брата Каменева, что он дружил с Нехамкиным и, подобно мне, был «рекомендован» органам.

В 1956 году в Верховном Суде мне сообщили, что я проходил по делу под названием «Большой Кремлевский заговор», по которому было арестовано свыше пятисот человек. Во главе заговора, якобы, стоял Енукидзе, секретарь президиума Верховного Совета СССР. В «заговоре» принимал участие Л.Б. Каменев, бывший член Политбюро, и жена брата Каменева, Розенфельд, работавшая у Сталина в библиотеке. Теперь было ясно, почему так упорно навязывал мне Горбунов знакомство с Борисом Розенфельдом, ведь его мама работала непосредственно у Сталина!*

* Тщетно я добивался в Военной Коллегии Верховного Суда разрешения ознакомиться с делом, по которому меня привлекали. Вместо дела через месяц мне дали прочесть краткое резюме — всего на одну страницу. Даже в период хрущевской оттепели органы прокуратуры и суда строго хранили тайны Кремлевского двора.

Горбунов между тем интересуется, часто ли я бывал в Кремле.

— Часто, — отвечаю я, — очень часто. Но последний раз был там пять лет тому назад. Это вы можете проверить по выданным мне пропускам.

— Вот видите... Кто может поверить вам, что Кремль вы посещали просто так. И к Слепкову вы ходили просто так, и с Сосновской встречались просто так. Разве могу я принять ваши объяснения? Вас готовили для специальной цели.

— Какой? — вырвалось у меня.

— А вот это вы нам сейчас и расскажете!

Я пробую отшутиться, чтобы уйти от неприятного разговора.

— В России все «специально», — говорю я. — Куда ни плюнь, спецзадание, спецстоловая, спецраспределитель, спецшкола... Что вы имеете в виду под словом «специальный». По вашей терминологии я и с девушками встречался со специальной целью.

Горбунов молча роется в своих бумагах, затем зачитывает длиннющий список девушек, с которыми я был хоть как-то знаком.

— Пустяки, донжуанский список, — вырывается у меня, а сам думаю, что по какой-то странности в списке нет Тамары. Я был рад, что ее имя не трясли на допросах, но червь сомнения все же закрался в душу. Сто дней, предшествующих моему аресту, были заполнены Тамарой — я виделся с ней почти каждый день, а вот органы, оказывается, этого и не заметили! Все опять же открылось двадцать лет спустя, когда после реабилитации я получил разрешение вернуться в Москву.

Я бесцельно бродил вечером по арбатским переулкам. Передо мной, как в калейдоскопе, мелькали видения детства и юности. Как все изменилось: вместо булыжной мостовой — асфальт, вместо газовых осветительных рожков — яркие электрические фонари.

Засмотревшись на эффектно подсвеченное здание кремлевской поликлиники, я вспомнил, что совсем рядом, на углу Сивцев-Вражка и Калошина переулка, в предарестантские годы жила Тамара.

С замиранием сердца вошел в плохо освещенный подъезд. На двери квартиры, в которой жила раньше Тамара, — бронзовая дощечка: «Мишина», имя, которое мне ничего не говорило. Нажал кнопку звонка и почувствовал, как мной начал овладевать какой-то непонятный страх — хотелось немедленно убежать. Наконец дверь открылась. Передо мной стояла Тамарина мама — высокая тучная блондинка. «Этого не может быть, — подумал я, — не может же Тамарина мама несколько не измениться за эти двадцать лет».

В недоумении смотрел я на эту стареющую даму в неопрятном, затрапезном халате. Вид у меня был смущенный и, наверно, глупый.

— Вам кого? — спросила наконец она.

— Мне, собственно говоря... Я хотел вас спросить, не знаете ли вы, где живет Тамара Александровна Махрова. Она жила в этом доме... двадцать лет тому назад.

— А вы, собственно, кто?

— Я ее приятель... Недавно приехал...

— Подождите немного здесь. Может, мне удастся вам чем-нибудь помочь, — сказала дама, слегка улыбнувшись кончиками губ и скрывшись в квартире.

Когда дверь открылась вновь, то передо мной стояла та же дама, но с помощью косметики и вечернего туалета преобразившаяся до неузнаваемости. Она пригласила меня в гостиную. У меня возникло впечатление, что я очутился в антикварном магазине, плотно набитом всякого рода дорогими вещами.

— Все это осталось от моего покойного мужа! — объяснила она и, окинув меня испытующим взглядом, спросила.

— Вы меня не узнаете?

— Нет! — сказал я равнодушно, но про себя догадался. Передо мной стояла... Тамара. Такой Тамары не сохранилось в моей памяти. Узнала она меня с первого взгляда, она сама сказала мне об этом.

...Начались обнимания, бесчисленные поцелуи и слезы. Ее слезы — не мои. В моем сердце для нее не оставалось места. Было лишь желание все узнать... Узнать так, чтобы она и не поняла, что я догадываюсь.

— Кто этот Мишин, чья фамилия была обозначена на двери?

Из рассказа Тамары я понял, что ее мучили запоздалые угрызения совести, совести вдовы чекиста Мишина, алкоголика и психопата, которого за невозможностью использования выгнали из органов.

Долго после ареста Тамара помнила обо мне — так по крайней мере говорила она. Хранила мои фотографии. Потом появился Мишин, разорвал фотографии и взамен их дал Тамаре шикарную жизнь. Затем родился Костя, и мир замкнулся на сыне. Тамара старалась словами перекрыть двадцатилетнюю брешь в наших отношениях, но вряд ли это было возможно.

— Ты не думай, с Мишиным мы поженились еще тогда, когда он не работал в органах. Бог наказывает меня за грехи мои, — снова заплакала она и неожиданно перекрестилась.

Со своим бывшим мужем, подполковником Мишиным, Тамара разошлась за несколько лет до его смерти. Жить с ним было невозможно — пил вмертвую. Во хмелю он забывал, что перед ним жена. Думал — подследственная. Бил! От белой горячки Мишина лечили в сумасшедшем доме. Совесть о невинно убиенных, видимо, мучила его. Не раз вынимали его из петли.

— Хороший был человек, — вспоминала о нем Тамара, — но не на хорошем месте!

О сыне говорила нехотя и с болью в сердце:

— Посадили Ироды!

Костя сидел за кражу. Тамара уверяла, что кто-то из друзей сводил счеты с покойным Мишиным через Костю. В дружной семье чекистов такие вещи случались часто.

Узнав, что сын ее родился спустя полгода после моего ареста, я почувствовал как внутри что-то оборвалось — неужели мой?! Когда Тамара вышла на кухню приготовить чай, я стал внимательно осматривать комнату и наткнулся на фотографию мальчика лет пятнадцати. Со стены на меня смотрели недобрые глаза, низкий лоб, тяжелый подбородок... нет! Этот не был моим сыном.

Вместе с мужем, подполковником СМЕРШа, Тамара побывала почти во всех странах, куда только доходили советские войска. Она помогала Мишину грабить частные коллекции и отправлять их в Москву, отсюда и ее антикварная квартира.

Как же она дошла до этого? — мысленно задавал я себе вопрос. Аристократка, прекрасно воспитанная и с добрым сердцем, как она могла жить с Мишиным? Душечка! Чеховская душечка живет в характере многих женщин. Тамара оказалась такой вот «душечкой».

Падение началось еще тогда, когда она была со мной и одновременно с ним, Мишиным. Тогда он еще не был явным чекистом. Но по роду своей журналистской работы уже был тесно связан с разными органами. Не случайно спешила Тамара меня успокоить: замуж за Мишина она вышла раньше, гораздо раньше... Не случайно и то, что сын у Тамары родился через полгода после моего ареста. Работа в органах не мешала ей любить меня, встречи со мной не мешали ей работать для органов. Тамара была настоящим советским человеком с присущими ему достоинствами и недостатками.

Прожив жизнь с добрым убийцей и растеряв все доброе, что было заложено в ней, Тамара пришла в конце концов к Богу. Увы! Прозрение наступило слишком поздно — она теряла с каждым днем разум. У нее появилась мания — она всюду видела происки сионистов. Все несчастья в Рос-

сии в прошлом, настоящем и в будущем связаны с евреями. Всюду и везде были одни евреи: «Евреи, евреи, кругом одни евреи...» Тамара писала заявления во всевозможные инстанции, разоблачала, требовала, угрожала. Дошло до того, что ее пришлось упрятать в сумасшедший дом. Власти не любят, когда низы не в меру стараются и перехлестывают дозволенное. К тому же, почему было не воспользоваться квартирой в центре Москвы с награбленным добром? Родственников у Тамары не оказалось, за исключением сына, но он был в тюрьме и сидеть ему оставалось немало.

Еще задолго до того, как за Тамарой приехала больничная машина, квартиру, не без участия ее друзей, очистили до основания: не оставлять же добро государству! О последних днях Тамары узнал я от дворника, но тогда уже не чувствовал неприязни к ней. Она была достаточно наказана.

Вернусь, однако, к Бутырской тюрьме.

Чтобы сделать из меня террориста, Горбунов даже «сформировал» террористическую группу — специально для меня. В нее входили: Андрей Свердлов, Дмитрий Осинский, Виктор Белов, Лев Нехамкин, Борис Розенфельд.

Не беда, что некоторые ее участники даже не были знакомы друг с другом. Важно другое: Свердлов и Осинский жили в Кремле, под боком у самого Сталина, Нехамкин — психически неуравновешен и потому был способен на любые поступки, Розенфельд — племянник Л.Б. Каменева, лидера оппозиции, Белов — правый, только вернулся из ссылки, озлоблен. И, наконец, я — фрондер, близко знакомый с правыми и левыми лидерами.

Букет великолепен, смущал лишь Андрей Свердлов: сын первого советского президента (председателя ВЦИК) и племянник Ягоды — наркома внутренних дел, не верилось, что и из него решили сделать террориста.

— И вы долго намерены упорствовать, Давид Семенович? Ваши друзья во всем сознались! — Горбунов издал

показывает мне показания Андрея Свердлова и зачитывает некоторые места. Он с ума сошел! Он показывает, что хотел убить Сталина... Заявляет, что я был с ним согласен.

Это же несусветная чушь. Андрей не мог этого сказать. Он сам себя оговаривает! Я требую очную ставку с Андреем.

— Не беспокойтесь, Андрей Яковлевич Свердлов повторит это и в вашем присутствии.

На сей раз, чувствую, Горбунов не блефует.

— Ну, будем теперь говорить? Признайтесь, пока не поздно!

— Нет, нет, нет! — кричу почти в истерике.

Конвоир уводит меня в камеру, где ждет меня остывший ужин и необходимость принять решение. Горбунов обещал пропустить меня через конвейер. Я знал: это непрерывный допрос, он длится несколько суток, без сна и почти без еды. Следователь не зря меня предупредил: ожидание страданий иногда хуже самих страданий.

Мой конвейер длился пять суток, пять суток сидения на стуле. Следователи менялись через восемь часов. Они действовали на меня по принципу «шотландского душа» — на смену кричащему, угрожающему, размахивающему револьвером приходил вкрадчивый, спокойненький, улыбающийся. Оба действовали в полном согласии, оба требовали, чтобы подписал, что собирался убить Сталина.

— Подпишите! Чего это вам стоит, и спать пойдете спокойно с очищенной совестью, — уговаривали и добрый и злой. Побывал у меня на конвейере и Коля Латышев (я знал его по школе имени Короленко) и Гоша Кедров (я знал его по «Националю»), все уговаривали: «Подпиши!»

После 48 часов непрерывного бдения я перестал замечать, кто и как меня уговаривал. Я перестал хотеть есть, но со сном совладать не удавалось. Непрерывно тормозили: «Не спите».

На шестые сутки пришли мои ангелы-хранители Молчанов и Люшков.

— Руководство СПО, — так они себя торжественно величали, — решило пойти вам на уступки, Давид Семенович. Подпишите, что вы знали, но не поставили в известность органы.

Больше не было сил сопротивляться. Сказал:

— Дайте мне поспать. Сейчас я ничего не соображаю. О, гуманный Люшков! Он и тут пошел мне навстречу.

Конвейер приостановили, но в камеру не отпустили. Я спал на диване у следователя. Спал крепким сном, как убитый.

Во второй половине следующего дня я начал подписывать основной протокол. Как мне было обещано, наиболее опасные места из протокола были изъяты. Я подтверждал то, что показывал Андрей Свердлов. Каждый ответ на вопрос начинался со слов: «Мне известно», хотя «известно» это было со слов следователя.

Когда я отоспался на своей тюремной койке, то понял, что я наделал. Я сам подписал себе смертный приговор. Даже если и откажусь от своих показаний, меня все равно расстреляют.

Был я до предела взвинчен, перешел рубеж, когда человек опасается за свою жизнь. Попросил бумагу у дежурного и написал следователю, что категорически отказываюсь от всех моих показаний, как ложных, так и вынужденных.

Примерно с неделю после отказа от показаний меня никто не беспокоил. Давали испить до дна горькую чашу страха и безнадежности.

Затем вызвали к следователю. Горбунов сказал, что у меня сейчас будет очная ставка с Андреем Свердловым. Ознакомил с процедурой очной ставки, не упустив при этом упрекнуть меня за отказ от показаний. Сказал, что веду я себя, как самая «дешевая проститутка», и за мою жизнь он теперь не даст и ломанного гроша. Мое поведение явно претило его чекистской морали.

Ввели Свердлова. Он бойко смотрел мне в глаза. На лице

его я не заметил и тени смущения. Он был в форме при всех знаках отличия. Андрей только что закончил Бронетанковую Академию. Вид у него был настолько свежий, что сомнений не оставалось: на очную ставку он пришел прямо из дома.

Да, это был друг моего детства, Адя Свердлов, и, как это бывает, вся его жизнь в какое-то мгновение промелькнула передо мной. От матери Клавдии Тимофеевны Новгородцевой, строгой и малоприветливой женщины, Адя, внешне очень похожий на отца, мало что унаследовал. Он боготворил Троцкого и часто бывал у него в доме. Когда запахло керосином, Клавдия Тимофеевна решила сплавить сына в Уругвай к тогдашнему Советскому полпреду (или торгпреду) Краевскому. И лишь одноглазый Кишкин вынес на руках Льва Давидовича из Пятого Дома Советов и увез его в Алма-Ату, Андрей вернулся в свою кремлевскую квартиру. Поверженный герой никогда не оставался для Ади героем. Стоял 1928 год, к этому времени и относится моя дружба с Андреем. Мы часто с ним бывали у Слепкова, а еще чаще у Лены Бокий, той самой дочери знаменитого чекиста Бокий, которую я упоминал. С Леной Адю видели так часто, что однажды я даже спросил его, не собирается ли он жениться.

— Ты это серьезно? — удивился он. — На дочке жандарма и на пробляди притом... Брак, мой друг, это дело политическое!

Адиной женой стала Нина Подвойская, дочь военного руководителя Октябрьского переворота в Петрограде Н.И. Подвойского.

Адя мне часто говорил, что он не переваривает жандармов и недолюбливает даже своего дядю, Ягоду. Судьба сыграла с ним злую шутку: он сам стал жандармом и жандармом высокого ранга. А начинался этот его путь в кабинете у моего следователя Горбунова.

— Вот видите, — говорил он мне, — Андрей Яковлевич дал добровольные и чистосердечные показания и гуля-

ет теперь на воле. А вы упорствуете и сидеть будете. Сгноим вас в тюрьме, сгноим!

Все это было до чрезвычайности нелепо: Андрей пришел с воли для того, чтобы уличить меня в том, что я знал о его намерениях убить Сталина. Знал и не донес.

Я чувствую, что с ним все отрететировано заранее. Он отвечает на вопросы даже с некоторой удалью, словно победитель на соревновании дает интервью корреспонденту газеты «Советский спорт».

Мне отведена на этой очной ставке весьма скромная роль: говорить «нет», «нет», «нет». Чем больше накопится этих «нет», тем для следствия лучше: «Обвиняемый упорно отрицает свою вину, хотя полностью изобличен свидетельскими показаниями».

— Андрей Яковлевич, — как-то по-домашнему приветливо обращается Горбунов к Свердлову, — подтверждаете ли вы данные вами ранее показания?

— Да. Полностью подтверждаю.

— О каких, собственно, показаниях ты говоришь, Андрей?

— Молчать! Вопросы к свидетелю могут задаваться только через меня, вам понятно, обвиняемый?

— Понятно.

— Андрей Яковлевич, подтверждаете ли вы сейчас, в присутствии обвиняемого Азбеля, ранее данные вами показания в том, что в Кремле действовала троцкистская террористическая группа, о существовании которой знал обвиняемый Азбель?

Свердлов-младший подтверждает все. Он не возражает против убийственных формулировок, которые Горбунов, не стесняясь, переписывает со шпаргалки.

Адя подписывается под каждым ответом на вопрос. То же делаю и я. Различие лишь в одном: он везде отвечает «да», я везде — «нет».

Протокол очной ставки получается убийственный. Прежде всего для самого Андрея. Но ему ничего не грозит: он

на воле. Идет какая-то непонятная для меня игра, сущность которой приоткрылась для меня спустя двадцать лет и то далеко не полностью.

Думал ли Адя Свердлов, подписывая тогда протокол, какие далеко идущие последствия он будет иметь. Полагаю, что да. У него не было иллюзий об участи тех, кто был вписан в него, так же, как знал он, что его ждет блестящая карьера на другом поприще, на поприще НКВД.

После встречи с Андреем я долго не мог заснуть. Слышал мерные шаги надзирателя в коридоре, слышал, как кого-то уводили на допрос, кого-то приводили с допроса. Я думал о молодом Свердлове, который так легко предал меня и в ком органы нашли своего достойного сотрудника*.

Методы следствия, применяемые ко мне, оказались сравнительно легкими. У них было достаточно данных, чтобы оформить мне дело, не прибегая к более «совершенным» средствам. Истязаемый бессонницей, я оказался более податлив, меньше спорил по поводу формулировок в протоколе. Я довольно счастливо прошел конвейер. Продолжили они его лишние два-три дня, я бы не выдержал. Подписал бы все, что бы следствию пришло на ум. Есть предел человеческого мукам. Бывают и исключения, но очень редко. Вот одно из них.

В 1937 году меня вновь привезли на Лубянку. В общей камере я встретился с уникальным человеком. Его звали

* О блестящей карьере Ади Свердлова в органах я узнал в Саратовской тюрьме от норвежского журналиста Вальтера Эппе, а затем — от Левы Сосновского, который встретил Андрея в Крыму после освобождения. Проходил Адя не много не мало как по делу Берии, но, как ни странно, и на этот раз его выручила фамилия. После освобождения работал он в музее Ленина научным сотрудником, потом каким-то образом очутился в Новосибирске, где и умер в 1960 г. Сосновский вспоминал, что во время их встречи в Крыму, Адя сказал: «Наследников из нас не получилось. Может быть, мы и не заслужили того, чтобы ими стать. Но мы не заслужили и того, что с нами сделали!»

Свионтек, что значит по-польски праздничек. Он прожил свои 51 год действительно, как праздник, был виноделом и дегустатором у себя в Западной Украине. Всегда навеселе, предельно беспечный эпикуреец! Когда следователь пытался внушить ему, что он шпион, Свионтек от души смеялся. Он показывал следователю свою ладонь и говорил: «Смотрите, здесь ничего не растет? Не растет!! И не вырастет». Чем больше Свионтека держали на конвейере, тем больше у следователей росло убеждение, что в руки к ним попался супершпион. Он выдержал пытку больше месяца. Даже сам Нарком Ежов приходил посмотреть на это заморское чудо. Что стало с этим поразительно мужественным и веселым человеком, мне неизвестно. После месяца на конвейере его забрали из нашей камеры, такие люди живыми из лап НКВД не выходили.

Так что мой конвейер был сущим пустяком перед той пыткой бессонницей, которую испытали люди в 1937 году. Что ни говори, а в несчастье бывает везение. Лишний раз убеждаешься, что и людские страдания тоже относительны.

После очной ставки на допросы больше не вызывали. Дни стали похожи один на другой: подъем-поверка-уборка камеры-оправка-пайка хлеба-обед-ужин-оправка-поверка-отбой. И так каждый день — четыре месяца подряд.

В своей монотонной жизни я неукоснительно следовал выработанным мной самим «Шести условиям Азбеля»:

1. Спать как можно больше при всяком удобном, а главное, неудобном случае.
2. Не вступать в пререкания с тюремным начальством (себе дороже стоит!).
3. Смотреть на тюремщиков таким же отсутствующим взором, каким они смотрят на меня.
4. Использовать все свободное время на хождение по камере и на занятие гимнастикой (последнее делать тайно, чтобы не попасться).
5. Не предаваться размышлениям о прошлом и, в особен-

ности, исключить гастрономические фантазии.

6. Не думать о будущем. (Об этом известят своевременно или несколько позже!)

Был такой же тюремный день, как и многие другие, ничем не примечательные дни. Я дремал после не очень-то сытного обеда, когда дверь моей камеры слегка приоткрыли, и минуту-другую никто не входил. Время для открытия двери было необычное: на прогулку уже водили, а в баню поведут еще через несколько дней.

Приказали собраться с вещами. Два конвоира, один спереди, другой сзади, вели меня по длинным незнакомым коридорам. Я подумал: сейчас, верно, решится моя судьба. Когда меня привели в большой кабинет, вместо того, чтобы спустить на лифте во двор, от души отлегло. Тех, кого подводят под расстрел, отправляют на военную коллегия в Лефортовскую тюрьму.

Мне зачитали приговор, вернее постановление ОСО (Особого Совещания НКВД СССР): «За контрреволюционную деятельность (статьи Уголовного Кодекса указано не было) приговорить к пяти годам лагерей. Вся процедура отняла не более двух минут.

— Подпишитесь, — попросил чекист.

Я подписался и почувствовал неопишуемое облегчение. Теперь жизнь моя была запрограммирована — по крайней мере на ближайшие пять лет.

Первый пункт назначения — Бутырка. Меня вывели во дворик, где часто бывал на прогулке. Там ждал уже «черный ворон», ставший на долгие годы для меня основным видом транспорта. Были, правда, еще и «столыпинские» вагоны, были и теплушки («сорок человек — восемь лошадей»), но с ними я познакомился позже.

«Черный ворон» был действительно черным. Когда удельный вес этого вида общественного транспорта возрос, машины перекрасили в голубые и желтые тона. На одних написали: «Пейте лучшее в мире советское шампанское», на других — «Покупайте свежую птицу». Бутыр-

ские зубоскалы говорили: на фургонах прибывающих на Лубянку следовало бы писать «свежая птица», а на идущих с Лубянки и Лефортова в Бутырку — «битая птица». Пожалуй, такая реклама имела рациональное зерно.

Меня втиснули в один из боксов «воронка», затолкнули с трудом и с силой прижали двери. В соседних боксах я слышал вздохи, всхлипывания. Каждый боялся подать голос, сидели молча, словно кролики, зачарованные удавом. Каждому из пассажиров, так же, как и мне, успели вручить «путевку в жизнь».

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ КАК ФАКТ ЛИТЕРАТУРЫ

В этом номере, в разделе «Наши публикации», мы предлагаем вниманию читателей документальную драму Леонида Ицелёва «Ельцин». Как сообщает автор, пьеса представляет собой сокращенный текст стенографического отчета Октябрьского пленума ЦК КПСС 1987 года.

Рафинированный читатель, возможно, не согласится с этим решением — представить стенограмму партийного заседания как факт литературы. На чем же основывался автор? Как известно, на Октябрьском Пленуме разразился скандал, вызванный выступлением Ельцина. Поводом для бури послужило то, что секретарь Московского горкома партии Б.Н. Ельцин заявил, что он хотел бы уйти в отставку, поскольку его не устраивают темпы перестройки и у него не складываются отношения с секретарем ЦК партии Лигачевым. К тому же он считает, что в руководящих кругах наблюдается славословие по отношению к Генеральному секретарю партии М.С. Горбачеву.

В Западном парламенте подобного рода выступление даже не привлекло бы внимание печати. Однако участники Пленума обрушились на своего товарища по партии с такой силой, будто он совершил опасное государственное преступление. Перед нами разворачивается драматический конфликт, который не может иметь места ни в одном демократическом обществе, конфликт между человеком, пытающимся высказать правду, и партийной бюрократией, которая любую правду, даже самую малую, душит. Для бюрократии правда смертельно опасна — и тот, кто ее высказывает, должен быть раздавлен, тем более опасен диссидент из ее собственных рядов. В этом и состоит социальный смысл конфликта, разыгравшегося на Октябрьском Пленуме ЦК. Жизнь как бы сама стала драмой, которая просится на страницы литературы.

Один за другим проходят перед нами необычайно живые типажи советских партийных деятелей и — все с редким единодушием обрушиваются на Ельцина, осмелившегося отклониться от генеральной линии. Нет смысла комментировать их эмоции, их речи, их язык, — все это прекрасный материал для размышления читателя, которому и предлагается эта взятая из советской жизни драма.

Леонид ИЦЕЛЕВ

ЕЛЬЦИН

Драма

Пьеса представляет собой сокращенный текст стенографического отчета Октябрьского Пленума ЦК КПСС 1987 года.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ГОРБАЧЕВ — Генеральный секретарь ЦК КПСС

ЛИГАЧЕВ — член политбюро ЦК КПСС

ЕЛЬЦИН — кандидат в члены политбюро, первый секретарь московского горкома партии.

Остальные персонажи пьесы будут представлены по мере их появления на сцене.

Действие происходит 21 октября 1987 года в Москве в зале заседаний пленумов ЦК КПСС.

10 часов утра.

Председательствующий ГОРБАЧЕВ: Товарищи, в Москве стоят такие туманы, что, оказывается, некоторые члены ЦК по два-три дня сидят в аэропортах и не могут вылететь. Кое-кто только сейчас успел прибыть — вот товарищ Тяжелников только что добрался. Евгений Михайлович, здесь ты или нет?

Голос: Здесь.

ГОРБАЧЕВ: По повестке дня. Политбюро ЦК предлагает на этом пленуме рассмотреть вопросы, связанные с празднованием 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции и некоторыми текущими задачами. Политбюро хотело бы получить согласие пленума по основным положениям доклада на торжественном заседании. Докладчиком утвержден генеральный секретарь ЦК КПСС. Есть ли замечания по повестке дня?

Голоса: Нет.

Председательствующий ЛИГАЧЕВ. Слово для доклада предоставляется товарищу Горбачеву Михаилу Сергеевичу.

(Свет гаснет. На сцене появляется громадный телеэкран, на котором мелькают фрагменты из видеозаписи выступления Горбачева на «торжественном заседании» 2 ноября в Кремлевском Дворце съездов.)

ЛИГАЧЕВ: Товарищи! Таким образом, доклад окончен. Возможно, у кого-нибудь будут вопросы? Пожалуйста. Нет вопросов? Если вопросов нет, то нам надо посоветоваться.

ГОРБАЧЕВ: У товарища Ельцина есть какое-то заявление.

ЛИГАЧЕВ: Слово предоставляется товарищу Ельцину Борису Николаевичу — кандидату в члены политбюро ЦК КПСС, первому секретарю московского горкома КПСС. Пожалуйста, Борис Николаевич.

ЕЛЬЦИН: Я хотел бы высказать ряд вопросов, которые у меня лично накопились за некоторое время работы в составе политбюро. Я считаю, что прежде всего нужно было бы перестраивать работу партии в целом, начиная с секретариата ЦК, о чем было сказано на июньском пленуме ЦК. Я должен сказать, что после этого ничего не изменилось с точки зрения стиля работы секретариата ЦК партии, стиля работы товарища Лигачева. Я думаю, что это очень дезориентирует людей, дезориентирует партию, дезориентирует все массы, поскольку мы, зная настроения людей, сейчас чувствуем волнообразный характер отношения к перестройке. Сначала был сильнейший энтузиазм — подъем. И он все время шел на высоком накале и высоком подъеме, включая январский пленум ЦК партии. Затем

после июньского пленума ЦК, вера стала как-то падать у людей, и это нас очень и очень беспокоит. Конечно, в том дело, что два эти года были затрачены на разработку документов, которые не дошли до людей. И обеспокоило то, что они реально ничего за это время не получили. И мы через два года перед людьми можем оказаться с пониженным авторитетом партии в целом.

В последнее время обозначился определенный рост, я бы сказал, славословия некоторых членов политбюро в адрес генерального секретаря. Считаю, что как раз сейчас это недопустимо. Я понимаю, что сейчас это не приводит к каким-то недопустимым, так сказать, перекосам, но тем не менее первые какие-то штришки такого отношения есть, и мне бы казалось, что это надо в дальнейшем предотвратить.

И последнее. *(Пауза.)*

Видимо, у меня не получается в работе в составе политбюро. По разным причинам. Видимо, и опыт, и, может быть, отсутствие некоторой поддержки со стороны, особенно, товарища Лигачева привели меня к мысли, что я перед вами должен поставить вопрос об освобождении меня от обязанностей кандидата в члены политбюро. Соответствующее заявление я передал, а как будет в отношении первого секретаря городского комитета партии, это будет решать, видимо, пленум городского комитета партии.

ГОРБАЧЕВ: Наверное, далее мне удобнее вести заседание.

ЛИГАЧЕВ: Да, пожалуйста, Михаил Сергеевич.

ГОРБАЧЕВ: Товарищи, я думаю, серьезное у товарища Ельцина выступление. Не хотелось бы начинать прения, но придется сказанное обсудить. Товарищи, кто хочет выступить, поднимите руку.

ЛИГАЧЕВ: У меня каких-либо личных стычек с Борисом Николаевичем не было никогда, были самые нормальные отношения. Когда он работал на Урале, я работал в Сибири, и отношения были такие обычные, я бы сказал. Если

уж говорить правду, вот сидящие за мной могут подтвердить — хотя, наверное, мне надо сейчас многое пересмотреть, — это один из тех товарищей, который стоит перед вами, вносил предложения о выдвижении товарища Ельцина. Это может подтвердить Михаил Сергеевич, это многих предложение. И мне это ставят сейчас не без основания в укор. Я никогда, — если я в этом виноват, готов признаться, — никогда неуважительно не относился к партийным работникам. Сам такой. Первым секретарем работал семнадцать лет. Но требовательность есть, была и будет. Думаю, что это не только ко мне относится, но и относится к нам всем. И так же, как и все вы, так и все мы, я могу сказать о своих товарищах по работе, отдаем себя без остатка. Меня так воспитала партия. Она меня сформировала, и я строго следую этому правилу. О том, что был сильнейший подъем в народе, а теперь стала падать вера у людей, — считаю, это принципиально неправильно. Принципиально неправильное политическое заявление. Это ставит вообще под сомнение всю нашу политику. Я всей душой чувствую как член ЦК, что нас народ поддерживает, и это вселяет уверенность, что дело, которому мы себя посвящаем, будет реализовано, воплощено в жизнь. И я глубоко уверен, что партия одержит, несомненно победу.

(Аплодисменты)

ГОРБАЧЕВ: Может, все-таки кто-то из членов ЦК возьмет слово? Пожалуйста, Сергей Иосифович. А то вроде получится, что мы сами защищаемся — «командой». Вам со стороны виднее. Это принципиальные вопросы, так уж давайте говорить откровенно. Членам ЦК виднее, и мы будем знать их точку зрения. Слово предоставляется товарищу Манякину Сергею Иосифовичу, члену центрального комитета КПСС, председателю комитета Народного контроля СССР.

МАНЯКИН: Товарищи! Я в составе ЦК двадцать шестой год. Такого выступления и заявления еще не было. Это произошло из-за политической незрелости т. Ельцина. Он

и в партию вступил поздно, не получил и должной закалки, особенно партийной, да и мало поработал в должности первого секретаря обкома партии. Видимо, такой быстрый взлет на фоне политической незрелости и породил сегодняшнее его выступление. Это естественный процесс и закономерный финал, к которому пришел товарищ Ельцин. Безусловно, товарищ Ельцин в любое время мог зайти к товарищу Лигачеву поговорить, объясниться. Но он этого не сделал. Затаился, стал накапливать материал, чтобы выплеснуть на пленуме ЦК. Причем, сделано это в период важнейших решений, когда вопросов больше, чем ответов. Своим требованием отставки товарищ Ельцин породил сомнения в деле перестройки. Он высказал, по существу, свое несогласие с политбюро, с генеральной линией партии. Я считаю, что причина этого — политическая незрелость товарища Ельцина.

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Бородину Леониду Александровичу — члену ЦК КПСС, первому секретарю Астраханского обкома партии.

БОРОДИН: Товарищи! Я, пожалуй, из теперешних первых секретарей обкома самый старый. Не по возрасту, а по времени. Но прошел всю жизнь. Вот от Сталина и до сегодняшнего времени. И если сравнить, то сейчас работать намного труднее во всех отношениях. Но как-то легче на душе, на сердце, как-то видишь результаты и справедливую оценку своей работы. Мне от Егора Кузьмича, наверное, больше чем кому-либо доставалось и на секретариате, и при личной беседе. Ну, характер у него настоящий, и я благодарен ему за ту науку, которую преподавал, и Михаил Сергеевич тоже. Критика — она, конечно, не сладкая. Но она должна быть. Я Бориса Николаевича знаю давно. Но был удивлен, когда его избрали первым секретарем московского городского комитета партии. Удивлен самым настоящим образом. Видимо, объективность так сработала, что так вот вышло и он это заявил, конечно, не совсем политически грамотно. Перестройка-то у нас

идет, народ-то у нас не отхлынул куда-нибудь, а как раз прилив, и такое заявление делать, что волнообразно, — это совершенно неправильно. Что касается славословия в адрес Михаила Сергеевича со стороны членов политбюро, то я вот от всей души уважаю Михаила Сергеевича и как человека, и как партийного деятеля. Почему я не могу сказать хорошее в его адрес? Это же не славословие, видимо, и товарищи члены политбюро с такими же чувствами.

ГОРБАЧЕВ: На пленуме ЦК я не буду перебивать никого. Вы же ЦК — выше нас всех. Что хотите, то и говорите.

БОРОДИН: Но я скажу, что Михаил Сергеевич не такой человек, чтобы допустить перейти грани дозволенного, этого не будет. Секретариат центрального комитета партии — настоящий секретариат, боевой секретариат, работоспособный секретариат и, я скажу, строгий секретариат, а политбюро — мы все знаем — хорошее, работоспособное. А заявление товарища Ельцина просто несерьезно. Ну, подай заявление и уйди. Часто бывает до того трудно, лежишь и думаешь, а может быть, прийти и сказать. А скажешь — ага, в такое время, да уходить? Ну, и просто чувствуешь себя дезертиром. А коммунист не должен быть таким человеком. Сколько у нас впереди еще трудностей? И бороться надо до конца, а не уходить в кусты, делая громкое заявление.

(Аплодисменты)

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Богомякову Георгию Павловичу — члену центральной ревизионной комиссии КПСС, первому секретарю Тюменского обкома партии.

БОГОМЯКОВ: Товарищи! Прежде всего должен сказать, что каждое посещение руководителей партии и правительства нашей области, а их было немало — мы даже удостоились того, что и генеральный секретарь нашел возможным лично ознакомиться с проблемами этого края, — дали огромнейшую помощь. Каждое из таких рассмотрений, конечно, и седин, и морщин, и волнений добавляет. Это

происходит не бесследно. Но для этого, так сказать, мы живем, для этого действуем, чтоб дело лучше было. Что касается характера рассмотрения вопросов на секретариате, ну, конечно же, товарищи нередко говорят горькие для нас слова. Но по-партийному принципиально, прямо — чего же нам друг перед другом выискивать какие-то сверхвежливые выражения? Я знаю Егора Кузьмича Лигачева лет двадцать. Мы долгие годы работали в соседних областях... и я должен заявить товарищам об очень высоких его качествах и человека и партийца. Очень высоких качествах! И это не только мое мнение, смею вас заверить.

(Аплодисменты)

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Моргуну Федору Трофимовичу — члену центрального комитета КПСС, первому секретарю Полтавского обкома компартии Украины.

МОРГУН: Мы постоянно следим и учимся у москвичей, как работать, как вести дело, и для нас, периферии кажется странным ослабление некоторых позиций в городе Москве, в столице нашей любимой, особенно в торговле. Мы видим, что стало хуже, и с болью это на местах отмечаем. У нас гибнут овощи, у нас гибнут фрукты, в Москве в магазинах нет овощей и фруктов. ЦК КПСС, политбюро и секретариат очень правильно предъявляют претензии всем нам, и мы чувствуем желание политбюро мобилизовать всех нас. В какой-то мере достается и московской городской партийной организации и, наверное, лично товарищу Ельцину. Вместо того, чтобы принять это как следует и в перестройку включаться на всю мощь, ваше заявление, товарищ Ельцин, — это заявление слабака, на которого в руководящих органах партии на одного станет меньше. Я так на это дело смотрю. Что касается линии политбюро и позиции, которую занимает политбюро, то секретариат — боевой орган, у которого нам надо учиться. Ошибки есть? Есть. Там с кадрами что-то не так угадал, там что-то не так угадал. И если в чем-то товарищ Лига-

чев виноват, так, наверное, это когда рождалась кандидатура товарища Ельцина на московскую партийную организацию. А что касается остального, то за генерального секретаря народ говорит, мир говорит, история скажет. Что касается Егора Кузьмича, на которого основные стрелы были направлены, мы на местах знаем — деловой, требовательный, авторитетный. Егор Кузьмич, еще, пожалуйста, прибавляйте этой требовательности и силы в руководстве.

(Аплодисменты)

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется товарищу Месяцу Валентину Карповичу — члену центрального комитета КПСС, первому секретарю Московского обкома партии.

МЕСЯЦ: Товарищи, я тоже в составе обкома партии и центрального комитета партии уже давно. Но, откровенно говоря, такое заявление, которое сделал товарищ Ельцин после содержательных тезисов доклада, который должен будет прозвучать на семидесятилетие нашего великого Октября, коммунисту непростительно. Такое заявление является выражением политической незрелости. Не знаю, успели вы ознакомиться в «Московских новостях» с интервью, которое дал Борис Николаевич иностранным дипломатам. Но я, честное слово, был поражен, когда его прочитал. На вопрос, как понимать демократизацию, когда идет перестройка, он отвечает: это можно проследить на примере судебных органов, которые действовали жестко, и поэтому сегодня в нашей стране сидит в тюрьмах людей больше, чем в какой-либо другой стране. Это что за заявление кандидата в члены политбюро? Неужели нельзя было найти другой пример демократизации, которой полна сегодня наша кипучая, повседневная жизнь? Или разве в этом гласность, когда дается ответ, что в у нас Москве — пусть женщины меня извинят — тысяча сто проституток и две тысячи наркоманов? В общем, думаю, что правильно поступит пленум центрального комитета партии, если осудит выступление товарища Ельцина. Самое главное — не

тормозить на пути перестройки, а если не можешь это сделать, то не мешай, уйди с дороги.

(Аплодисменты)

ГОРБАЧЕВ: Товарищи! Слово предоставляется т.Рябову Якову Петровичу — члену центрального комитета КПСС, чрезвычайному и полномочному послу СССР во Французской Республике.

РЯБОВ: Товарищи! Я молодой дипломат, но в когорте коммунистов уже давно: семнадцать лет член центрального комитета партии. Могу прямо сказать, что секретариат, в котором я работал с 76 по 79 годы, и теперешние политбюро и секретариат — это день и ночь. В позитивном, в лучшем плане, по оценке к прошлому. Второй вопрос — вопрос о перестройке. В общем-то перестройка уже набирает силу, и мы сами ощущаем позитивные ее первые итоги, не только внутри нашей страны, но главным образом наша перестройка дает импульсы Западу в направлении уважения к Советскому Союзу и роста его авторитета. Третий вопрос. О товарище Ельцине. Я могу сказать, что я первый, кто товарища Ельцина заметил на работе в домостроительном комбинате г. Свердловска в 1968 году. Мы выдвинули его на работу заведующим строительным отделом областного комитета партии. Но мы тогда уже подметили, если так можно сказать, негативные явления в его характере, но мы его воспитывали, подсказывали ему. Теперь по товарищу Лигачеву. Я товарища Лигачева знаю более двадцати лет. Бывал и в Томской области, где он работал. И вот сейчас, когда приезжаешь уже из Парижа — мы понимаем, как секретари и члены политбюро заняты, а тут позвонишь, при любой ситуации находит время для встречи и рассмотрения необходимых вопросов. Поэтому я в этой части даю позитивную оценку Егору Кузьмичу. Работая за рубежом, мы гордимся тем, что сейчас происходит в нашей стране. И происходит, если можно так сказать, осознание политических деятелей западного мира. Я буду говорить о Франции. Если прямо сказать, ав-

торитет нашей страны резко поднялся после апрельского пленума центрального комитета партии 1985 года. Возрос авторитет и нашей партии, и нашего лидера. Во Франции я был уже во многих городах, регионах. Встречаемся и с ветеранами, и с членами Сопротивления, и с коммунистами, с социалистами, с радикалами, левыми, правыми и др. Подавляющее большинство из них заявляет: то, что сейчас делается в СССР, находит у них поддержку.

(Аплодисменты).

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Рыжкову Николаю Ивановичу — члену политбюро ЦК КПСС, председателю совета министров СССР.

РЫЖКОВ: Вот я сейчас сидел и думал: почему это произошло? Товарищ Ельцин и я — из одного города. Я знал его много лет, еще когда он не был секретарем обкома. Почему же это произошло сегодня? Думаю, что это не случайность. Да, это не случайность, не какой-то надрыв или обида какая-то. Борис Николаевич, ты подходил постепенно к этому. На мой взгляд, как только он перешел в московскую партийную организацию, у него начал развиваться политический нигилизм. Стало нравиться, что его стали цитировать за границей всякие радиоголоса — что сказал Ельцин. Всякие публикации — что там высказал Ельцин. Начали цитировать кругом. Ведь это факт, документы есть. По-видимому, понравилось вот такое какое-то обособленное положение, какая-то дистанция от всего политбюро. На мой взгляд, вот это и привело к тому, что у него развились непомерные амбиции. У меня часто возникали вопросы: почему он молчит? Почему все поднимаются, и говорят, хорошо ли, плохо, но обсуждают вопрос. Почему он отмалчивается? Теперь я понял, чтобы резервировать за собой мнение и где-то его высказать. Сегодня товарищи дали этому совершенно правильную оценку. Думаю, что он как коммунист навсегда должен запомнить сегодняшний разговор.

(Аплодисменты).

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется товарищу Воротникову Виталию Ивановичу — члену политбюро ЦК КПСС, председателю совета министров РСФСР.

ВОРОТНИКОВ: Во-первых, чтобы была полная ясность: никаких ни разговоров, ни мыслей, ни на практике, ни в идеях, ни в делах, каких-то разногласий или групп или еще чего-то подобного в политбюро и в секретариате нет. Чтобы все это знали четко, что у нас полнейшее единство. Это наша величайшая заслуга, этого состава политбюро. *(Аплодисменты)*. Но здесь действительно правильно говорили товарищи — мы учимся работать, все учимся. И генеральный секретарь, и члены политбюро, и члены ЦК, и все коммунисты, и не всегда у нас получается. Мы преодолеваем, боремся сами с собой, внутри себя, находя пути реализации задач перестройки. И она, перестройка, действительно живет, растет. Поэтому я думаю, что когда на секретариате, который Егор Кузьмич ведет очень тонко, квалифицированно и очень активно, нервы не выдерживают у кого-то, — что же тут сделаешь с этим: каждый стремится сделать как лучше, но иногда, может быть, и срывается. Но понимают товарищи, что это не просто желание дать какие-то нравоучения, высказать нотацию и т.д. А это просто такое состояние, когда недостатки, ошибки, упущения доходят до души и до сердца. И на заседаниях политбюро, Борис Николаевич, ты в большей части действительно отмалчивался. Вот какая-то маска даже на лице у тебя все время. Какое-то постоянное неудовлетворение, какое-то отчуждение все время чувствуется. Ведь он же не был таким, когда работал в Свердловске. А здесь вот надел на себя маску. Всем недоволен, какое-то чувство неудовлетворенности всем и вся... Я очень волнуюсь, не знаю даже, чем как следует закончить...

ГОРБАЧЕВ: Я Александра Яковлевича прошу потерпеть. Давайте мы все-таки прервемся немножко, на тридцать минут или двадцать? На двадцать.

(После перерыва).

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Колесникову Александру Яковлевичу — члену центрального комитета КПСС, бригадирю комплексной бригады горнорабочих шахты «Молодогвардейская» производственного объединения «Краснодонуголь», Украинская ССР.

КОЛЕСНИКОВ: Товарищи! Работая вместе с такими мужественными людьми, как горняки, каждый день в забое, я понимаю, как наши люди, как рабочий класс относятся к центральному комитету, к политбюро, к секретариату. Я хочу сегодня высказать, что рабочий класс понимает перестройку. Мы долго ждали, мы сегодня все это делаем. Рабочий класс берет высокие обязательства, план двух лет к семидесятилетию выполняет, годовые планы выполняет. И то, что сегодня сказал товарищ Ельцин, конечно, верить этому слову нельзя никак. И я хочу сказать, что мы, рабочий класс, будем и дальше поддерживать курс нашей партии, нашего политбюро. *(Аплодисменты)*. Я хочу сказать, Михаил Сергеевич, рабочий класс вас любит, он вам верит, и вы можете быть уверены — рабочий класс всегда был таким и останется. *(Аплодисменты)*.

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Чебрикову Виктору Михайловичу — члену политбюро ЦК КПСС, председателю комитета государственной безопасности СССР.

ЧЕБРИКОВ: Товарищи! Мы сейчас идем с вами к празднику. Вся страна на подъеме. Вся партия на подъеме. У нас очень много забот. Мы должны сделать еще очень много, чтобы с честью встретить 70-летие Октября и достойно его пройти. Огорчает то, что товарищ Ельцин выступил именно в такой ответственный момент для жизни нашей страны. Почему он выбрал именно сегодняшней день, сегодняшней момент для своего выступления? Мне не хочется употреблять слова — случайно это сделано или не случайно, но я думаю, он не думал, когда шел на эту трибуну. Мне кажется, что он больше думал о себе. В этот момент он не подумал о партии. Он ведь должен был подумать, выступая на пленуме центрального комитета пар-

тии, что это войдет в историю нашей партии, этот факт, этот случай. Он не подумал о стране. И в конце концов, я вам скажу, он не подумал о москвичах, о той колоссальной, большой армии московских коммунистов, которая каким-то образом узнает и будет переживать. Не полюбил ты, Борис Николаевич, москвичей! Если бы полюбил Москву, ты никогда бы не позволил себе сегодня произнести такую речь с трибуны. Сейчас, товарищи, во всех странах мира сотни аналитиков, тысячи аналитиков, грамотных людей изучают, что происходит в нашей стране. Глубоко изучают, досконально изучают, следят за каждым нашим шагом и уже приходят к такому выводу: наши друзья все радуются, а империализм в страхе, в страхе, и он ищет пути, как нам помешать. И он уже принимает конкретные меры, как нам помешать провести перестройку, потому что он понимает, что это нас усиливает со всех сторон. И вот в это трудное время, когда мы должны быть все едины и беречь наше единство, как зеницу ока, как завещал нам Владимир Ильич Ленин, в это время мы начинаем бездоказательные речи, мы начинаем демагогию, начинаем заниматься клеветой вместо того, чтобы еще объединиться, взяться за нерешенные вопросы и идти вперед смело к нашей цели, которую мы поставили на последнем съезде нашей партии. *(Аплодисменты)*.

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Шеварднадзе Эдуарду Амвросиевичу — члену политбюро центрального комитета КПСС, министру иностранных дел СССР.

ШЕВАРДНАДЗЕ: Мне, выполняя волю партии и политбюро, иногда часами приходится разговаривать с зарубежными деятелями — президентами, премьер-министрами, министрами иностранных дел и т.д. И первый вопрос, главный вопрос, который они задают во время этих бесед — о перестройке. Что происходит в Советском Союзе? Что в политбюро, есть ли оппозиция? Какие силы? Какова расстановка? Часами допрашивают в буквальном смысле слова — и в Соединенных Штатах, и в Латинской

Америке, и в Австралии... Все, в том числе и наши друзья, спрашивают: какова оценка пройденного пути? Мы находимся на самом серьезном этапе... Я не хотел употреблять это слово, может быть, в моем выступлении многовато эмоциональности, но в какой-то степени сейчас это предательство перед партией. Может быть, я это резко-вато сказал, но по-другому не могу. Люди ночами не спят и думают о том, соответствуют ли они занимаемым должностям на нынешнем переломном этапе. Я, например, этого не знаю. Тысячи раз задавал себе вопрос: отвечаю ли всем необходимым стандартам? Нет, говорил себе, не отвечаю. И мои друзья, мои товарищи, которые работают в нашем коллективе, тот же самый вопрос задают и себе. А тут какие-то амбиции, какие-то обиды, какая-то мелочь. Я думаю, что это не простое выступление. Но вам не удастся столкнуть центральный комитет с московской городской партийной организацией. Нет, не удастся! (*Аплодисменты*). Вы хотите навязать нам другой стиль, критикуя стиль нынешний, который сформировался в муках и трудностях. Это стиль действительно творческий, коллективный, действительно ленинский. Но вам не удастся навязать нам другой стиль. Не пройдет это у вас! Еще Ленин говорил, что стиль — это человек. Кто в этом зале сомневается, что товарищ Лигачев — кристальнейший человек? Человек высочайших моральных и нравственных принципов, преданный, как говорится, душой и телом делу перестройки? Думаю, что такого здесь не найдется. (*Аплодисменты*). Теперь о славословии. Знаете, может быть, это и высокопарные слова, но это действительно наше счастье, что наш коллектив возглавляет Михаил Сергеевич Горбачев. Никакого славословия у нас на заседаниях политбюро нет. Я согласен с товарищами, которые говорят, что это клевета на политбюро. Клевета на секретариат центрального комитета партии. Как и всем другим, мне трудно говорить, но я охарактеризовал бы это выступление Бориса Николаевича, как совершенно безответственное высту-

пленив. Как безответственность перед народом, перед своей родной партийной организацией, от имени которой он выступил с этой трибуны.

(*Аплодисменты*).

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Щербицкому Владимиру Васильевичу — члену политбюро ЦК КПСС, первому секретарю ЦК компартии Украины.

ЩЕРБИЦКИЙ: Товарищи! Думаю, что все мы искренне и сильно огорчены выступлением товарища Ельцина. На днях на продолжительном заседании политбюро детально, подробно обсуждался проект доклада Михаила Сергеевича на предстоящих торжествах по случаю семидесятилетия Октября. И все мы высказали согласие с положениями, оценками и выводами, которые были в проекте доклада Михаила Сергеевича и которые, очевидно, сегодня одобрят и пленум ЦК. И вдруг сегодня вот такое для меня лично совершенно неожиданное выступление товарища Ельцина с неудовлетворенностью положением дел, наскоком на секретариат ЦК, на товарища Лигачева, который, как мы знаем, в поте лица работает, завидную энергию проявляет, ну и прижать может. А иначе сейчас и нельзя, товарищи. (*Смех. Аплодисменты.*) Если были периоды, когда кто-то, под чьим-то, может быть, влиянием, мог немножко отпустить тормоза, то теперь, во всяком случае, в ближайшие два-три года, такой перспективы ни у кого нет, а кто думает иначе, он ошибается. Я думаю, что товарищи москвичи, которые присутствуют здесь, выступлением товарища Ельцина, наверное, тоже огорчены. И, наверное, им неудобно за своего секретаря, который, будем прямо говорить, сегодня так плохо себя показал. Может, это непродуманный шаг под чьим-то впечатлением... Я думаю, что он скажет еще нам, как он реагирует на все то, о чем говорили товарищи. А если товарищ Ельцин останется при своем мнении, то это означает, что он не оправдал доверия центрального комитета партии, не оправдал доверия московской партийной организации, что очень огорчительно.

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Мироненко Виктору Ивановичу — кандидату в члены центрального комитета КПСС, первому секретарю ЦК ВЛКСМ.

МИРОНЕНКО: Уважаемые товарищи! Мне трудно сказать сейчас, как отзовется известие о вопросе, который обсуждается сейчас на пленуме центрального комитета КПСС, в сознании молодых коммунистов и комсомольцев. Не думаю, что будет поколеблена их вера в перестройку. Но то, что это осложнит нашу работу с молодежью, и особенно с молодежью Москвы, это, к сожалению, точно. Как бы ни завершилось это обсуждение, я думаю, ущерб нанесен, и ущерб большой. А этого нельзя прощать. Нельзя прощать и молодому коммунисту, а тем более коммунисту с таким опытом и облеченному таким доверием ЦК КПСС и московской городской партийной организации, как Борис Николаевич Ельцин. *(Аплодисменты.)*

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Соломенцеву Михаилу Сергеевичу — члену политбюро ЦК КПСС, председателю комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

СОЛОМЕНЦЕВ: Уважаемые товарищи! Я думаю, не случайно уже три часа мы обсуждаем выступление товарища Ельцина. Не случайно, потому что в его выступлении проявилось определенное стремление внести разлад в наши ряды, в ряды центрального комитета партии. Его выступление — это не просто демагогия. Когда товарищ Ельцин давал оценки работы секретариата, это просто клевета. У меня появляется такая мысль: может быть, вы решили, что на пленуме ЦК партии найдутся люди, которые выступят в вашу поддержку, станут вашими попутчиками, согласятся с этими суждениями? Но видите, какая зрелость проявлена участниками пленума ЦК партии: ведь вас никто не поддерживает. И я уверяю — не поддержат. И вы напрасно на это рассчитывали. Ваши выступления — не здесь, конечно, — а те, которые вы делали для газет, активов, интервью, подхватывают часто. Но не наши газеты. А подхватывают, к сожалению, почему-то на Запа-

де. Мы узнаем о них через радиопередачи, это идет через другую информацию. Почему привлекают эти ваши выступления? Они привлекают, потому что идут вразрез нашей общей линии. А это и нужно противнику. Это находка для него потому, что выступает не кто-нибудь из глухой провинции, а секретарь московского городского комитета партии, кандидат в члены политбюро. Ну что это такое? Украшает? И даже, может быть, и слово-то «украшает» не подходит. Кстати, все это происходит сегодня, Борис Николаевич, после того, как с вами не один был разговор. Я помню, три разговора было. Даже на днях, во время сессии верховного совета, было сделано замечание в отношении интервью, которое вы давали, когда называли цифры заключенных у нас в стране. Откуда вы взяли эти цифры? Почему вы считаете возможным оперировать этими цифрами, давать, так сказать, пищу корреспондентам и разносить по всему белому свету? Кому это нужно? Что, это нужно нашему народу, нашей партии? Нет, это нужно злопыхателям, это нужно нашим противникам. Почему вы не делаете выводов? А ведь с вами терпеливо говорили. Терпеливо: Борис Николаевич, Борис Николаевич, в том числе и Михаил Сергеевич, может быть, терпеливее всех говорил с вами. Он предлагал дать возможность человеку, так сказать, продумать все, что он сказал или сделал неправильно, учесть критику и т.д. Но изменений не произошло. Какие мы сложнейшие этапы прошли и пережили, Михаил Сергеевич в докладе говорил. Но народ шел за партией, потому что это ленинская партия. Если кто-то допускал ошибки, извращения, то партия их не допускала. Она одерживала победы, несмотря на все трудности, которые мы перенесли, лишения и те извращения, которые допускались. Поэтому самая большая, я думаю, неприятность та, что вы своим выступлением даете какой-то повод нарушить, поколебать наше единство, в том числе ЦК партии. Вы нанесли большой ущерб партии, нашей стране и московской партийной организации. Ведь шила в мешке не

утаишь, а сегодня здесь и москвичи есть, и потом все это разойдется по Москве. Ну как вы будете оправдывать те обвинения, которые выдвинули сегодня в адрес политбюро, секретариата, отдельных товарищей? Поверьте уж мне, вы знаете, что я давно работаю в этих органах партии. Сейчас мы до мельчайших деталей обсуждаем все вопросы, и какие вопросы! Все, кто желает, всегда выступают. Никто не остановит, не оборвет. Пожалуйста, говори. Я поэтому ни в коем случае не согласен с оценкой товарищем Ельциным работы секретариата и политбюро, в том числе товарища Лигачева. Я знаю его по работе в Сибири и здесь. Он — человек, который все отдает делу, старается, на секретариате «выкладывается», как и каждый из секретарей. Во имя чего? Во имя дела. Во имя того, чтобы решение было хорошее, чтобы люди получили должный заряд на секретариате, на политбюро. Знаете, товарищи, каждый из нас попадал под критику, и более, и менее острою. Ну, переживаешь, а дальше-то что? С еще большими усилиями, с еще большей энергией надо трудиться. А товарищ Ельцин замыкается, отдаляется, отгораживается от коллектива. Почему? На кого вы обижены, дорогой мой? Почему надо, как по-русски говорят, дуться на кого-то, суровое выражение лица делать? Зачем? Почему? Я вам скажу: ведь и москвичи это не одобряют, Борис Николаевич. Доходят ведь до каждого из нас разговоры, определенные оценки — не одобряют москвичи такое поведение. Поэтому вам сегодня надо очень серьезно задуматься. Во-первых, следует прямо сказать пленуму, если вы найдете мужество, почему вы так поступили. Именно сегодня. И почему вы набрались смелости оговаривать деятельность отдельных работников и деятельность политбюро? Я думаю, всем здесь ясно, что нам надо в вопросах обеспечения единства, сплоченности, укрепления наших рядов и дальше работать. Ленин уделял этому вопросу огромное внимание. Никому, конечно, не сбить нас с ленинского пути, по которому идет центральный коми-

тет партии. Мы будем этим ленинским путем идти и добиваться новых побед в строительстве социалистического общества. *(Аплодисменты.)*

ГОРБАЧЕВ: Слово предоставляется т. Колбину Геннадию Васильевичу — члену центрального комитета КПСС, первому секретарю ЦК компартии Казахстана.

КОЛБИН: Товарищи! С Борисом Николаевичем мы знакомы давно, давно работали вместе, товарищи по партии, да и просто товарищи. Работали в разных сочетаниях на Урале, и он в моем подчинении был, и было по-другому, наоборот. И считаю своим долгом высказать свое отношение по существу возникшего вопроса. Зная друг друга хорошо, мы знали и сильные стороны друг друга, знали и слабые. Сегодня у него сработала слабая сторона, которая была известна нам раньше. Я только хотел бы сказать о следующих обстоятельствах: жизнь сложилась так, что мы росли один в одном направлении, другой — в другом направлении, но по себе чувствую — чем выше положение твое партийное, общественное положение, тем больше ответственности, тем больше нагрузки. Я прямо скажу, Михаил Сергеевич, члены политбюро, что практически бессонные ночи проходят в поисках путей разрешения проблем. И всякий раз, начиная новую работу, на новом участке, постоянные поиски каких-то других, неординарных подходов, не проходят без ошибок. И на эти ошибки реагируем по-разному. Я скажу откровенно, Михаил Сергеевич, товарищи члены политбюро, я болезненно реагирую на ошибки, которые допускаю, бурно реагирую, неправильно реагирую. Поэтому, скажем, острота постановки вопроса со стороны аппарата ЦК и руководства центрального комитета, конечно, вызывает глубокие переживания и, я бы сказал, перенапряжение. Но это есть жизнь, и без этого мы, наверное, не пройдем в поисках новых путей и решений. Я просто считаю, Борис Николаевич, — не знаю, чем ты руководствовался, — но как товарищ тебе по партии, как близкий товарищ в жизни, я во многом у тебя

учился, когда ты работал и в свердловской организации, и организацию поднял, было очень приятно, как быстро менялось положение дел с продовольственным снабжением, как менялись градостроительные дела, — много положительного я видел, находил и черпал, — а сегодня ты совершил ошибку.

ГОРБАЧЕВ: Хорошо. Заканчиваем на этом, товарищи. Собственно, все уже ясно. Если у кого-то есть мнение, отличающееся от преобладающих оценок, высказанных здесь, то прошу выступить. Предоставляется, с вашего разрешения, слово т. Затворницкому Владимиру Андреевичу — бригадирю комплексной бригады треста «Мосстрой» № 1 Главмосстроя.

ЗАТВОРНИЦКИЙ: Я ничем не отличающийся: как вы, так и я. Я хочу еще продолжить чуть-чуть. Мы вот сидим, москвичи. Я — член горкома партии, член ЦК уже несколько пятилетий... Как мы вас уважаем, Борис Николаевич! Мы с Хрущевым, например, в полтора раза быстрее справились. А тут вот такая демократия — мы вам все внушаем, внушаем. (Смех.) Так можно довшушаться, и вообще вы забудете, о чем тут разговор, — критикуют вас или хвалят. Вы же шли к такой трибуне и споткнулись. Вы сами кандидат в члены политбюро и спотыкались специально, чтобы зацепить товарищей. Видимо, вы хотели все-таки прорваться в члены политбюро. Это мое мнение личное. Я вас очень уважал, Борис Николаевич, и сейчас уважаю, но мне жаль, что вы так здорово подвинулись сегодня. Рабочий класс никогда не подведет коммунистическую партию, центральный комитет, политбюро, секретариат, мы всегда будем преданы и верны вам, дорогие товарищи. Спасибо. (Аплодисменты.)

ГОРБАЧЕВ: Борис Николаевич, у тебя есть, что сказать? Давай. Хоть и критикует нас т. Затворницкий, но дадим тебе слово еще раз.

ЕЛЬЦИН: Суровая школа сегодня, конечно, для меня — за всю жизнь, с рождения и являясь членом партии, в том

числе работая на тех постах, где доверяли центральный комитет партии, партийные комитеты. Сначала — некоторые уточнения. Что касается перестройки, никогда не дрогнул, и не было никаких сомнений ни в стратегической линии, ни в политической линии партии. И когда после январского пленума, как и после съезда был большой всплеск, такой эмоциональный, политический, идеологический хороший всплеск. И это продолжалось и после июньского пленума ЦК, но вскоре вслед за июньским пленумом центрального комитета партии мы стали замечать, что настрой несколько меняется. И вот, видимо, по нашей вине мы допустили такой определенный спад. И я ни в коем случае не обобщал и не говорил, что это в целом по стране и по партии, говоря только о московской организации. В отношении славословия. Здесь опять же я не обобщал и не говорил о членах политбюро, я говорил о некоторых, речь идет о двух-трех товарищах, которые, конечно, злоупотребляют, по моему мнению, иногда, говоря много положительного. Я верю, что это от души, но тем не менее, наверное, это все-таки не на пользу общую. В отношении...

ГОРБАЧЕВ: Борис Николаевич...

ЕЛЬЦИН: Да.

ГОРБАЧЕВ: Ведь известно, что такое культ личности. Это система определенных идеологических взглядов, положение, характеризующее режим осуществления политической власти, демократии, состояние законности, отношение к кадрам, людям. Ты что, настолько политически безграмотен, что мы ликбез этот должны тебе организовывать здесь?

ЕЛЬЦИН: Нет, сейчас уже не надо.

ГОРБАЧЕВ: Сейчас вся страна втягивается в русло демократизации. И после этого обвинить политбюро, что оно не делает уроков из прошлого? А разве не об этом говорилось в сегодняшнем докладе?

ЕЛЬЦИН: А между прочим, о докладе, как я...

ГОРБАЧЕВ: Да не между прочим. У нас даже обсуждение доклада отодвинулось из-за твоей выходки.

ЕЛЬЦИН: Нет, я о докладе первым сказал...

Г о л о с а: О себе ты заботился. О своих неудовлетворенных амбициях.

ГОРБАЧЕВ: Я тоже так думаю. И члены ЦК так тебя поняли. Тебе мало, что вокруг твоей персоны вращается только Москва. Надо, чтобы еще и центральный комитет занимался тобой? Уговаривал, да? Правильно товарищ За-творницкий сделал замечание. Я лично переживаю то, что он вынужден был сказать тебе в глаза. Но не жалею, что этот разговор, начатый тобой, на пленуме состоялся. Хорошо, что он состоялся. Надо же дойти до такого гипертрофированного самолюбия, самомнения, чтобы поставить свои амбиции выше интересов партии, нашего дела! И это тогда, когда мы находимся на таком ответственном этапе перестройки. Надо же было навязать центральному комитету партии эту дискуссию! Считаю это безответственным поступком. Правильно товарищи дали характеристику твоей выходке. Скажи по существу, как ты относишься к критике?

ЕЛЬЦИН: Я сказал политически, как я отношусь к этому.

ГОРБАЧЕВ: Скажи, как ты относишься к замечаниям товарищей по ЦК? Они о тебе многое сказали и должны знать, что ты думаешь. Они же будут принимать решение.

ЕЛЬЦИН: Кроме некоторых выражений, в целом я с оценкой согласен. То, что я подвел центральный комитет и московскую городскую организацию, выступив сегодня, — это ошибка.

ГОРБАЧЕВ: У тебя хватит сил дальше вести дело?

Г о л о с а: Не сможет он. Нельзя оставлять на таком посту.

ГОРБАЧЕВ: Подождите, подождите, я же ему задаю вопрос. Давайте уж демократически подходить к делу. Это же для всех нас нужен ответ перед принятием решения.

ЕЛЬЦИН: Я сказал, что подвел центральный комитет

партии, политбюро, московскую городскую партийную организацию, и, судя по оценкам центрального комитета партии, членов политбюро, достаточно единодушным, я повторяю то, что сказал: прошу освободить и от кандидата в члены политбюро, соответственно, и от руководства московской городской партийной организацией.

ГОРБАЧЕВ: Теперь хотелось бы дать несколько пояснений по выступлению товарища Ельцина. Товарищ Ельцин прислал мне письмо на юг, в котором он выразил мысли, уже известные вам, и просил решить вопрос о его пребывании в составе политбюро. Когда я вернулся из отпуска, у нас с ним был разговор на эту тему. Мы условились, что в период подготовки к 70-летию Октября не время обсуждать его вопрос, а надо действовать. И в самом деле, товарищи, часа, минуты свободной нет. Вы, наверное, видите, что на пределе все идет. Мы тогда условились с товарищем Ельциным, что после праздников встретимся, посидим и все обсудим. Я не думал, что после нашей договоренности товарищ Ельцин на нынешнем пленуме центрального комитета, имеющем этапное значение для жизни партии в осознании ее истории и перспектив, представит свои претензии центральному комитету партии. Лично я рассматриваю это как неуважение к генеральному секретарю, к нашей договоренности. Мы должны выразить мысли партии, оценить все, что было, и подтвердить, что КПСС берет на себя ответственность за будущее. И в этот момент товарищ Ельцин выдвигает свои эгоистические вопросы. Ему, понимаете, не терпится, не хватает чего-то! Суетится все время. А нужна выдержка революционная на таких крутых поворотах, когда кости трещат и мысли напряжены. Если дрогнут ЦК и политбюро, если начнутся шараханье, шатание, деморализация руководящего, партийного ядра нашего общества, то о какой перестройке можно говорить! В общем надо отвергнуть как очень серьезный политический промах то, что товарищ Ельцин бросил тень на деятельность политбюро и секретариата, на обстанов-

ку, сложившуюся в них. Теперь что касается товарища Лигачева. Он весь на виду. Такая особенность этого человека — весь на виду. Открытый, с боевым характером, эмоциональный человек, который имеет огромный политический опыт, предан делу перестройки. Костями, так сказать, ложится за нее. Это пустые разговоры, болтовня зарубежного радио, что у нас нет единства. Нас хотят поссорить, столкнуть то Горбачева с Лигачевым, то Яковлева с Лигачевым и так далее. Я вношу такое предложение. Первое. Пленум признает выступление товарища Ельцина политически ошибочным. Не расшифровывать, по каким вопросам и что. Оно по всем пунктам политически ошибочно. И второе. Поручить политбюро ЦК КПСС, московскому горкому партии рассмотреть вопрос о заявлении товарища Ельцина об освобождении его от обязанностей первого секретаря МГК КПСС с учетом состоявшегося обмена мнениями на пленуме ЦК. И сразу давайте договоримся, что это все провести после праздников. Нельзя и некогда нам сейчас заниматься этим делом, товарищи. Подходящее решение? Правильное? Москвичи, правильное решение?

Голоса: Правильное.

ГОРБАЧЕВ: Ставлю на голосование проект этого постановления. Прошу поднять руку. Кто за? Кто против? Кто воздерживается? Нет. Вот такое решение приняли. Пленум завершаем. Думали мы его закончить сегодня до обеда, но заканчиваем лишь к вечеру. Что же, такова задача ЦК: ничего не оставлять без внимания.

ЗАНАВЕС

О ЖУРНАЛЕ «ВРЕМЯ И МЫ»

После 15 лет молчания советская печать впервые заговорила о журнале «Время и мы». Предлагаем вниманию читателей статью доктора филологических наук Александра Мулярчика «Эмигрантская мысль сегодня», которая опубликована в 21 номере журнала "Новое время", издающегося в СССР на десяти языках. Как убедится читатель, автор статьи, стремясь объективно оценить роль нашего журнала, в ряде случаев «по-своему» истолковывает некоторые его публикации и высказывания главного редактора. Однако в целом нельзя не признать, что перед нами первая серьезная попытка советской печати дать обстоятельный анализ современной эмигрантской мысли.

Александр МУЛЯРЧИК

ЭМИГРАНТСКАЯ МЫСЛЬ СЕГОДНЯ

О чем пишут журналы русского зарубежья

В последний октябрьский понедельник прошлого года по всей Америке отмечался День нечестивцев — именно так лучше всего перевести на русский язык название отсутствующего, к сожалению, в нашем календаре веселого праздника Хэллоуин. Проведя в США уже без малого месяц, я с раннего утра ощутил вокруг себя атмосферу хрестоматийных рассказов Вашингтона Ирвинга о духах и привидениях. Повсюду скалили зубы разрисованные углем ярко-оранжевые тыквы (одной из них был, как известно, когда-то сражен незадачливый герой «Легенды о Сонной Лощине» школьный учитель Икабод Крейн), по аллеям университетского городка сновали переряженные чертенятами и ведьмочками студенты, а в учебных аудиториях слышались звуки дудок и губных гармошек.

Весь этот гул и гам разбивался о двери кабинета Мориса Фридберга, заведующего отделением славянских языков и литератур Иллинойского университета, расположенного посреди равнин в «двойном» городке Урбана-Шампейн. После долгого заочного знакомства и принимавшего порой весьма острый характер обмена мнениями как на страницах прессы, так и в эфире, мы впервые встретились лицом к лицу, и нам было о чем поговорить. Как я недавно узнал, среди прочих регалий Фридберга значилось членство в составе редакционной коллегии издаваемого в Нью-Йорке русскоязычного журнала «Время и мы».

— Я у них что-то вроде свадебного генерала, да это и понятно: живу далеко, контактирую с ними нерегулярно, — сказал мне мой собеседник. — Впрочем, в таком же положении другие участники редколлегии Владимир Шляпентох и Ефим Эткинд: первый преподает в штате Мичиган, второй — в Париже. А журнал сам по себе интересный, советую к нему присмотреться.

«ВРЕМЯ И МЫ»

По сравнению с аналогичными зарубежными изданиями «Время и мы» действительно производит довольно солидное впечатление. Основанный в середине 70-х годов, почти одновременно с «Континентом», он намного опередил последний по количеству выпусков. В начале 1988 года вышел в свет юбилейный сотый номер журнала, что дало повод его главному редактору Виктору Перельману выступить с некоторыми суждениями, претендующими на обобщение. «Время и мы», — признал он, — так и не стал массовым изданием... ссылки на условия эмиграции многое объясняют, но вряд ли могут прибавить оптимизма». О тяжелом уделе «свободного и независимого издания» Перельман писал и прежде, скорбя в связи с наблюдавшимся в 80-е годы бурным ростом «нового класса» самодовольных и преуспевающих, но нищих духом недавних эмигрантов из Советского Союза.

В Соединенных Штатах хорошо тем, кто способен легко менять кожу: «За все, что предоставляет Америка, приходится платить — не деньгами (добро бы деньгами!), а отказом от чего-то бесконечно ценного, что мы имели там — в нищете, убогости и рабстве и чего незаметно для себя лишились здесь — в сытости, обилии и свободе...» На вопрос о том, «не происходит ли здесь, в США, сдачи бывшего советского интеллигента», не становится ли он, в отличие от коренного американца, жертвой пресыщенности, как это бывало с героями «северных рассказов» Джека Лондона, попавшими на борт гостеприимного судна после недель и месяцев голодания, Перельман готов ответить утвердительно. И все же, говорил он в интервью по случаю сотого номера «Время и мы», «как ни сильны потребительские инстинкты, духовный момент все же сильнее», и, по мнению главного редактора, руководимое им издание ориентируется именно на это начало.

Стремясь возродить за рубежом классический тип российского «толстого» журнала, «Время и мы» не менее половины объема каждой книжки отводит беллетристике. Символично, что первым крупным художественным произведением, опубликованным на его страницах почти 15 лет назад, был яркий антисталинский роман Артура Кестлера «Тьма в полдень», с которым (в новом переводе он получил название «Слепящая тьма») смогли недавно ознакомиться и наши читатели. Можно сказать, что антисталинизм, разоблачение идеологии и практики сталинской тирании, анализ корней режима, сохранившего многие свои черты и спустя треть века после смерти «отца народов», — стержень всей мировоззренческой программы журнала в том, что касается «доперестроечного» прошлого Советского Союза.

Некоторые темы, поднятые на страницах «Время и мы», еще, по-видимому, ждут своих почти зеркальных отражений в нашей печати. Среди них — встающая за воспоминаниями Михаила Якубовича и других «уцелевших» истинная исто-

рия так называемого «Союзного бюро социал-демократов меньшевиков», процесс над которым в марте 1931 года довершил разгром отклонявшихся от «генеральной линии» оттенков социалистической мысли. Еще один материал, заслуживающий по нынешним временам дословного воспроизведения, — это рецензия Бориса Суварина, автора одной из первых критических биографий Сталина, на книгу Александра Солженицына «Ленин в Цюрихе». Соглашаясь с тем, что «заслуги Солженицына исключительны и очевидны», Суварин затем с опорой на горы документальных свидетельств вдребезги разносит далеко не оригинальную версию о «запломбированном вагоне» для Ленина и его соратников и об Октябрьском перевороте, совершенном будто бы исключительно на «немецкие деньги».

Многие из литературных произведений, впервые «открытых» через посредство журнала «Время и мы», недавно пришли и к советскому читателю. Это, быть может, лучший по своему художественному качеству среди всех «задержанных текстов» роман Бориса Ямпольского «Московская улица», а также очерки Владислава Ходасевича о Горьком, история ареста романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», рассказанная Семеном Липкиным. Вполне вероятно, что некоторые из публикаций «Время и мы» 10-15-летней давности как раз сейчас дожидаются своей очереди в портфелях наших ежемесячников. Не удивлюсь, если в их числе окажутся «Палисандрия» Саши Соколова, «Персональное дело коммуниста Юфы» Виктора Некрасова и роман «Двор» Аркадия Львова, который кажется мне едва ли не самым самобытным и вместе с тем тонко чувствующим традицию прозаиком так называемой «третьей волны» эмиграции.

Однако не беллетристика, не крайне интересные порой мемуары, не сведение счетов со Сталиным и другими «строителями нового мира» должны вызывать в настоящий момент первочередной интерес при внимательном ознакомлении не только с журналом «Время и мы», но также и

с «Континентом», «Стрельцом», «Ковчегом», «Поисками», «Эхо», «Вече» и другими подобного рода изданиями. Истории России после 1917 года, ее общественным институтам и политическим деятелям, ее неумирающей культуре и перманентно неустойчивой экономике, ее безмерным страданиям и тем, кто в них повинен, посвящены на Западе тысячи и тысячи исследований, и с фактографической стороны к ним вряд ли можно прибавить что-то принципиально новое. А вот в рассуждении о том, что происходит с нами сегодня, в самом конце XX века, американские и западноевропейские авторитеты в состоянии сказать намного меньше, чем наши бывшие сограждане, не порывавшие все эти годы умственных и психологических связей со своим отечеством.

ПОХОЖИЕ БИТВЫ

Подобно тому как в текущих внутренних битвах «Огонек» и тех, кто занимает сходные позиции, атакуют в боевом строе, звавшемся прежде «свиньей», «Наш современник», «Москва» и «Молодая гвардия», в чем-то близкая расстановка идеологических сил существует — по крайней мере с середины 70-х годов — и в русском зарубежье. Геркулесовы столпы ареала эмигрантской умственной жизни были обозначены двумя сборниками — «Из-под глыб» (1974) и «Самосознание» (1976). Для первого из них, насколько можно судить, основной являлась мысль об абсолютной ценности национальной православной традиции. В то же время авторы второй книги ставили на первое место соблюдение гражданских прав человека.

По сути, участники сборника «Из-под глыб» в той или иной мере варьировали давно и прочно сформировавшиеся мнения Солженицына, отголоски которых так или иначе все эти годы проникали в достаточно широкие слои нашей общественности. «Не следуйте Западу, его демократии, его свободе, его разврату, не следуйте всему, что отвращает

ваши души от чего-то расплывчатого, но истинного, высокого, русского», — так в чуточку шаржированном, но тем не менее довольно точном пересказе одного из комментаторов представлен пафос выступлений Солженицына начиная с памятной гарвардской речи, произнесенной вскоре после его высылки из СССР в феврале 1974 года. Выдвинутые тогда, а затем *дополненные* и развернутые тезисы сложились в то, что оппоненты писателя именуют «авторитарно-националистической платформой».

Утверждая неприемлемость для нынешней России западного примера, авторы сборника «Из-под глыб» находились, судя по всему, под сильным впечатлением той волны самокритики и даже самобичевания, что поднялась в Соединенных Штатах в пору вывода американских войск из Вьетнама и утергейтских разоблачений. Не имея дела у себя на родине с практикой публичного самоанализа и не впитав в себя политической культуры западных обществ, они сочли за погребальный звон зазвучавшие тогда колокола обновления. Ничем иным нельзя, к примеру, объяснить следующий пассаж из статьи Солженицына «На возврате дыхания и сознания»: «Сегодня западные демократии — в политическом кризисе и духовной растерянности... (Сегодня Запад) на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздерганной и сниженной душой». Ту же самую ошибку, кстати, совершили и творцы внешней политики «эпохи застоя», когда, понадеявшись на своих, казалось бы, квалифицированных советчиков и их уверения в «необратимом упадке Запада», они прибегли к политике силового давления, которая уже к середине 80-х годов оказалась полностью несостоятельной.

Другая фракция российского «независимого самосознания» исповедовала хорошо известные западнические взгляды с опорой на давнюю традицию. На новом витке раздавались слова о пагубности духовного изоляционизма, о том, что «опыты с демократией» в России после Октябрьского (1905 года) манифеста могут оказаться не на-

прасными; вслед за Дэниелом Беллом и Збигневом Бжезинским утверждалось, что реальности современного, постиндустриального общества не оставляют места для «кровавых аргументов» и автократического мышления. Сторонники подобных воззрений доходили до полного нигилизма (как в случае с Александром Зиновьевым), заявляя о том, что «высокая российская духовность — это продукт самообольщения, выражающий осознание фактической духовной ущербности российского человека». Парадоксальная и эффектная при беглом чтении манера Зиновьева (так же как и другого «радикала-одиночки» Льва Наврозова) не может, однако, считаться характерной для образа мыслей эмиграции и даже для более или менее представительной ее части.

ДИАЛОГ С ЭМИГРАЦИЕЙ

Усвоить некоторые западные идеи, утверждающие примат общечеловеческих моральных принципов, никогда не было для нас особенно трудным делом. Сложнее оказалась задача установления прочной смычки с современными носителями этих ценностей, живущими и действующими не в статичной, пригодной для сугубо философического подхода, а в переменчивой, предстающей подчас калейдоскопической сумятицей обстановке. Почти 15 лет назад Лев Копелев оптимистично высказывался по поводу той связующей роли, которую эмиграция «третьей волны» могла бы сыграть за границей. Ставя в пример эмигрантов более ранних поколений, он писал: «Каждый из них, оставаясь русским по душевному складу, по строю мысли, по глубокой сути своего творчества... становился настоящим гражданином мира и деятельным участником духовной жизни тех краев, где жил. Его личность, воплощенные, олицетворенные в ней самобытные особенности русской национальной культуры вплетались неотъемлемыми чертами в развитие метафизической мысли, словесности, музыки,

пластических и зрелищных искусств того народа, той страны, которые раньше, казалось, были совершенно чужды России, бесконечно от нее далеки».

Наблюдения Копелева можно принять с поправкой, впрочем, на то, что вот уже по меньшей мере полтора века, со времен Александра Тургенева и маркиза де Кюстина, Западная Европа в духовном отношении не была и не могла быть «совершенно чуждой» России. Но нынешняя эмигрантская ситуация не подтверждает его прогнозов. Еще в самый разгар стимулированной политикой «детанта» волны выездов издательница парижской «Русской мысли» Зинаида Шаховская утверждала, что «для того, чтобы оказывать влияние на Запад, надо хоть немного его знать, уметь говорить на общем с ним языке... (в то время как) люди третьей эмиграции... не знают Запада». С тех пор подобные оценки не раз высказывал Андрей Синявский («...я убедился, что невозможно создавать культуру на эмигрантской почве...»). Как уже упоминалось, еще более горькие мысли складываются в настойчивую тему размышлений Виктора Перельмана. «Забота о собственном благе стала нашим высшим и единственным Демиургом» — таков лейтмотив его ламентаций.

Эпидемию приобретательства и потребительства, особенно характерную для русскоязычной общины в США, вряд ли можно ставить в упрек этим людям. Но нельзя не заметить и происходящего в 80-е годы явного снижения тона интеллектуальных дебатов. То, что выглядело прежде возвышенной историсофской дискуссией, теперь нередко оборачивается перебранкой. Степень полярности взглядов растет, причем к концу десятилетия явный перевес возникает на стороне приверженцев «русской идеи». В определенной изоляции ощущают себя заявляющие о своей «внепартийности», нацеленные на плюрализм и идеологическую терпимость издания.

Настоящий переполох в здание эмигрантской мысли внес поворот к перестройке и гласности. «Если события в Рос-

сии пойдут тем же темпом, что и в последние месяцы, вскоре не будет оснований продолжать обозрения эмигрантских журналов... Впервые с 20-х годов в отношениях «Россия — эмиграция» ощущается примат России, а это требует перестройки всех наших отношений и привычек», — писал ровно два года назад в редакционном комментарии ставший к этому моменту двухмесячником журнал «Время и мы». Признание того, что сегодня «советское общество становится более открытым, более свободным и во многих отношениях более демократичным», не означает, впрочем, одобрения всех исходных общеидеологических установок принятого курса.

Скептицизма на страницах эмигрантской прессы все еще предостаточно. Тема «энергии вождя и безмолвия народа» находит выражение в фатализме заявлений о «всей беспочвенности надежды М.С. Горбачева опереться на личностные качества своих подданных», о «смертном грехе» советской истории, вылепившей «человека, который не способен жить ни при каком другом режиме». «Трудно представить, что скрытые силы России не дадут себя знать в будущем», — на такой мысли сходятся сейчас как эмигранты, так и многие американские советологи. Однако вопрос заключается именно в том, сколько времени уйдет на это: годы или десятилетия?

В последние два-три года эмиграция зорко следит за процессами, происходящими в Советском Союзе и находящими отражение на страницах прессы. «Советское общество в зеркале журнала «Огонек», «Битвы «Нашего современника», «Слово о «Новом мире» — вот лишь некоторые типичные заголовки. Между тем наш диалог с эмиграцией пока только начинается. Можно утверждать, что у всех искренне радеющих за благополучие российского государства немало точек соприкосновения, и поэтому нам никак нельзя пренебрегать плодами мысли современного русского зарубежья.

ПОРТРЕТЫ ИЗ РОССИИ

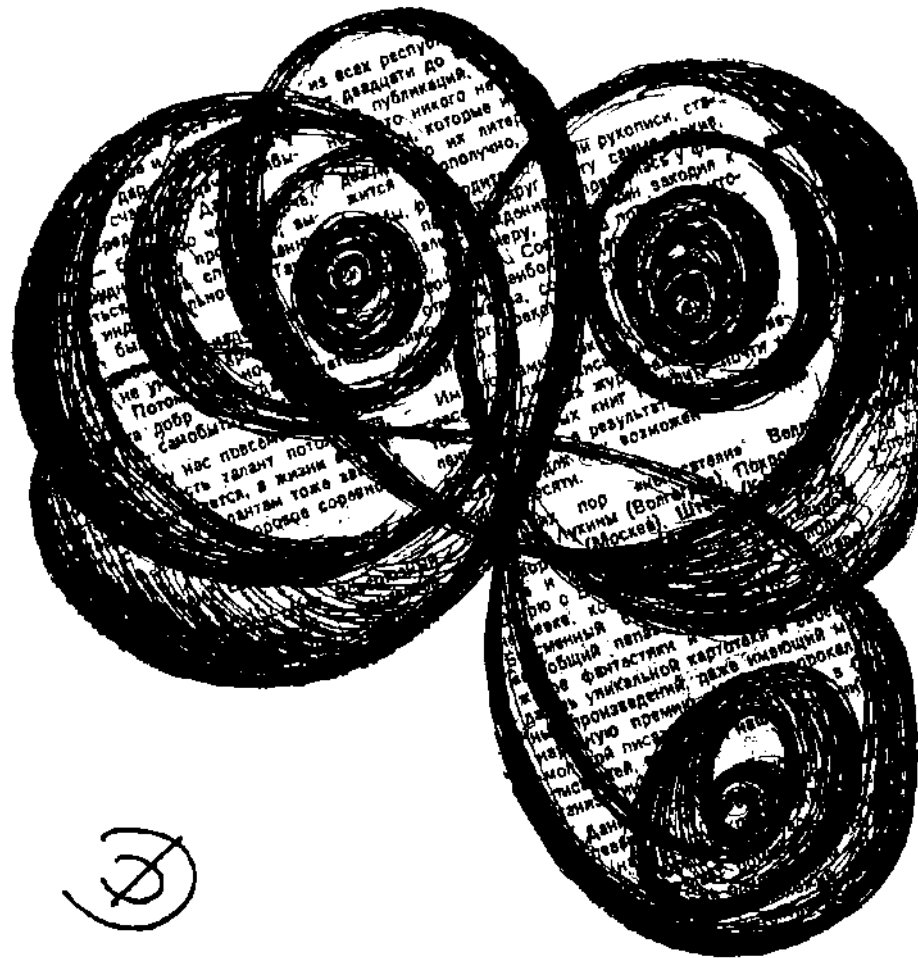
Вернисаж, который мы предлагаем читателям на сей раз, знакомит их с работами не профессионального художника, а московского философа Давида Дубровского. Ведущий научный сотрудник института философии Академии наук, автор 150 философских работ, профессор Дубровский известен как специалист в области психики и мозга. И мало кто из его коллег (не говоря вообще о любителях искусства) знает о его занятиях живописью. Давид Дубровский никогда не участвовал в выставках, его не приглашали в галереи, да и сам он об этой стороне своей жизни не распространяется. И работы передал журналу, когда был в гостях у брата в Нью-Йорке. «Если вам это интересно, напечатайте», — сказал он словно бы между прочим, не скрывая того, что главная сфера его интересов в иной области.

Итак, взгляды в живопись, которую нам предлагает автор. Начнем с того, что перед нами целая галерея лиц. Они, правда, выполнены в особой, необычной манере, большей частью они абсурдны, но это все-таки лица, иногда с довольно выразительными, живыми глазами, а иногда они даже несут на себе печать страданий. Художник объединяет их общим названием «Портреты из России». О чем же говорит каждый из портретов? И в

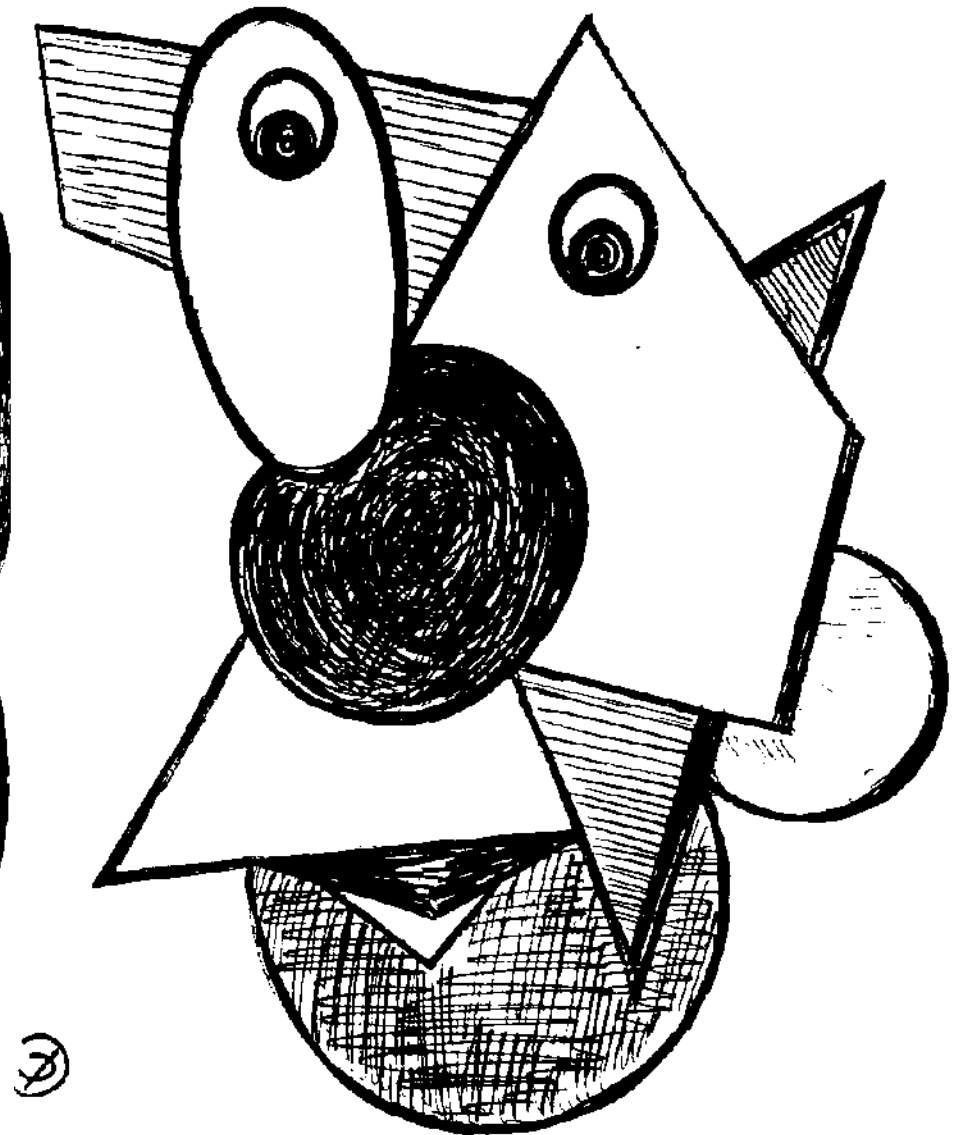
чем смысл предлагаемой нам живописи? Думаю, что на эти вопросы невозможно ответить, не обратившись к философским работам Дубровского, точнее к сфере его научных интересов. В самой общей форме эти интересы — мозг и психика, о чем уже сказано выше. Но если мы хотим понять их глубже, то следует обратиться к будущему альманаху «Мост», редактором которого станет Давид Дубровский. «Какой будет проблематика вашего альманаха?» — спрашиваю я. «О! Она будет очень широка, — отвечает профессор Дубровский, — однако, все будет вращаться вокруг человеческой личности. Темы будем брать самые острые, помогающие препарировать психику, заглянуть в ее глубины». И далее идет перечень намечаемых тем: «Самопознание и самообман», «Обман как социальный феномен», «Подлинные и мнимые ценности», «Личность в экстремальных условиях», «Человек перед лицом смерти» и многие, многие другие.

Возникает вопрос: не является ли все это некоей философской подоплекой «Портретов из России»? Или скажем так: не просматривается ли за этими фантазмагорическими портретами определенная ситуация, в которой находится мозг и психика советского человека: например, советский человек в экстремальных условиях, перед лицом смерти и т.д.? Автор как бы пытается нащупать точки пересечения живописи и философии. Иногда это ему удается, иногда он «бьет» мимо цели. Напомним, что перед нами не профессионал-художник, но профессионал-философ, который в условиях гласности пытается использовать средства живописи для познания психики человека. Разумеется, перед нами лишь первые робкие шаги, но шаги в направлении, которое само по себе не может не вызвать интереса.

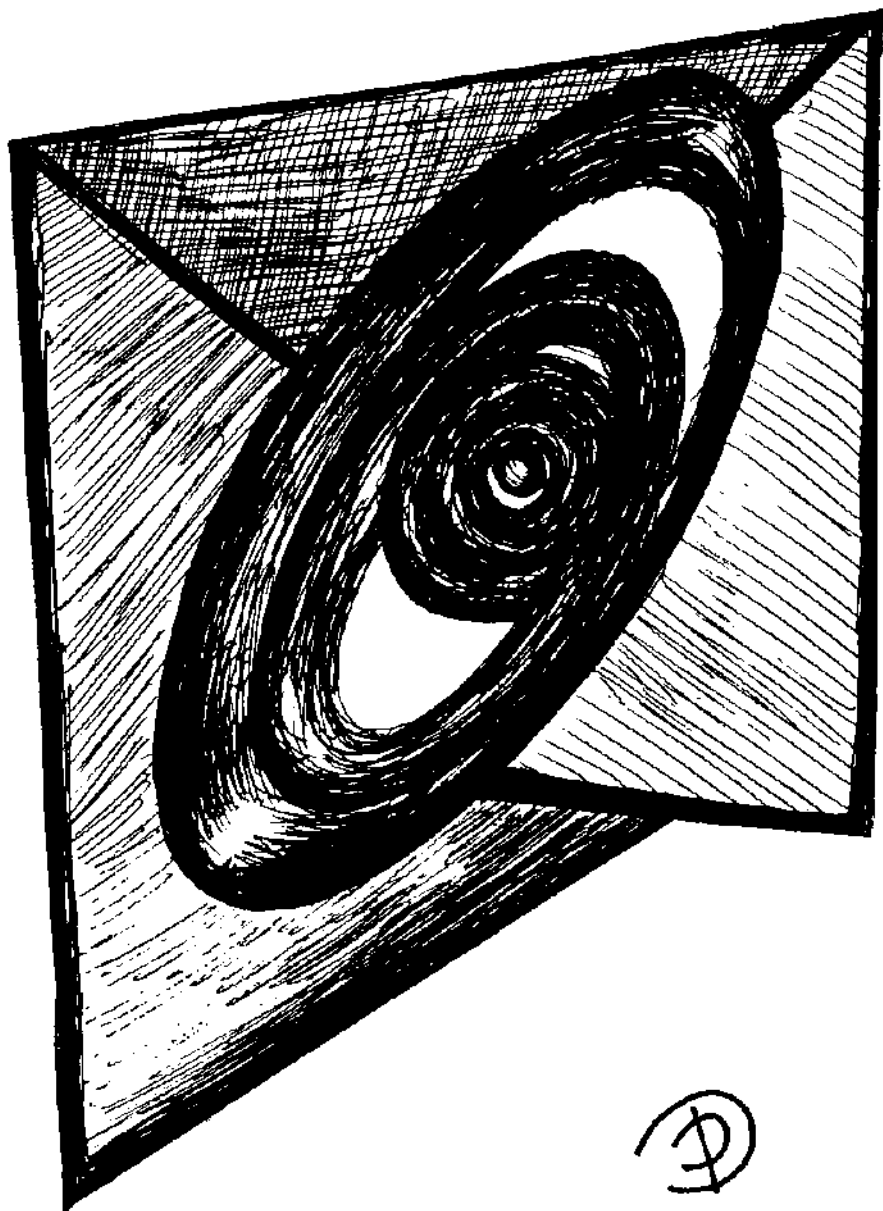
В. Петровский



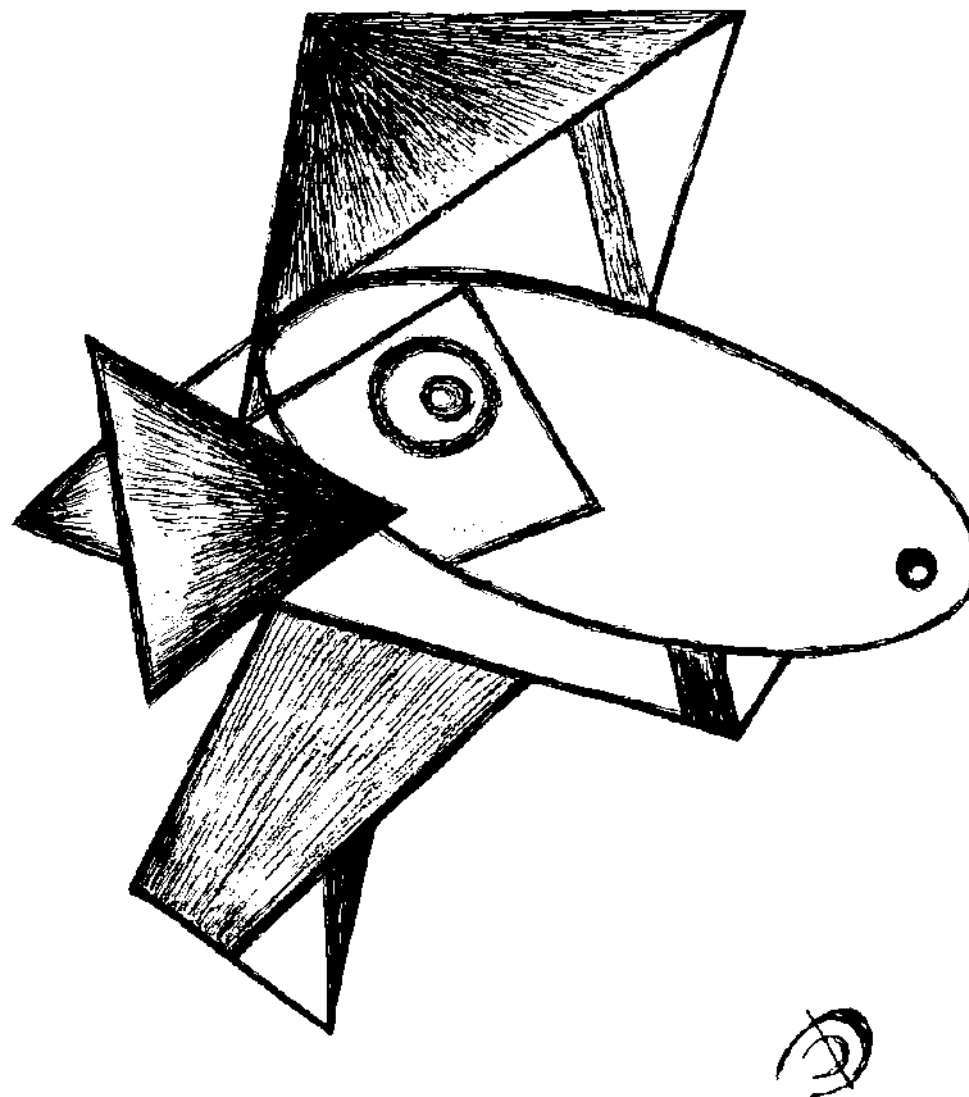
Из серии «Портреты из России».



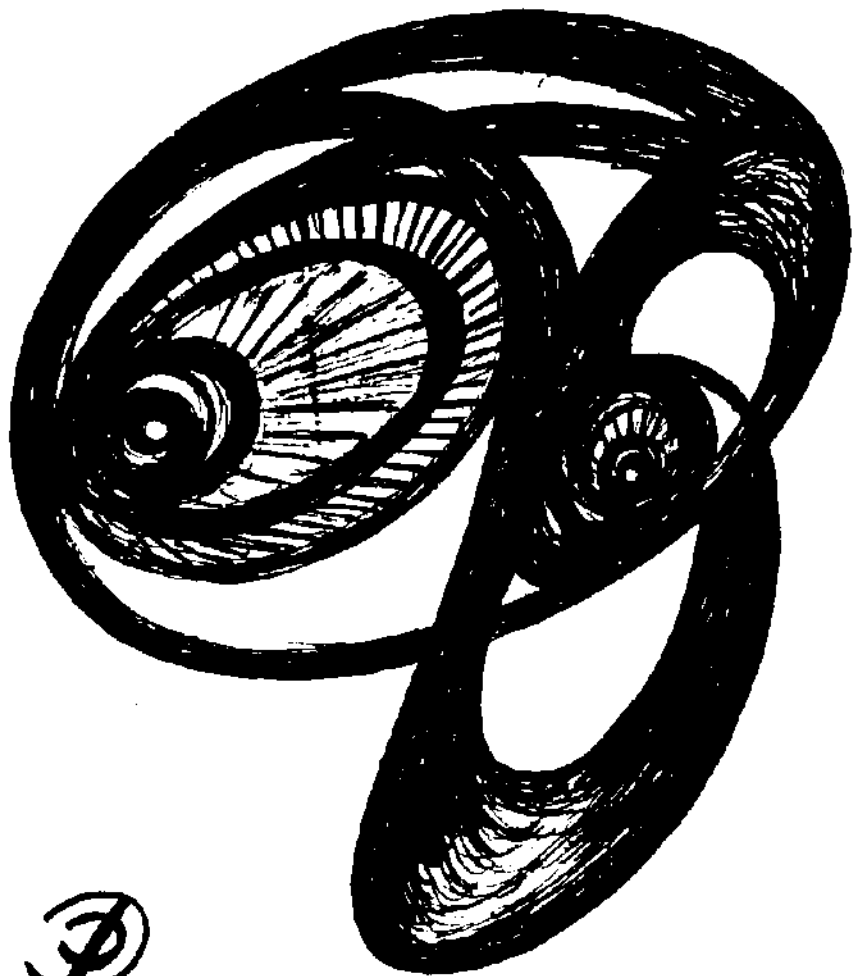
Из серии "Портреты из России".



Из серии «Портреты из России».



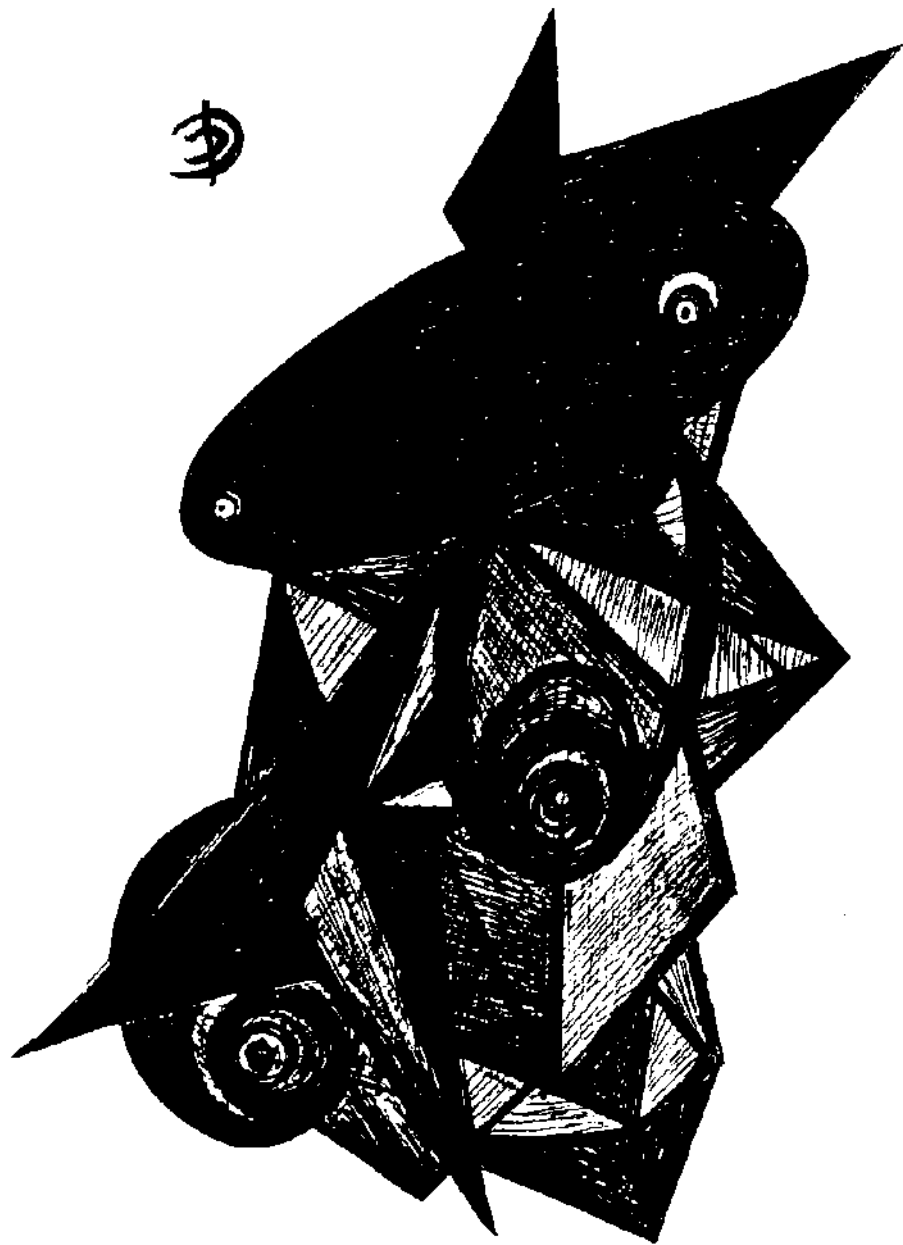
Из серии «Портреты из России».



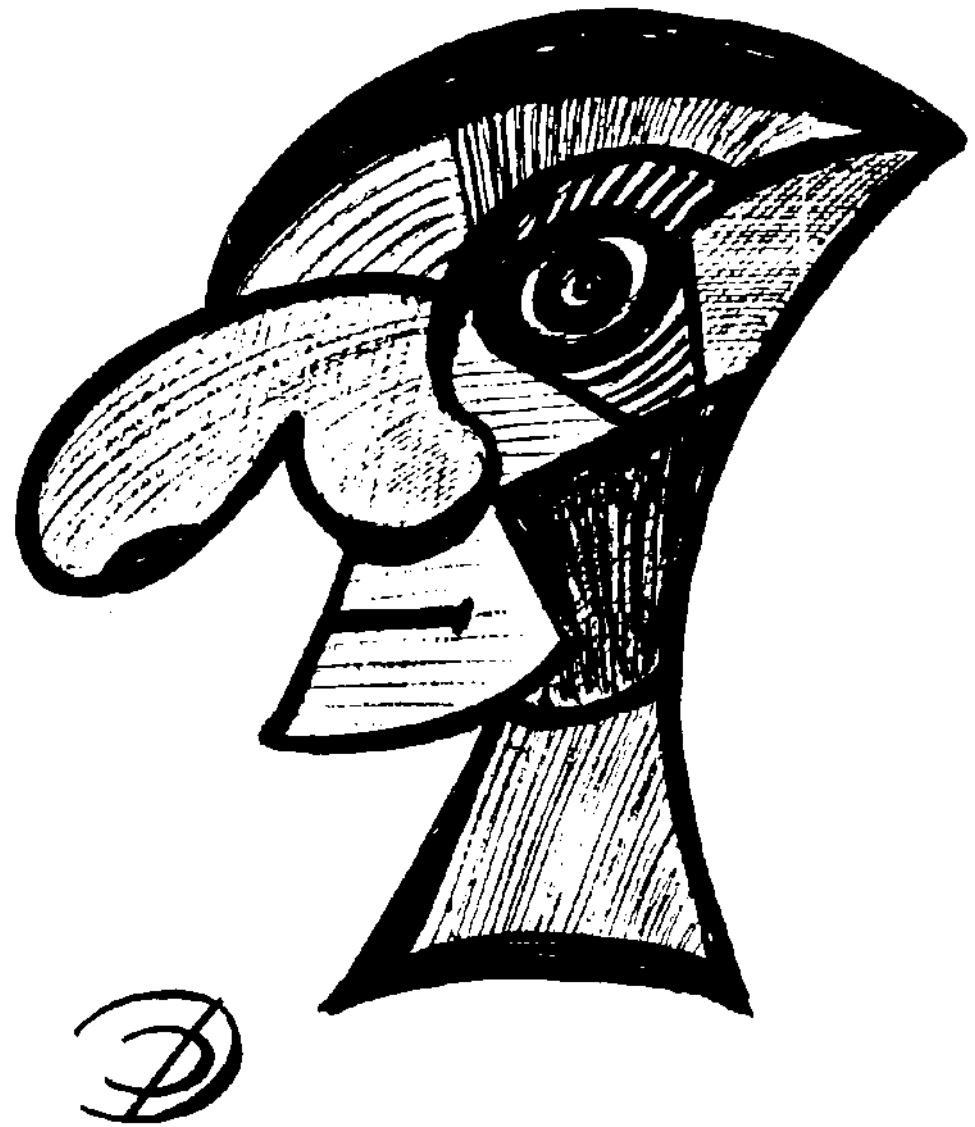
Из серии «Портреты из России».



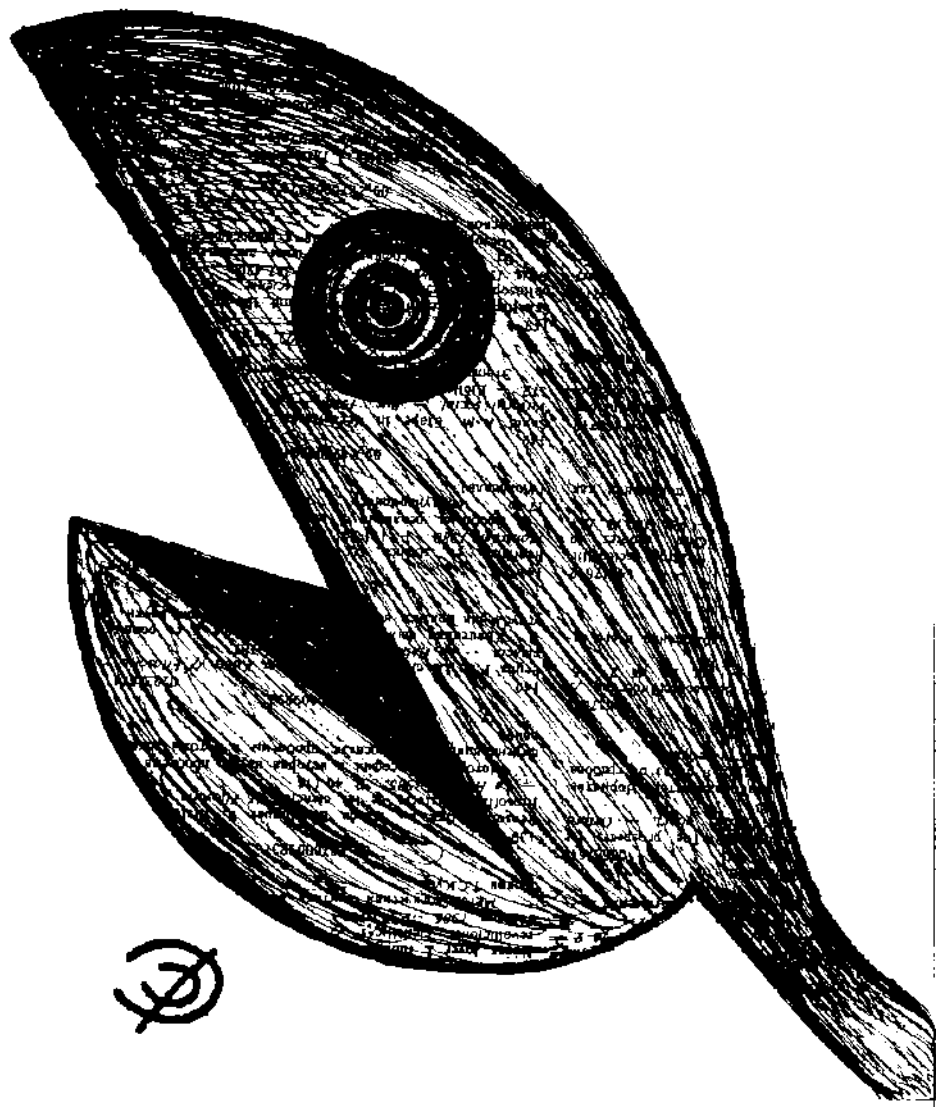
Из серии «Портреты из России».



Из серии «Портреты из России».



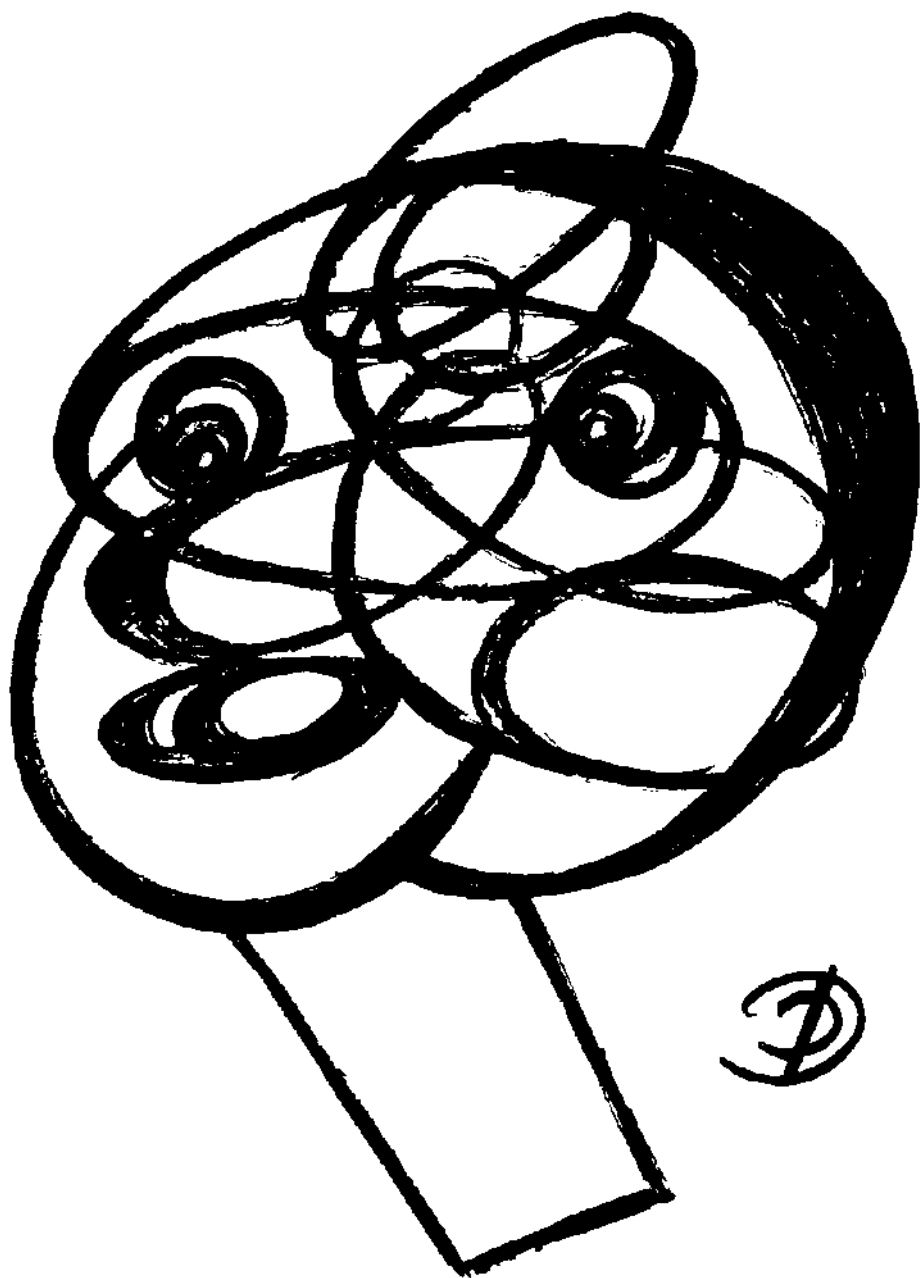
Из серии «Портреты из России».



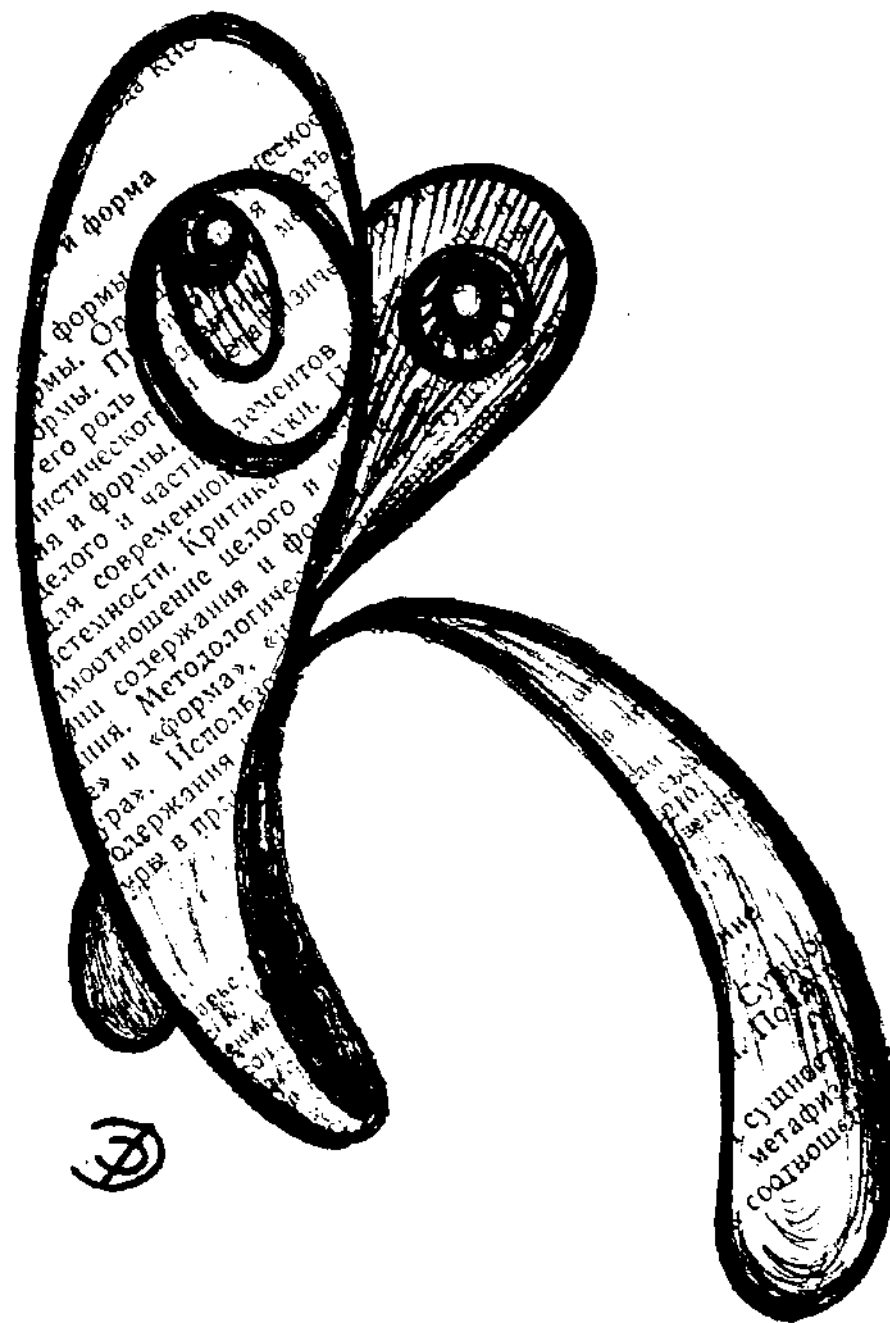
Из серии «Портреты из России».



Из серии «Портреты из России».



Из серии «Портреты из России».



Из серии «Портреты из России».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН. Родился в 1932 г. в Киеве. Окончил сценарные курсы. В 1962 г. опубликовал в журнале «Юность» рассказ «Дом с башней». В 1972 г. по сценарию Горенштейна Андрей Тарковский снял фильм «Солярис». По сценариям Горенштейна поставлено восемь фильмов, в том числе три телевизионных. Однако ни одного прозаического произведения после 1962 г. в России опубликовано не было. С 70-х годов Горенштейн начинает систематически публиковаться на Западе. В журнале «Время и мы» были напечатаны повесть «Искушение» (№ 42), пьеса «Бердичев» (№ 50) и другие произведения. В настоящее время живет в Западном Берлине. В издательстве «Страна и мир» вышла книга Ф. Горенштейна «Псалом».

ДАВИД ШРАЕР-ПЕТРОВ. Родился в 1936 г. в Ленинграде. Входил в группу молодых писателей (Авербах, Рейн, Бобышев, Нейман, позже к ней присоединился Бродский). В СССР выпустил книгу стихов «Зимний корабль», роман «Охота на рыжего дьявола» («Детская литература») и др. В 1980 г. за подачу документов на выезд в Израиль был исключен из Союза Писателей СССР. Уже будучи в отказе написал романы «Будь ты проклят, не умирай», «Друзья и тени», «Искушение Юдина», «В отказе» (издан в сокращенном виде в изд. «Алия»), две книги стихов и др. В Америку выехал в 1987 г. В 1989 г. в издательстве «Либерти» вышла книга «Друзья и тени».

ЮННА МОРИЦ. Известная советская поэтесса, родилась в 1937 г. в Киеве. Окончила Литературный институт имени Горького в 1957 г. Юнне Мориц принадлежат сборники стихов: «Разговор о счастье», «Мыс «Желание», «Лоза», «Суrowой ночью», «Синий огонь», «При свете жизни» и другие. Она также автор многих поэтических переводов.

АЛЕКСАНДР ЛАЙКО. Родился в 1938 г. Окончил Московский библиотечный институт. В 1956 г. вместе с Сапгиром, Карабчиевским, Аллой Гербер и другими московскими поэтами состоял в литературном клубе «Факел». В СССР публиковал переводы и детские стихи. На Западе Александр Лайко печатался в журналах «Время и мы» и «22».

ИРИНА МУРАВЬЕВА. Родилась в Москве в 1952 году. В 1973 г. окончила филфак МГУ. Занималась переводами англоязычной и немецкой поэзии. Больше всего переводила Лонгфелло, Рильке, Фроста, Дикинсон. В 1985 году эмигрировала в США. В настоящее время живет в Бостоне. Постоянно выступает с поэзией и прозой в Западной русскоязычной печати.

СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ. Родился в 1905 году в Елизаветграде. Учился в Одесском институте народного хозяйства. После революции вступил в молодежное сионистское движение. В Израиль приехал в начале 1928 года. Участвовал в левосоциалистическом рабочем движении. После войны был секретарем Общества дружбы «Израиль — СССР», из которого вышел в 1959 году в знак протеста против угроз советского правительства в адрес Израиля. Последние двадцать лет выступает на страницах газет израильской рабочей партии.

ПЕТР БОЛДЫРЕВ. Окончил философский факультет ЛГУ. Член американской философской ассоциации (АРА). Принимал участие в ленинградском диссидентском культурном движении за свободу творчества. Эмигрировал в 1976 году. Преполагает русский язык и литературу. Статьи и выступления П. Болдырева публиковались в США, Канаде, Европе и Австралии.

ЕЛЕНА ГЕССЕН. Переводчик и публицист. Окончила институт иностранных языков. Работала в Московской информационной библиотеке. Эмигрировала в США в 1980 году. Постоянно выступает в русской зарубежной печати.

ДАВИД АЗБЕЛЬ. Родился в 1911 году в Чернигове. В Москве жил с 1921 года. В 1932 году окончил Московский институт химического машиностроения. В 1935 году за контрреволюционную деятельность был приговорен Особым совещанием к пяти годам лагерей, однако, просидел в общей сложности 16 лет. После освобождения защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации. В последние годы до эмиграции был профессором Всесоюзного заочного политехнического института. В 1974 году эмигрировал в США, был профессором ряда американских университетов. В университете штата Миссури Давиду Азбелю было присвоено звание заслуженного профессора. Автор 50 научных работ и 14 книг в области химического машиностроения.

ЛЕОНИД ИЦЕЛЕВ — родился в Ленинграде в 1945 году. Эмигрировал в 1978 году. Автор драматической дилогии «Мечтатели» (персонажами которой являются Ленин, Гитлер, Сталин, Троцкий, Бухарин), сатирической биографии Коллонтай, а также ряда рассказов. В настоящее время живет в Мюнхене.

Summary for the 105th issue of "Vremya i My" ("Time and We")

FRIEDRICH GORENSTEIN, "Last Summer on the Volga." A short novel by one of the leading prose writers of the third wave of emigration about life in the Russian backwater. The author writes about the mores of contemporary Russia, comparing the mentality of Russians to that of Western people.

DAVID SCHRAER-PETROV, "Hussar With a Guitar." A profile of the outstanding Soviet poet and ballad singer Bulat Okudzhava, one of the most popular and liberal writers in the Soviet Union.

YUNA MORITZ, "Young Potatoes." A short story by the popular Soviet writer and poet about the brutality of Life in Soviet villages today.

ALEXANDER LAIKO, "Anapa Stanzas." A new epic poem coming from Moscow.

GRIGORY MARK, "The Face of Buddha." Verses by a Leningrad poet.

IRINA MURAVYOVA, "Broken Pieces Behind, Boulders Ahead." Modern poems.

SOLOMON TSIRULNIKOV, "Perestroika in the Context of Soviet Communism." The author analyzes current Soviet reforms from a pro-Western democracy viewpoint, and argues that perestroika will inevitably lead the Soviet regime to reject the central dogmas of Communism.

OLGA CHAIKOVSKAYA, "The Myth." A reprint from "Literaturnaya Gazeta" dealing with Soviet legal abuses in the war on organized crime in the USSR.

VIKTOR PERELMAN, "Freedom, Democracy, and License." Political commentary by the editor-in-chief of "Vremya i My" on the organic

links between democracy, rule of law, and the high responsibility of a citizen in a democratic society.

PETER BOLDYREV, "Utopia Unbound." Perestroika in the USSR and the crisis of modern Marxism.

HELENA GESSEN, "A Farewell to Taboos." A survey of new works of Soviet literature whose authors have completely abandoned old Communist dogmas.

DAVID AZBEL, "Before, During, and After." The conclusion of a memoir by a former inmate of Stalin's labor camps. (Beginning in No. 104).

LEONID ITZELEV, "Yeltsin." A document-based drama in which the former secretary of the Moscow City Committee of the Communist Party defies the Party establishment.

ВИКТОР ПЕРЬЛЬМАН
ПОКИНУТАЯ РОССИЯ.
ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Маковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:
 Time and We» 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07645

ФОНД
100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

В связи с выходом 100 номера журнала «Время и мы» и в целях его дальнейшего развития принято решение основать ФОНД 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ».

Журнал «Время и мы» был создан в Израиле в 1975 году и за истекшие 13 лет стал одним из самых авторитетных и популярных русских изданий на Западе. За эти годы в общей сложности было выпущено и разошлось по миру более 150 тысяч экземпляров журнала, из них десятки тысяч ушли по разным каналам в СССР, находя там все новых благодарных читателей.

Но выпустив 100 номеров, редакция считает необходимым со всей откровенностью заявить, что финансовое положение журнала и после 13 лет его существования остается тяжелым. И по сей день каждый его номер создается ценой невероятных усилий, путем огромных затрат средств и интеллектуальной энергии.

Содействие журналу редакция рассматривает как важное общественное дело. Поэтому все, кто внесет средства в ФОНД 100 НОМЕРА, будут отмечены на его страницах.

По договоренности с Координационным центром американских литературных журналов (Coordinating Council of Literary Magazines — CCLM) чеки необходимо выписывать на имя этой организации, с указанием в нижней части чека: «Для поддержки журнала «Время и мы», и высылать в адрес редакции ("Time and We", 409 Highwood Ave., Leonia, New Jersey 07605, USA).

В соответствии с уставом CCLM, все внесенные в ФОНД средства подлежат списанию с налогов.

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 13 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С №1 ПО №100

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Oz, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала,
в качестве подарка получает полный комплект книг
издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА. АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДИНХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНИ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги — 15 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155**

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

БОРЬБА В КРЕМЛЕ —

ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
КРЕМЛЬ — О МИРЕ

О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
ПОХОРОНАМИ

ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО

ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ

ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?

КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ

БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО

ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ

КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 High wood Avenue
Leonia, NJ 07605, USA

Александр Орлов ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА
И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА,
РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕ-
ХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги — 75 долларов. Пересылка — 1 доллар.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201) 592-6155

НОВЫЕ КНИГИ ОРИ

Виктор Суворов
АКВАРИУМ

«Каждый знает, какой стране принадлежит самая мощная в мире секретная служба. Конечно, Советскому Союзу. И эта служба именуется КГБ. А какой стране принадлежит вторая по величине и мощи тайная служба? На этот вопрос мы отвечаем так же: Советскому Союзу. И эта служба именуется ГРУ». Аквариум — здание ГРУ на жаргоне его сотрудников.

366 стр.

9.50 ф.ст.

Илья Земцов и Джон Фаррар
ГОРБАЧЕВ:
ЧЕЛОВЕК И СИСТЕМА

Семьдесят лет после Октября

«Исследование личности Горбачева дает нам возможность понять советское общество не только в канун семидесятилетия его революции, но и на многие годы после него. Без ортодоксального коммунизма Горбачев, возможно, обойдется. Вопрос, однако, в том — обойдется ли он без тоталитаризма» (из Пролога).

320 стр.

9.50 ф.ст.

Жак Росси
СПРАВОЧНИК ПО ГУЛАГУ

Исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом

Предисловие Алена Безансона.

«В литературе о ГУЛаге труд Жака Росси, — читаем в предисловии, занимает оригинальное место... В сухой и безличной форме приведено больше проверенной и классифицированной информации, чем та, которой мы располагали доселе. И тот, кто углубится в эту книгу, ужаснется, будет столь же потрясен, как при чтении искусно написанного повествования».

546

стр.

13.50 ф.ст.

Борис Винокур
ТАЙНА КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН

Политический детектив, раньше издан с большим успехом в переводе на английский язык.

240 стр.

9 ф.ст.

Книги можно заказывать в издательстве OPI (Overseas Publications Interchange Ltd. — 8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England), в книжном деле A. Neimanis (Bauerstr. 28, D-8000, Munchen 40 West Germany) и во всех русских книжных магазинах.

Григорий СВИРСКИЙ
ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э. Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, чья судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные, человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки
высылать по адресу:

Hermitage Publishers of New Russian Books
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ ВОЗНЕСЕНИЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

Первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через пятьдесят лет после трагических и загадочных событий московским писателем, который рискнул сопоставить официальный миф с историческими документами и показаниями последних очевидцев.

Правда о Павлике Морозове, официальном пионере-герое № 1, убитом кулаками, противниками колхоза за то, что мальчик разоблачил своего отца, врага советской власти, тщательно камуфлировалась в течение полувека. Писатель Юрий Дружников отправился в Сибирь, на родину Павлика, а затем объехал одиннадцать городов в поисках оставшихся в живых родственников, очевидцев, свидетелей. Он фотографировал места, людей, документы, сохранившиеся в частных архивах, и записывал показания свидетелей на пленку.

Оказалось, что герой-доносчик не был пионером, колхоза тоже не было. Сын донес на отца вовсе не ради советской власти. И убит мальчик был не кулаками. Их в деревне вообще не существовало. Автору книги удалось разыскать и сфотографировать подлинных убийц, нити от которых тянулись к начальнику Особого сектора личного секретариата Сталина.

264 стр., 75 фотографий, цена 6 дол.

Книгу можно заказать в издательстве OPI
8, Queen Anne's Gardens, London W 4 1TU, England
или в книжном деле
A. Neimanis
28 Bauerstrasse
8000 Munich 40, West Germany

панорама

The largest independent
American Russian publication

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издаётся с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. Половец

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

ГЛОБУС Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни

ПУБЛИЦИСТИКА В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман, Лос-Анджелес: П. Вейль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Половецкий, Григорий Рыский, Нью-Йорк: М. Лемзин, Сан-Франциско: Д. Савицкий, Европейская хроника: В. Лазарис, Ю. Шаргородский, З. Копелиович, Израиль.

ЛИТЕРАТУРА В Панораме впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

ГОЛЛИВУД Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинематографе США и других стран.

ЮМОР В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущие на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимость годовой подписки в США и Канаде — 33 00, полугодовой — 18 00 дол.
Для оформления подписки необходимо заполнить приводимый ниже чек и выслать его в адрес издательства «Альманах».

ALMANAC P O Box 480264 Los Angeles, Ca 90048, USA

Прочту подписать меня на газету «Альманах» ПАНОРАМА на срок: 12 мес / 33 00 дол.
8 мес / 18 00

В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64 00 дол.

Чек / мени-ордер на сумму _____ дол. прилагаю.
Газету прошу направлять по адресу:

Имя _____ Телефон: _____

Номер дома / Улицы _____ Город _____ Штат / Зип-код _____

панорама

American
Russian
weekly

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий, «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201) 592-6155**

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.

ТАМАРА МАЙСКАЯ
«КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А. Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюз, д-р наук, проф. русского языка и литературы).

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

**Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA**

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. *Пикассо и окрестности.* — 12 долларов.
 М. БАХТИН. *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса.* — 36 долларов.
 А. БЕЛЫЙ. *Христос воскрес.* — 5 долларов.
 К. ВАГИНОВ. *Труды и дни Свистонова.* — 10 долларов.
 Е. ДУМБАДЗЕ. *На службе Чека и Коминтерна.* — 10 долларов.
 П.П. ЗАВАРЗИН. *Работа тайной полиции.* — 10 долларов.
 А. КОТОМКИН. *О чехословацких легионерах в Сибири.* — 10 долларов.
 П.Н. КРУПЕНСКИЙ. *Тайна императора.* — 7 долларов.
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. *Борьба русской демократии против большевиков.* — 12 долларов.
 Н. РЕЗНИКОВА. *Пушкин и Собоньская.* — 5 долларов.
 А.РЕМИЗОВ. *Пляс Иродиады.* — 12 долларов.
 И. СЕВЕРЯНИН. *Колокола собора чувств.* — 5 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Ход коня.* — 12 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Гамбургский счет.* — 15 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Сентиментальное путешествие.* — 20 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. *Техника писательского ремесла.* — 10 долларов.
 Э. и О. ШТЕЙН (составители). *Чтобы Польша была Польшей.* — 9 долларов.

Готовится к печати:

- В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). *Георгий Иванов — Несобранное.* Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1989

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 55 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 60 долларов; для библиотек — 79 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на.....год. Высылать с номера.....Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:
409 Highwood Avenue. Leonia, NJ 07605
(201)592-6155

**Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены
компанией NAME Advertising Co.**

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**Первая страница обложки выполнена
художником Вагричем Бахчаняном.**

**На четвертой странице обложки: Давид Дубровский,
композиция из серии «Портреты из России».**

